А ШАХОВЪ.

ГЁТЕ И ЕГО ВРЕМЯ.

ЛЕКЦІИ

ПО

ИСТОРІИ НЪМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЪКА,

ЧИТАННЫЯ

HA

ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСАХЪ ВЪ МОСКВЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Текник и Фюсно. Максимиліановскій переулокъ, 13.

А. ШАХОВЪ

TETE N ETO BPEMA.

ЛЕКЦІИ

по

NCTOPIN НЪМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЪКА,

HΑ

высшихъ женскихъ курсахъ въ москвъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Тринки и Фюсно. Максимиліановскій переулокъ, 13. 1891.

предисловіе.

Предлагаемая книга представляеть собою курсъ лекцій по исторіи всеобщей литературы, читанный покойнымь Александромъ Александровичемъ Шаховымъ на Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ Москвъ, въ 1873—74 году.

А. А. Шаховъ имълъ обывновеніе писать каждую свою лекцію цъликомъ наканунъ ея прочтенія. Вскоръ послъ его смерти отецъ его — А. Н. Шаховъ — думалъ напечатать эти лекціи, но осуществленіе этого плана было отложено, по различнымъ причинамъ. Передъ самой же своей кончиной, въ 1889 году, А. Н. Шаховъ вновь выразилъ свое желаніе издать рукописи сына.

Ръшено было напечатать предлагаемую книгу по оставшейся подлинной рукописи — безъ всякихъ измъненій. Хотя эта рукопись и не предназначалась покойнымъ къ печати, но она написана имъ такъ четко и точно, что ни разу не встрътилось сомнънія въ пониманіи какого-либо мъста. На поляхъ ея встръчаются разныя замътки и выноски библіографическаго характера, которыя также печатаются ниже, въ примъчаніяхъ, въ томъ самомъ видъ, въ какомъ онъ сдъланы авторомъ.

Единственнымъ прибавленіемъ къ подлинной рукописи являются напечатанные ниже въ выноскахъ—переводы важнъйшихъ цитатъ, такъ какъ у Шахова приведены большею

частью только подлинные отрывки разбираемых имъ произведеній. Всѣ же переводы, встрѣчающіеся въ самомъ текстѣ, находятся въ подлинной рукописи.

Если напечатанный нын'т первый курст лекцій Шахова будеть сочувственно встр'т читающей публикой, то предполагается издать и курст его 1874—75 года: "Общій очеркт литературнаго движенія въ первую половину XIX в'тка".

Съ разръшенія профессора Н. И. Стороженко, мы предпосылаемъ курсу лекцій — нижесльдующій некрологъ.

А. Г.

Александръ Александровичъ Шаховъ. *)

(некрологъ).

Московскому Университету приходится занести въ свой отчетъ за истевшій годъ новую тяжелую утрату: 5-го декабря 1877 г. скончался отъ чахотки, едва достигши 27-лътняго возраста, приватъ-доцентъ по канедръ исторіи всеобщей литературы Александръ Александровичъ Шаховъ.

А. А. Шаховъ родился 20-го ноября 1850 г. Получивъ первоначальное воспитание въ одномъ изъ лучшихъ московскихъ напсіоновъ, покойный на семнадцатомъ году поступилъ въ московскій университеть и скоро быль замічень профессорами какъ талантливый, трудолюбивый и многообъщающій юноша. Въ 1869 г. онъ былъ удостоенъ золотой медали за свое разсуждение О Житіяхъ Новгородскихъ Святихъ. написанное на тему, заданную Ө. И. Буслаевымъ. Избравъ предметомъ своихъ спеціальныхъ занятій литературу западной Европы, Александръ Александровичъ отправился по окончаніи университетскаго курса за границу, работаль въ парижскихъ библіотекахъ и бралъ частные уроки старо-французскаго языка у Дармстетера, преподавателя грамматики романскихъ языковъ въ École des hautes études. Приглашенный въ 1873 г. преподавателемъ на Высшіе Женскіе Курсы, учрежденные профессоромъ В. И. Герье, Александръ Александровичь избраль предметомъ своихъ чтеній нѣмепкую литературу XVIII въка, такъ называемую эпоху просвъ-

^{*)} Ивъ Отчета, читаннаго въ собраніи Московскаго Университета 12 января 1878 года.

щенія (Aufklärung). Покойный отнесся къ своему ділу съ необыкновенной добросовъстностью и увлечениемъ. Въ следующемъ академическомъ году, онъ продолжалъ свой курсъ, перешель къ французской литературѣ XIX вѣка. и съ особенной подробностью остановился на Жоржъ-Сандъ. Этотъ последній вурсь, въ продолженіе котораго Александру Александровичу приходилось касаться многихъ жизненныхъ вопросовъ, сильно способствовалъ правственному сближению талантливаго преподавателя съ его молодыми и воспріимчивыми слушательницами. Между имъ и аудиторіей вскоръ образовалось взаимное пониманіе и симпатія. Вотъ какъ одна изъ бывшихъ слушательницъ Александра Александровича характеризуетъ его чтенія и то впечатлівніе, которое они производили: "Мы всѣ боялись проронить хотя бы одно слово изъ его лекціи. Ни дождь, ни грязь не останавливали слупательницъ бъжать на его лекцію, даже изъ такихъ далекихъ концовъ, какъ Петровскій паркъ, Мѣщанскія, Покровка. въ то время, когда курсы помъщались на Пречистенкъ. Трудно было не увлечься темъ живымъ, полнымъ энергіи словомъ, которымъ дышала каждая его лекція. Читать лекціи Шахова и слушать его живое слово — представляло громадную разницу. Каждая лекція въ его устахъ какъ бы экспромтомъ получала особую, ему свойственную отдёлку: въ ней было много характерныхъ оборотовъ и выраженій, которые по своей живости и силъ могутъ сравниться развъ только съ пылкой речью Бёрне. Личность его слишкомъ тъсно сливалась съ преподаваемымъ предметомъ, съ его лекціями, въ которыхъ онъ выступаль свётлымъ, полнымъ энергін и надежды". *) Къ сожальнію лекціи Александра Александровича, въ которыя онъ положилъ столько труда, души и надеждъ, обощлись ему дорого. И безъ того слабое здоровье его окончательно разстроилось отъ непосильныхъ тру-

^{*) «}Два слова о повойномъ А. А. Шаховъ». Русская Газета 11 цекабря 1877 года.

довъ; появились явные признаки чахотки, и доктора настоятельно убъждали А. А. бросить занятія и отправиться за границу. Лътомъ 1875 г. Шаховъ уъхалъ за границу, предварительно защитивъ представленную имъ въ диссертацію pro venia legendi: Французская литература во первые годы XIX впжа. Общирная начитанность, замъчательная способность обобщенія и ръшительный литературный таланть, выказавшійся какь вь меткихь характеристикахъ, такъ и въ необыкновенномъ изяществъ изложенія. составляють достоинства этой книги, написанной такъ живо и занимательно, какъ ръдко пишутся ученыя разсужденія. Какъ литературный критикъ, Александръ Александровичъ принадлежаль къ той новой исторической школъ критики, лучшими представителями которой на западъ служатъ Тэнъ и Брандесъ. Живыми и яркими чертами онъ рисовалъ ту общественную почву, изъ которой выростали изучаемые имъ литературные типы, тщательно следиль за карактеромъ отражавшагося въ нихъ общественнаго настроенія. Зиму 1875— 1876 г. Александръ Александровичъ провелъ, по настоянію медиковъ, за границей, но не столько лѣчился, сколько работаль надъ своимъ новымъ курсомъ, по исторіи французской литературы XVIII в., который онъ открыль въ Московскомъ Университетъ съ осени 1876 г. И на университетской каоедръ явился онъ такимъ же талантливымъ и блестящимъ преподавателемъ, какъ на Женскихъ Курсахъ. Несмотря на ранній часъ (Александръ Александровичь читаль отъ 9-10) и необязательность левцій (въ качеств'й привать-доцента онъ читаль для желающихь), аудиторія, гдв читаль Шаховь, была всегда полна и притомъ не только студентами историко-филологическаго факультета, но и другихъ факультетовъ. Глубово западало въ молодыя души живое, прочувствованное, а подчасъ и ръзкое слово талантливаго преподавателя, много надеждъ возлагали они на него. Но этимъ надеждамъ не суждено было сбыться. Уже подъ конецъ академическаго года

здоровье Александра Александровича до того было плохо, что онъ съ трудомъ дочитывалъ свой курсъ. Осенью прошлаго года развившаяся чахотка снова угнала его за границу, откуда онъ возвратился только, чтобъ умереть. Остается сказать нъсколько словъ о нравственномъ характеръ покойнаго. Александръ Александровичъ принадлежалъ къ числу тъхъ цёльныхъ натуръ, которыя въ сожалёнію все рёже встрёчаются на Руси. Слово у него никогда не расходилось съ дъломъ; человъкъ принципа прежде всего, Александръ Александровичъ не былъ способенъ ни на какія сдёлки съ тёмъ, что онъ признавалъ зломъ и ложью. Онъ могъ переломиться, но не согнуться. Глубокая и эдкая скорбь охватываетъ сердце, когда подумаешь, что эта многообъщавшая жизнь оборвалась такъ рано. Смерть не дала А. А. оправдать вполнъ ть надежды, которыя на него въ правь было возлагать общество. Но онъ жилъ не даромъ; въ пределахъ отмеренной ему жизни онъ совершиль свой подвигь честно и върно. Въ три года своей преподавательской деятельности онъ успълъ заронить въ молодыя и воспріимчивыя души своихъ слушателей и слушательницъ много съмянъ истины и добра, которыя не замедлять принести свои плоды. Къ Шахову можно съ полнымъ правомъ применить известныя слова Грановскаго о Фроловъ, что отсутствие его будетъ замътно въ тъсныхъ рядахъ того войска, которому Россія ввърила знамя своей образованности.

Н. Стороженко.

ЛЕКЦІЯ ПЕРВАЯ.

Введеніе. О задачахъ и методѣ исторіи литературы.

Предварительныя замічанія о классическомъ и романтическомъ направленів. Опредварніе и объемъ понятій «литература» и «исторія литературы». Роль поевін въ литературів. Литературные типы, какъ носители общественнаго міросоверцанія. Различіе между литературою съ одной стороны и словесностью и письменностью съ другой. Моя личная задача. — Необходимость объективнаго отношенія къ изучаемымъ произведеніямъ. Разница художественной техники въ эпическомъ, метафизическомъ и реальномъ періодахъ.

Прежде, чёмъ приступить къ изложенію литературной исторіи Гёте и его времени, которая будетъ предметомъ моего курса, я считаю необходимымъ сдёлать нёсколько предварительныхъ замечаній о задачахъ современнаго историка литературы и разъяснить вамъ тотъ общій планъ, которому я намеренъ следовать въ моихъ чтеніяхъ.

Въ различных спеціальныхъ сочиненіяхъ вы найдете самыя различныя толкованія и опредъленія понятій «литература» и «исторія литературы». Если вы возьмете какой-нибудь французскій трактатъ прошлаго въка или даже какой-нибудь французскій учебникъ, вышедшій и въ недавнее время, но проникнутый духомъ классической школы, вы найдете, что занятіе литературою должно заключаться главнымъ образомъ въ изученіи стиля и тъхъ внѣшнихъ литературныхъ формъ, въ которыя вливается художественное содержаніе. Французская классическая школа, преданія которой еще и доселѣ проскальзывають въ сочиненіяхъ французскихъ писателей, не знаетъ «исторіи литературы»; она изучаеть belles-lettres, poésie, éloquence. Даже въ парижскомъ университеть — Сорбоннь — не имъется спеціальной кафедры литературной исторіи, вмѣсто которой существу-

ють профессуры: красперачія и поэзіи. Еще очень недавно можно было слышать от такоторых французских преподавателей, что періодъ французской литературы, достойный наученія, простирается отъ 1636 г. (годъ написанія «Сида») до 1699 г. (годъ смерти Расина). Произведенія этого періода считались образцовыми; на основаніи ихъ анализа создавались риторическія теоріи, которыя считались обязательными для всёхъ, претендовавшихъ на званіе поэта.

Если вы съ другой стороны обратитесь въ сочиненіямъ нъмецвихъ романтиковъ конца прошлаго и начала нынфшняго стольтія, то увидите, что понятіе «литература» для нихъ почти тождественно съ понятіемъ поэзін, что поэзія, въ свою очередь, есть одно изъ проявленій свободнаго человъческаго духа, что она есть разръшеніе противоръчій между безусловнымъ и дъйствительнымъ, что она есть квинтъ-эссенція жизни и языкъ боговъ и т. п. Въ противоположность классикамъ романтики отвергали правила, которыя, по ихъ митнію, могли только стёснять божественное вдохновение поэта; они поклонялись произвольной игръ поэтической фантазіи и субъективному настроенію художника. Но сквозь неясныя и неопределенныя бредни нъмецкой романтики прокрадываются очень почтенныя мнънія, которыя наконець, освободившись отъ таинственныхъ и мистическихъ аксессуаровъ, получаютъ преобладающее значение и становятся основаніями новаго взгляда на литературу и ея исторію. Последователи романтики заговорили о поэзін, какъ о воспроизведенін дъйствительности; самимъ вождямъ романтической школы обязаны мы первыми опытами настоящей литературной исторіи.

Теперь не удовлетворяются исключительнымъ изученіемъ стиля и внѣшней формы, какъ того хотѣли классики, не удовлетворяются изслѣдованіемъ «сущностей», «идей» и «абсолютныхъ достоинствъ» художественныхъ произведеній въ отрѣшенности ихъ отъ исторіи, какъ проповѣдовали нѣкоторые послѣдователи романтической школы. Для насъ всякое литературное произведеніе есть историческое явленіе, съ одной стороны — продуктъ извѣстныхъ историческихъ условій, а съ другой — факторъ, въ свою очередь вліяющій на эти условія.

Посмотримъ повнимательнъе, какъ относится къ своему предмету современный историкъ литературы.

Изъ наблюденій надъ отдъльными фактами, изъ изученія частныхъ явленій, а всего чаще просто изъ опыта, изъ повседневныхъ жиз-

ненныхъ столкновеній и случаевъ образуется вь человъкъ общій взглядь на жизнь, на отношение къ окружающему міру, къ людямъ вообще, на добро и зло, пользу и вредъ, на свои жизненныя задачи. иногда и на задачи всего народа и всего человъчества. Этоть общій ваглядь въ человъкъ, вырабатываемый мыслыю и практивою, называемъ мы міровозэртніема. По большей части люди довольствуются имъ въ этой первоначальной, грубой, иногда даже отрывочной формъ: они пользуются имъ для своихъ будничныхъ нуждъ, какъ домашней обиходной философіей. Но иногда человъкъ стремится осмыслить эти вопросы, отдать себъ отчеть въ своихъ убъжденіяхъ, въ своемъ міровозаржній, стремится сообщить его другимъ. Это сообщеніе можеть произойти въ двухъ формахъ: 1) или извъстное міровозаръніе складывается въ отвлеченную систему, ищетъ для себя подтвержденія и оправданія въ строгой логикъ, опирается или старается опираться на научные факты; тогда въ результать получается философское ученіе; 2) или извъстное міровозаръніе воспроизводится, т. е. выливается въ живые образы, изображается на примбрахъ изъ дъйствительной жизни, на различныхъ людскихъ типахъ, служитъ какъ бы общинь фономь для цёлой картины, -- является поэтическое произвеленіе.

И тѣ, и другія произведенія, т. е. философскія и поэтическія, мы отнесемъ къ литературть, обнимающей всѣ сочиненія, въ которыхъ болѣе или менѣе отражается міровоззрѣніе извѣстныхъ эпохъ, которыя имѣютъ интересъ общій, которыя заняты не отдѣльными фактами, а обобщеніями или, пожалуй, типизаціей. Такимъ образомъ литература является зеркаломъ общественнаго міросозерцанія, носительницею всѣхъ великихъ идей эпохи. Поэтому исторія литературы есть исторія ностояннаго видоизмѣненія общихъ коренныхъ понятій или идей человѣчества, есть исторія метаморфозъ въ міросозерцаніи народовъ, исторія, которую мы возстановляемъ на основаніи великихъ произведеній человѣческой мысли и творчества.

Разъ условившись въ этомъ опредъленіи, нельзя ограничивать, какъ это часто дълалось и до сихъ норъ дълается, исторію литературы областью спеціально-поэтическихъ произведеній; въ нее придется включить анализъ не только великихъ философскихъ доктринъ, но и крупныхъ научныхъ изслъдованій по общимъ вопросамъ. Геттнеръ совершенно основательно разсматриваетъ въ своей литературной исто-

ріи XVIII вѣка значеніе Ньютона, Локка, Монтескье, Ад. Смита именно потому, что ихъ сочиненія произвели перевороть во всемъ кругѣ идей того времени. Тэнъ посвящаєть свой послѣдній томъ исторіи англійской литературы Диккенсу, Тэккерею, Тэниссону, а вмѣстѣ съ тѣмъ историку Карлейлю и философу-энциклопедисту Джону Стюарту Миллю. Шестнадцатое столѣтіе, Шексниръ и Рабле. останутся для насъ непонятными безъ изученія Лютера, Бэкона, Монтаня. Будущему историку литературы XIX вѣка необходимо придется изложить значеніе современныхъ естественнонаучныхъ и экономическихъ теорій. Современное міросозерцаніе, нашъ юный реализмъне можетъ быть ясенъ для человѣка, который игнорируетъ экономическія ученія французскихъ и нѣмецкихъ мыслителей и филогеническую теорію Дарвина.

Опредъливши такимъ образомъ область литературной исторіи, необходимо однако зам'ятить, что исторія поэзіи занимаєть въ ней центральное положеніе; около нея группируются изсл'ядованія философскихъ и научныхъ произведеній, ею бол'яє всего занимаєтся историкъ литературы; это не бевъ основанія.

Какъ я уже замътилъ, философія извъстнаго періода даетъ общія схемы, отвлеченныя положенія, не разъясняя ихъ на отдёльныхъ фактахъ и примърахъ. Поэзія изображаетъ живыхъ людей, даетъ плоть и кровь общимъ понятіямъ, говоритъ нашему воображенію. нашей способности представлять. Истинная поэзія отвічаеть вмісті и на запросы мысли и на требованія воображенія. Черезъ нее мы анакомимся съ міромъ *общей* дъйствительности, не съ одними абстрактными положеніями, а поэтому она поливе и выразительные фи дософіи знакомить нась сь міровозарбніемь извістной эпохи. Далье: философская или научная система есть плодъ мысли отдёльной выдающейся личности, интеллигентной вершины общества, лица, стоящаго выше не только современныхъ ему массъ, но и образованныхъ дюдей вообще, неръдко даже лица, которое переросло свой въкъ. Напротивъ, поэтъ долженъ жить въ самомъ обществъ, долженъ сбливиться со многими сторонами общественной живни; притомъ въ своемъ твореніи онъ воспроизводить не только свое личное міросозерцаніе, но и жизнь и убъжденія своихъ героевъ -- извъстныхъ общественныхъ представителей. Поэтому поэтическое произведение лучше знакомить насъ со всей эпохою, съ общимо настроеніемъ,

съ общимъ ходомъ идей, чемъ научная система, предлагающая намъ результать умственнаго труда отдёльнаго лица. Слёдуеть обратить вниманіе еще на третье обстоятельство. Философія и наука досел'в были достояніемъ немногихъ избранныхъ. Большинство не настолько упражняло мысль, чтобы освоиться съ широкими научными обобщеніями. Поэтическое произведеніе доступите и гораздо сильите дъйствуеть на массу. Сообщая навъстное міровозаръніе, оно распространяеть и уясняеть извъстныя идеи, которыя становятся популярными. Приведу по этому случаю характеристическое замъчание Бълинскаго. «Политико - экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываемъ, дъйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положение такого-то власса общества много улучшилось или много ухудшилось, вследствие такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ действительности, показываета, въ върной картинъ дъйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществъ дъйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываеть, другой показываеть и оба ублождають, только одинь -- логическими доводами, другой -- картинами. Но перваго слушають и понимаютъ немногіе, другаго-всь». Успьхъ поэтическаго произведенія доказываеть, что оно пришлось обществу по плечу, что оно отвы тило на его нужды. Такимъ образомъ, великое поэтическое произведеніе разъясняеть намъ ближе, чёмъ философская или научная система, общее міровозартніе извъстной эпохи. Поэвія является верномъ, сердцевиною литературы. Спеціальная исторія философіи и научныхъ изследованій знакомить насъ съ движеніемъ мысли, съ ея успъхами и развитіемъ въ отдъльныхъ личностяхъ. Исторія литературы знакомить насъ вообще съ распространениемъ извъстныхъ идей въ обществъ, съ ихъ популяризаціей; съ одной стороны она захватываетъ исторію науки и ищеть въ ней зарожденіе извъстныхъ идей; съ другой стороны она опирается на исторію практическихъ общественныхъ отношеній и изследуеть общественную среду, воспринимающую мысль; навонецъ своею особенною задачею она ставить аналивъ тъхъ произведеній мысли и творчества, въ которыхъ отразилось общественное міросозерцаніе, иначе — та совокупность обшихъ понятій, которая признается обществомъ въ данную эпоху.

Итакъ, это общественное міросозерцаніе — задача историка лите-

ратуры. Но міросоверцаніе даннаго періода воплощается въ извъстные общественные типы, господствующие и преобладающие въ обществъ въ этотъ періодъ. Задача поэта — воспроизвести эти типы въ своемъ произведеніи; задача историка литературы — указать на связь этихъ типовъ съ ихъ породившею историческою обстановкою, освътить ими эту историческую среду и прослъдить на нихъ развитіе идей того времени. Только съ недавнихъ поръ ученые принялись за изученіе общественныхъ и литературныхъ типовъ. Изъ современныхъ писателей особенное внимание обратилъ на этотъ вопросъ французскій литературный историкъ Ипполить Тэнъ. Предлагаю вамъ познакомиться съ лекціями Тэна объ искусствъ, особенно съ его «Рінlosophie de l'art», которая уже два раза была переведена на русскій. Въ своей Philosophie de l'art Тэнъ указаль на различные типы, которые преобладали въ искусствъ и литературъ различныхъ временъ, разъяснилъ евкоторыя условія и причины ихъ господства въ извъстныя эпохи и такимъ образомъ провелъ черезъ всемірную исторію рядъ поочередно выдававшихся и смінявшихъ другь друга представителей литературы и общественнаго быта. «Въ Греціи такимъ преобладающимъ характеромъ является прекрасный юноша хорошей породы, достигшій совершенства во всёхъ тёлесныхъ упражненіяхъ; въ средніе въка-восторженный монахъ и влюбленный рыцарь; во Франціи XVII въка — лучшій придворный вельможа; въ наше время — въчно-пытливый и грустный Вертеръ или Фаусть».

Гартполь Лекки въ своихъ сочиненіяхъ: «Исторія нравственности въ Европѣ» и «Исторія раціонализма» не касался опредѣленныхъ литературныхъ типовъ. Зато онъ съ замѣчательнымъ талантомъ изобразилъ господствовавшіе въ извѣстныхъ историческихъ періодахъ правственные идеалы и сообразовавшіеся съ этими идеалами правственные типы. Одна изъ задачъ его «Исторіи нравственности» показать, какъ античные типы смѣнились христіанскими, какъ исчезли исполненные военной и гражданской доблести представители древняго міра и на исторической аренѣ появились новые герои—аскеты, мученики, глашатые новаго ученія. Своими выводами онъ во многомъ обязанъ изученію исторіи искусства и литературы. Въ «Исторіи раціонализма» Лекки посвящаетъ нѣсколько страницъ остроумнымъ замѣчаніямъ объ интеллигентномъ и промышленномъ типѣ новаго времени. Можно только сожалѣть о томъ, что онъ не подвергнулъ спеціальному наблю-

денію литературныя произведенія новаго времени, которыя дали-бы ему обильный матеріаль для характеристики современнаго міросозерцанія.

Я позволю себъ еще разъ повторить общіе выводы. Литература обнимаєть всъ произведенія человъческой мысли и творчества, въ которыхъ отражается міровозвръніе извъстной эпохи. Исторія этихъ произведеній и будеть исторія литературы, которая такимъ образомъ слъдитъ за развитіемъ міровозврънія, или тъхъ общихъ понятій, которыми живетъ человъчество. Она останавливается на всякомъ произведеніи, имъющемъ общій интересъ, изучающемъ или воспроизводящемъ общіе вопросы времени.

Это опредъление можетъ столкнуться съ другимъ, принятымъ во многихъ современныхъ учебникахъ и обозрѣніяхъ, которые, смѣшивая понятіе литературы съ понятіемъ словесности и письменности, опредбляють дитературу, какъ совокупность всёхъ словесныхъ произведеній, какъ массу всёхъ произведеній человёческаго духа, выраженныхъ въ словъ, письмъ, печати. Такого рода учебники, какъ напр. нъмещкій обворъ Шерра, разсматривають всв паилтники человъческаго слова совершенно независимо отъ ихъ содержанія и формы и представляють хронологическій перечень поэтическихъ, философскихъ, научныхъ произведеній, сочиненій юридическихъ, политическихъ; бытовыхъ, наконецъ памятниковъ лингвистическихъ. Въ такомъ смыслъ слово литература употребляется иногда и въ обиходномъ языкъ. Въ этомъ опредълении литература является понятіемъ, которое образовалось на основаніи чисто вившнихъ признаковъ и въ которое въ сущности вошли самые разнородные элементы; въ немъ недостаетъ внутренняго, органическаго единства Если подъ литературою понимать просто совокупность произведеній человъческаго слова, то въ нее придется включить вмъстъ съ «Гамдетомъ» вмёстё съ «Духомъ законовъ» Монтескье и «Критикою чистаго разума» Канта — и какіе-нибудь безграмотно написанные юридическіе акты, относящіеся до частныхъ сдёлокъ, какіе-нибудь служебники и поминанья, рапорты о военныхъ дъйствіяхъ и канцелярскую переписку между исправникомъ и управою благочинія. Очень многіе современные изслідователи впадають въ такого рода странныя ошибки: увлекаясь частнымъ филологическимъ или археологическимъ интересомъ какого-нибудь памятника, они вносять его въ литературную исторію, стараются прикрѣшить къ ней искусственными нитями то, что чуждо ея задачамъ и ея характеру.

Потому то мы предпочтемъ назвать совокупность словесныхъ и письменныхъ произведеній словесностью и письменностью, отнесемъ въ ней всю массу сказаннаго и написаннаго, признаемъ всю невовможность общаго научнаго изследованія этой разпородной массы, и, отделивши отъ этой словесности и письменности собственно литературу, сведемъ последнюю на произведенія, посвященныя общему содержанію и общимъ интересамъ, исторія которой будеть наст знакомить съ теми животрепещущими вопросами, которые поочередно занимали человечество, и разработка которыхъ сопровождала его на пути въ умственному и общественному совершенствованію.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній я могу обратиться кт моей личной задачѣ при изложеніи настоящаго курса. Эпоха, кото рую мы будеть изучать, — вѣкъ Гёте. Моей главною цѣлью будеть — вскрыть передъ вами общій взглядъ на окружающую дѣйствитель ность, выраженный Гёте въ его великихъ произведеніяхъ — Вертерѣ, Фаустѣ, Вильгельмѣ Мейстерѣ и указать въ его созданіяхъ зародышъ другаго, новаго міровоззрѣнія. Я настаиваю на этой послѣдней оговоркѣ потому, что Гёте принадлежитъ двумъ мірамъ, двумъ историческимъ періодамъ: періоду метафизическихъ колебаній, на которыхъ онъ выросъ, и періоду трезваго реализма, въ который онъ дерзалъ заглядывать. Съ изученіемъ этого вопроса будетъ тѣсно связанъ анализъ типа новаго времени — типа скорбящого человѣка, величайшимъ представителемъ которято являются фаустъ.

Необходимо сказать нъсколько словъ о пріемахъ историко-литературы.

Позвольте вамъ напомнить, что изучение литературной истории, какъ всякой истории вообще, требуетъ извъстной объективности, что историкъ литературы долженъ относиться по возможности объективно къ анализируемымъ имъ произведеніямъ, т. е. никогда не терять изъвида среды, породившей эти произведенія.

Я сказаль вамъ, что художественное произведение обобщаетъ дъйствительность и сводить ее на преобладающие въ данный моменть типы, которые мъняются и чередуются вмъстъ съ измъняющеюся жизнью. Но сверхъ того мъняется и сама художественная тех-

ника (въ широкомъ смыслѣ слова), т. е. отношение художника къ анализируемой имъ дѣйствительности, иначе—мѣняется самый способъ анализа типовъ.

И первобытная эпическая поэзія, и поэзія христіанскаго средневъковаго міра, и художество новаго времени — всѣ они воспроизводятъ современную имъ дъйствительность и выливають ее въ живые образы. Но какая разница въ самомъ изображения, въ самихъ литературныхъ пріемахъ, въ отношеніи къ изображаемому! А потому нужно остерегаться прилагать тъже требованія, тоть же критерій къ нашей былинъ, къ драмъ Шекспира и въ роману Диввенса. Въ эту ошибку впадали напр. наши утилитаристы, осуждавшіе поэзію Пушкина, какъ безполезную. Что касается до безполезности Пушкинскихъ произведеній вообще, то съ этимъ положеніемъ можно было бы очень и очень поспорить; этого вопроса я не касаюсь, такъ какъ онъ завлекъ бы меня слишкомъ далеко. Но я замбчу, что не было вообще справедливо прилагать въ произведеніямъ Пушкина требованій литературной критики, возникшей много спустя; нельзя было осуждать многія изть его сочиненій за отсутствіе въ нихъ направленія и тенденціи уже потому, что самый вопросъ о литературномъ направления въ 20-хъ и 30-хъ годахъ былъ гораздо менте ясенъ и опредъленъ, чти теперь, и что самое общество того времени, воспитавшее Пушкина, предлагало поэту задачи несколько различныя отъ современныхъ требованій.

Странно требовать отъ былины того глубокаго психологическаго анализа лица, который найъ даетъ Шекспиръ. Въ самородной эпической поэзіи главное мѣсто занимаетъ разсказъ, похожденія, приключенія, подвиги. Лицо характеризуется мало, дѣйствія его вызываются по большей части внѣшними столкновеніями, надъ нимъ виситъ судьба, имъ распоряжаются боги и природа. Художественная психологія не можетъ развиваться тамъ, гдѣ владычествуетъ чудесное, гдѣ природа съ ея силами, богами и полубогами гнететъ личность. Только тогда, когда изъ роевой и гуртовой жизни эпическаго племени выдѣляется лицо, могутъ явиться первыя попытки психологическаго анализа. Поэтъ начинаетъ заниматься страстями, чувствами и побужденіями человѣка: въ поэзіи начинаютъ искать рѣшенія нравственныхъ вопросовъ, объясненія человѣческихъ стремленій, знакомства съ его внутреннимъ міромъ. Такимъ образомъ при изученів

драмы Шекспира мы находимъ всё усилія поэта сосредоточенными въ подробномъ и рёзкомъ изображеніи нравственныхъ характеровъ, между тёмъ, какъ въ эпической поэзіи, а отчасти даже въ греческой и испанской драмѣ, на главномъ мѣстѣ не характеръ, а положеніе и дъйствіе.

Вопросъ объ анализъ типовъ въ литературъ новаго времени вступаетъ въ новый фазисъ, на который я позволяю себъ обратить ваше вниманіе. Людей новаго времени занимаетъ особенно художественная исторія лица, первые опыты которой вы найдете уже у Гёте, а затъмъ у всъхъ крупныхъ романистовъ XIX въка (Диккенсъ, Шпильгагенъ). «Замъчательна», говорить Льюисъ, «современная роль изученія развитія какъ въ природь, такъ и въ исторіи. Прежде удовлетворялись даннымо: сформированнымъ животнымъ, достигшимъ совершенства искусствомъ, сложившимся обществомъ; но не обращали вниманія на ступени развитія и законы роста. Теперь изследованія проникнуты новымъ духомъ. Въ геологіи, физіологіи, исторіи и искусствъ стремятся обозначить ступени развитія, чтобы понять нъчто совершившееся, мы стараемся понять тотъ процессъ, по которому оно совершалось». Эти прекрасныя слова англійскаго біографа Гёте характеризують общій историческій принципь новаго времени, который проникаеть и въ область творчества. Личность въ современномъ литературномъ произведении изображается не въ отръшенности ея отъ условій извъстнато времени и мъста, но въ тъсной зависимости отъ обстановки. Стремятся объяснить дъйствія людскія не одной игрою психологическихъ мотивовъ и не одною внутренней борьбою духа; указывають на общественныя и историческія обстоятельства и на физіологическія условія, давшія возможность развиться извъстному типу; въ подробностяхъ изслъдуется историческая атмосфера даннаго общественнаго явленія. Когда личность стушевывалась передъ силами космическими, ею мало занимались (какъ въ былинъ); когда она, развиваясь, выросла до центра вселенной и вънца творенія, ею и занимались, какъ самостоятельною величиною, управляемою собственными чувствами и свободно распоряжающейся надъ своими влеченіями. Когда, наконецъ, она стала естественнымъ звеномъ въ ряду твореній, тогда типы стали воспроизводиться, какъ продукты обстановки, какъ результаты множества вліяній и причинъ. Потому то современная поэвія концентрируется въ «историческомъ», т. е. общественномъ романъ (я употребляю адъсь слово «историческій» въ томъ смыслъ, въ какомъ употребилъ его Геттнеръ въ своемъ сочинени о романтической поэвіи: «подъ исторической поэвіей должно разумъть поэвію дъйствительности»). «Современная поэвія», говоритъ Геттнеръ, «вполнъ согласно съ реальнымъ направленіемъ въка инстинктивно стремится къ реальному изображенію великихъ силъ и интересовъ исторіи».

Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, что ставить на одну доску, эпическую пъсню, Данта, Шекспира, Мольера, Гете и Гейне, относиться ко всъмъ нимъ съ одинаковыми требованіями, искать во всъхъ нихъ отвъта на одни и тъ же вопросы по меньшей мъръ странно. Чъмъ дальше подвигаемся мы на историческомъ пути, тъмъ болъе удаляются для насъ Гомеръ и Дантъ, Шекспиръ и Мольеръ; мы живемъ уже другими интересами, насъ волнуютъ уже другіе вопросы, другія задачи. Потому то оцънка литературнаго произведенія при его изученіи должна быть какъ можно болъе объективна. На поэта прошедшихъ въковъ мы должны смотръть съ точки арънія его стольтія и его современниковъ.

Обращаясь къ Гёте, намъ необходимо имѣть въ виду его вѣкъ, бурную и обильную историческими событіями эпоху конца XVIII и начала XIX вѣка. Гёте представится намъ великимъ геніемъ, стоящимъ на рубежѣ двухъ періодовъ; въ созиданіи характеровъ онъ явится вмѣстѣ и глубокимъ поэтомъ-психологомъ, и поэтомъ-историкомъ.

ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

Обзоръ литературнаго періода, предшествовавшаго времени Гёте.

О Германів въ XVII и XVIII въкъ.—Буржуазная дитература. Сентиментадезиъ.— Лессингъ. Клопштокъ. Видандъ.

Сегодняшнюю лекцію я посвящу быстрому и по возможности краткому обзору періода н'вмецкой литературы, предшествовавніаго времени Гёте.

XVII стольтіе и первая половина XVIII представляють ивсльдователю ньмецкой литературы и общества очень мало привлекательных в

моментовъ. Послъ того всеобщаго возбужденія, которое мы замьчаемъ въ Германіи времени реформаціи, для нея наступаеть сначала эпоха тяжелыхъ испытаній, потомъ тянется продолжительный періодъ изнеможенія и апатіи. Тридцатильтняя война оставила глубовіе сльды на всемъ пространствъ отъ Эльбы до Рейна, которое въ теченіе столькихъ лётъ служило кочевьемъ для дикихъ ордъ Валленштейна и Тилли, для шведскихъ полковъ Густава Адольфа и позже для французскихъ отрядовъ Конде и Тюренна. Вестфальскій миръ разбилъ опустошенную Германію приблизительно на четыреста политическихъ тъль, управляемыхъ отдъльными владыками-помъщиками, изъ которыхъ большинство силилось перенимать свычаи и обычаи французскаго двора, присоединяя къ заимствованнымъ изъ Версаля пріемамъ абсолютизма германскую грубость и доморощенныя замашки мелкопомъстныхъ невъждъ. Вся нація опустилась; оскудьли ея научныя и литературныя силы. Для нея наступилъ-говорить Шерръ-одинъ изъ тъхъ періодовъ, при изследованіи которыхъ историкъ долженъ вызвать всю свою въру въ человъчество, чтобы не впасть въ отчаяние. Народонаселеніе уменьшилось на три четверти; города стояли въ развалинахъ, по деревнямъ рыскали волки; цёлыя мъстности обратились въ пустыню. Лютеранство и кальвинизмъ, оторвавшись отъ національныхъ интересовъ, поглощены были школьными словопреніями и отличались і ерархическою нетерпимостью къ низшимъ, невъроятною уступчивостью въ высшимъ. Оффиціальная наука была погружена въ варварство. Теологи и юристы развивали свое діалектическое остроуміе на процессахъ о колдовствъ. Педантизиъ дошелъ до чудовищныхъ размъровъ: одинъ тюбингенскій профессоръ употребилъ 25 лъть на то, чтобы отчитать комментарій къ пророку Исаін. Въ то время, какъ въ Англіи и Франціи одинъ за другимъ выростали великіе люди науки и литературы, во времена Мильтона, Гоббса, Локка, Декарта, Корнеля, Паскаля, Ларошфуко, Мольера, С. Симона, Германія могла указать только на Лейбница, да и этотъ стоить какъ-то одиноко въ Германіи XVII и начала XVIII въка, безъ тъсныхъ связей съ своею націей; онъ пишетъ по-латыни и по-французски.

Къ половинъ XVIII въка обстоятельства измъняются. Мы вступаемъ въ періодъ литературнаго и общественнаго броженія. Германія принимается за работу надъ просвътительными началами XVIII въка; она знакомится съ результатами, добытыми Францією и Англіей и

вносить съ своей стороны въ европейское движение XVIII въка самостоятельные специфически-германскіе элементы. Это такъ называемое просвътительное движение ХУШ въка отибиено въ Германіи совершенно инымъ характеромъ, чемъ въ Англіи и Франціи. Въ Англіи оно шло болъе или менъе равномърно; теоретическія идеи старались мириться съ практикою, которая, въ свою очередь, къ нимъ подлаживалась, и объ стороны успованись на компромиссъ. Во Франціи умственное движение вступило въ борьбу съ дъйствительностью. Въ самомъ дълъ, контрасты были ръзче, сталкивались начала почти діаметрально противоположныя; имъ нельзя было такъ легко вступить въ сдълку: съ одной стороны — католицизмъ, съ другой — свободнал мысль Вольтера и энциклопедистовъ; съ одной стороны — абсодютизмъ; съ другой — пропаганда всеобщаго братства и равенства. Въ результатъ получилась французская революція. Въ Германін просвътительное движение почти не заходить въ область политиче скихъ вопросовъ. Нъкоторые историки приписывали это между прочимъ «политическому несовершеннольтію» нъмцевъ, тому, что нъмецъ отъ природы не былъ тъмъ «общественнымъ животнымъ», о которомъ говорить Аристотель. Но это равнодущие къ политическимъ интересамъ, которое мы замвчаемъ въ Германіи прошлаго въка, лучше объясняется крайней политической разрозненностью самой страны. Общественный, публичный, политическій интересъ не могъ сознаваться тамъ, гдъ онъ приравнивался къ частному, домашнему интересу киязька-помъщика; отдъльныя германскія политическія единицы походили скорбе на хозяйства, чемъ на государства. Отсюда такое почти полное безучастие къ общественнымъ дъламъ, такое отсутствие политическихъ взглядовъ. Въ общирной перепискъ извъстнаго писателя Готшеда, къ которой принадлежитъ до 3000 писемъ въ 22-хъ фоліантахъ, можно съ трудомъ отыскать два, три намека на политическія обстоятельства; а еще Готшедъ быль однажды представителемъ Лейицигскаго университета на Дрезденскомъ дандтагъ. - Но если просвътительное движение въ Германии мало касалось вопросовъ политическихъ, зато тъмъ съ большей силой оно захватило вопросы фило софіи вообще и, преимущественно, задачи литературныя и художе. ственныя. Вторая половина XVIII стольтія въ Германіи представляетт для насъ спеціально-литературный періодъ. Въ параллель къ девяностымъ годамъ прошлаго въка Франціи, Германія можетъ указать на

два великія явленія нѣмецкаго XVIII вѣка: на «Фаустъ» Гёте и на «Критику чистаго разума» Эммануила Канта.

Въ періодъ, предшествовавшій времени Гёте, мы замѣчаемъ въ пѣмецкой литературѣ слѣдующія тѣсно связанныя между собою явленія: появленіе спеціальной буржуазной литературы, параллельно съ развитіемъ буржуазін и увеличеніемъ степени ея образованности; паденіе заимствованнаго французскаго, такъ называемаго ложноклассическаго направленія и, въ связи съ нимъ, обращеніе къ древнегерманской старинѣ; образованіе національной нѣмецкой литературы.

Сначала мий нужно сказать несколько словь о буржуазной литературъ вообще. Литература горожанъ-мъщанства-буржуазіи существовала и въ средніе въка, и нъкоторые намятники средневъковой городской литературы необыкновенно любопытны и поучительны въ культурно-историческомъ отношеніи. Но въ XVIII въкъ для мъщанской литературы начинается періодъ владычества, подобно тому, какъ XVIII въкъ — время процвътанія самого третьяго сословія, когда буржуазія не только давала тонъ обществу, но и преобладала вь немъ своими умственными и нравственными силами. XVIII столътіе, если можно такъ выразиться, героическій періодъ буржуазін; тогда она переживала свои лучше годы; она была прекрасна и высока въ своей упорной борьбъ съ традиціей, въ своемъ непреклонномъ отрицаніи старины. Притомъ въ XVIII въкъ третье сословіе не отдъляло себя отъ народа; оно не выдълило еще изъ себя особую буржуваную корпорацію со своими спеціальными задачами и цълями. Интересы буржуазіи и народа почти совпадали; они сходились на ненависти къ аристократическимъ преданіямъ и принципамъ. Тогда-то мъщанская литература выставила знаменитый типъ Фигаро представителя общихъ интересовъ буржуваіи и плебейства....

Въ половинъ XVIII въка буржуваная дитература господствуетъ въ обществъ. Ранъе зачинается это преобладание въ Англіи и во Франціи, нъсколько повднъе переходить оно въ Германію. Потребители этой литературы, которые набирались въ средъ образованнаго мъщанства, не могли уже больше интересоваться искусственно выстроенной и выглаженной придворной трагедіей, дворцовой одой, монотонными посланіями, вырощенными въ атмосферъ куртизановъ. Новыхъ людей, расположившихся на исторической аванъ-сценъ инте-

ресовада ихъ собственная обыденная жизнь, ея незатъйливая обстановка, ея радости и горе, даже ея мелочи и подробности. Салонный тонъ, изысканная приличность и придворная торжественность классической школы должны были уступить мъсто сравнительно большей простотъ, естественности и искренности новаго литературнаго направленія. «Нужны», говоритъ Тэнъ, «книги для чтенія у камина, въ семьъ; въ эту сторону обращается творчество и геній». Передънами не литература двора и блестящихъ подвиговъ знати, а литература мъщанской семью и ея будничной жизни.

Другая черта этой литературы, — ея сентиментальность. Надъ произведеніями классической музы вмість съ пінтикой Аристотеля царили неумолимыя правила придворнаго этикета. Они были величественны и какъ то спокойны и холодны. Герои классической литературы не должны никогда предаваться необузданнымъ порывамъ чувства и страсти; они не должны забывать, что они находятся въ «порядочномъ обществъ, которое подвергаеть строгому осуждению не только дикій порывъ, но и всякую несдержанность. Въ буржуваной литературъ XVIII въка — наоборотъ: чувствительность во всякихъ видахъ ея любимый конекъ. Въ мъщанскомъ кружкъ лицо не стъснено этикетомъ и, по выраженію XVIII въка, «не испорчено» лицемърною обстановкою двора. Оно не только не скрываеть своихъ чувствъ и впечатавній, но и впадаеть въ другую крайность: навязываеть ихъ встив и каждому, тъшится ими, фантазируетъ и мечтаетъ. Въ литературь появляется «чувствительный человькъ» — противоположность придворнаго. «Можно назвать литературу того времени», говорить Тэнъ, «библіотекою чувствительнаго человъка. Передъ нами Ричардсонъ, типографщикъ пуританинъ, съ своимъ рыцаремъ Грандисономъ, человъкомъ съ правилами, образцомъ джентльмена и христіанина, профессоромъ морали, и который, вдобавокъ, человъкъ — что называется—съ душой. Затъмъ Стериъ, изысканный и бользиенный шалунъ, который посреди своихъ шутокъ и странностей останавливается проливать слезы передъ какимъ-нибурь осломъ, котораго онъ встръчаетъ, или надъ узникомъ, котораго самъ выдумываетъ. бенно интересенъ Мэкензи «человъкъ чувства по преимуществу», котораго робкій и нъжный герой умиляется по пяти, по шести разъ въ день, наживаетъ чувствительностью чахотку, осмъливается объясниться въ любви лишь на смертномъ одръ и умираеть отъ своего

объясненія». — Милостивыя Государыни! Сентиментализмъ — очень сложное явленіе; въ немъ много и смъшнаго, но есть и серьезная сторона. Какъ я уже сказаль, онъ объясняется отчасти семейной буржуазной средою, которая дала ему возможность развиться, отчасти — реакціей противъ свътскости и придворнаго утонченнаго направленія. Но въ немъ есть болъе серьезная сторона, которая ставить его въ связь съ самымъ крупнымъ литературнымъ явленіемъ того времени, которымъ мы занимаемся: иногда въ этомъ сентиментализмъ слышится разочарование, сомиъніе въ идеалахъ. Правда, это только начало, первые едва примътные ростки «міроваго» скептицизма, и въ сентиментальномъ направленіи онъ разръщается весьма благополучно: цълыми потоками вольныхъ и невольныхъ, горькихъ и сладкихъ слезъ, проливаемыхъ юношами и дъвами, или ревомъ арълаго человъка. Сентиментализму еще далеко до «міровой» скорби, до разрыва съ дъйствительностью; но этотъ дюжинный сентименталивмъ XVIII въка какого-нибуль Ричарисона и Мэкенан стоить уже въ тъсной связи съ «Новою Эдоизою» Руссо и Гётевымъ «Вертеромъ»... Этого никогда не нужно терять изъ вида.

Скажу теперь нъсколько словъ о нъмецкой буржуазной литературъ первыхъ двухъ третей XVIII столътія. Во второмъ и третьемъ десятильтіи XVIII выка, подобно Англіи, и вы Германіи появляются «нравственныя еженедъльныя изданія». Несмотря на крайне несамостоятельные пріемы редакторовъ, нередко рабски следовавшихъ англійскимъ журнальнымъ статьямъ Аддисона и Стиля, они всетаки старались сближать литературу съ жизнью и предлагали кое-какое чтеніе среднему сословію. Затёмъ на нёмецкую литературу последовало вліянісанглійскаго романа. Въ 1731 г. появилась первая часть въ свое время очень распространеннаго романа «Островъ Фельзенбургъ», наинсаннаго въ подражание извъстному Робинзону Даніеля Дефоё. Выступаютъ на сцену буржуваные писатели — Рабенеръ и Геллертъ. благоговьющій передъ Ричардсономъ. Несмотря на то, что басни Гелдерта опираются на иностранные образцы, онъ неръдко дышатть туземнымъ народнымъ міровозэрѣніемъ; его сатира нападаетъ на тщеславіе титулами и полную притязаній дворянскую спісь, и въ насмітшкахъ Геллерта замътно смутное чаяние, что не все устроено къ лучшему въ нашемъ міръ. Руководимая англійскими образцами, нъмецкая лирика изъ описательной переходила въ сентиментальную и выставила Галлера, Клейста, Геснера. Наконецъ ръшительный ударъ французскому направленію быль нанесень однимь изъ величайшихъ людей итвиецкой исторіи— Лессингомъ, который вмёстё съ тёмъ упрочиль своими драматическими произведеніями принципъ національной бюргерской драмы.

Роль Лессинга въ нъмецкой литературъ прошлаго въка напоминаетъ намъ во многомъ роль нашего Бълинскаго въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Оба принадлежали къ той людской породъ, которую справедливо можно назвать критическою; оба исполнены были самыхъ глубовихъ стремленій во всему истичному, оба всю жизнь служили лучшимъ интересамъ своихъ націй, оба наконецъ отличались замѣчательною безукоризненностью нравственнаго характера. Въ Бѣлинскомъ было болъе одушевленія, болье огня, чымь въ Лессингь, можеть быть даже более природных дарованій; Лессингъ превосходилъ его ученостью и тактомъ. Онъ всегда спокойно и вибств съ тъмъ настойчиво продолжалъ предпринятое имъ дъло, при чемъ его никогда не покидала природная трезвость ума и осторожность въ исполненіи. «Подобно Лютеру», говорить Гейне, «Лессингъ имъстъ значеніе, не только вследствіе техъ особенныхъ определенныхъ задачъ, которыя онъ преследовалъ, но и потому, что онъ до глубины возбудилъ интересы нъмецкаго народа и своей критикой и полемикой вызваль благотворную деятельность умовь. Онъ быль живой критикой своего времени, и вся жизнь его была полемикой. Эта критика распространялась на всв области мысли и чувства, на религію, науку и искусство. Эта полемика побъждала всёхъ противниковъ и укръплялилась послъ каждой побъды. Лессингъ самъ сознавался, что ему нужна была борьба для собственнаго развитія»....

Болѣе 30-ти лѣтъ продолжалась плодотворная дѣятельность Лессинга. Онъ былъ вмѣстѣ образцовый журналистъ, остроумный критикъ литературныхъ явленій, самостоятельный поэтъ-литераторъ, философъ и теологъ — основатель историческаго взгляда на религію. Написавъ сначала подъ непосредственнымъ вліяніемъ англійскихъ писателей буржуазную трагедію «Миссъ Сара Самсонъ», онъ самостоятельно приступаетъ къ созданію чисто-національной комедіи «Минна фонъ Барнгельмъ», написапной въ 1763 году; въ ней представилъ Лессингъ картину современной ему нѣмецкой жизни, останавливаясь преимущественно на личностяхъ изъ средняго сословія. Въ «Гамбургской Драматургіи», появившейся въ 1769 году, Лессингъ подвергъ строгому анализу теорію классическаго направленія и доказаль всю неприложимость принциповъ псевдоклассицизма къ нѣмецкой литературѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что въ такомъ трезвомъ человѣкѣ, какъ Лессингъ, не могло быть мѣста той крайней слезливости, въ которую вдались литераторы и общество половины XVIII вѣка. На него, напр. не мало вліянія имѣлъ Дидро своими мѣщанскими драмами, но, какъ справедливо замѣчаетъ М-те de Staël, въ то время, какъ Дидро замѣняетъ въ своихъ пьесахъ салонную аффектацію аффектированною природою, Лессингъ остается всегда въ области простоты и естественности. Съ жизнью и дѣятельностью Лессинга я рекомендую вамъ познакомиться изъ монографій Данцеля и Ад. Штара.

Лессингъ окончательно утвердилъ за буржуванымъ и національнымъ направленіемъ німецкой литературы право владычества. Но слібдуетъ сказать еще ивсколько словъ о другомъ направленіи, стоявшемъ въ связи съ ростомъ національной нѣмецкой литературы. Это религіозная тенденція или «серафическая», какъ ее называли современники (seraphische Dichtung), которая нашла себъ самое полное выражение въ «Мессіадъ» Клонштока, первыя три пъсни которой появились въ 1748 году. Развитію религіозной поэзіи содъйствовало знакомство съ Мильтономъ, на котораго въ Германіи обратилъ внимание еще Бодмеръ; но нельзи упускать изъ виду того, что «серафическое» направление нашло себъ почву, подготовленную распространеніемъ съ одной стороны протестанскаго піэтизма, съ другойсентиментальности. Любопытно, какъ эта сентиментальность въ одно и то же время была симптомомъ скептицизма и приводила къ религіозному энтузіазму. Смысла этого явленія я коснусь подробиве въ исторіи первыхъ романтиковъ, а пока замбчу только, что сентиментализмъ по самой сущности своей долженъ былъ увлекаться религіознымъ чувствомъ, какъ чувствомъ, и вмъстъ съ тъмъ могъ идти рука объ руку съ скептицизмомъ въ отрицаніи догматической стороны религіи. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ XVIII въка поэзія Клопштока достигла до высшей степени своей популярности. Я приведу по этому случаю мастерскую картинку изъ Вертера, очень характеристическую въ бытовомъ отношеніи: «... Мы подошли къ открытому окну. Громовые раскаты глухо раздавались еще въ сторонъ; обильный дождь шумълъ, пробивая землю, и освъжающее благоуханіе доносилось до насъ въ струяхъ теплаго воздуха. Она стояда облокотившись и взоръ ея быль устремлень въ

пространство; она взглянула на небо и на меня, глаза ея были полны слезъ, она прикоснулась ко мит рукой и сказала: Клопштокъ! — Я мгновенно вспомнилъ чудную оду, на которую она намекнула, и утонулъ въ потокъ пробужденныхъ ею ощущеній. Я не выдержалъ, наклонился и поцъловалъ ея руку, проливая сладкія слезы. И снова посмотрълъ на нее... Ты, благородный, видъть бы тебъ въ этихъ глазахъ отраженіе твоего божества, и пе услышать бы мит болье о развънчанномъ имени твоемъ»! Вотъ какъ боготворило Клопштока итмецкое юношество 70-хъ годовъ прошлаго въка.

Впоследствіи Клопштокъ покинуль область серафической поэзін п, увлекшись литературнымъ подлогомъ Макферсона (который издаль сборпикъ песенъ, написанныхъ имъ на шотландскія народныя темы, п утверждалъ, что онт сочинены бардомъ Оссіаномъ изъ III столетія), обратился за поэтическимъ содержаніемъ въ туманный міръ хинмой, имъ самимъ выдуманной германской старины: фантастическіе образы никогда не существовавшихъ бардовъ и скальдовъ, которыми восторгался Клопштокъ, сделались модными въ обществт и литературт того времени; проявленія этой тевтонской тенденціи мы увидимъ на геттингенскихъ буршахъ періода бурныхъ стремленій.

Съ перваго взгляда роли обоихъ крупныхъ предшественниковъ Гёте — Клопштока и Лессинга кажутся противоположными. Критическое раціональное направленіе великаго литератора рѣзко контрастируетъ съ мистикою и туманнымъ идеализмомъ автора «Мессіады». Нѣтъ пикакого сомнѣнія, что результаты дѣятельности Лессинга были пеизмѣримо плодотворнѣе для развитія иѣмецкой націи, чѣмъ серафическая поэзія Клопштока. Сочиненія Лессинга до сихъ поръ не нерестаютъ быть поучительными и интересными для «публики», между тѣмъ какъ Клопштокъ забытъ обществомъ и читается только изслѣдователями. Но слѣдуетъ замѣтить, что серафическое и тевтонское направленіе Клопштока отвлекало современную литературу отъ нодражанія чужеземнымъ образцамъ, указывало ей путь къ самостоятельной дѣятельности и вторило въ этомъ отношеніи усиліямъ Лессинга.

Еще нѣсколько словъ о третьемъ предшественникѣ Гёте, который былъ впослѣдствіи его пріятелемъ, —о Виландѣ. Виландъ не обладалъ ни особенно круппымъ художественнымъ талантомъ, ни строгими философскими убѣжденіями. Для своего времени онъ хорошо былъ знакомъ съ произведеніями иностранной литературы, не стѣснялся въ

своихъ заимствованіяхъ, но заимствовалъ вообще удачно, писадъ легкоигриво и занимательно и старался доказать, какъ говоритъ Шерръ, ноклонникамъ французскихъ образцовъ, что нъмецкій литераторъ можетъ такъ же изящно и легко писать, какъ французъ. Его полюбили въ аристократическихъ и свътскихъ кружкахъ, и онъ особенно былъ пригоденъ играть роль литературнаго посредника между буржуазіей п высшимъ сословіемъ. Къ этому нужно прибавить, что Виланду облзаны были нъмцы пропилаго въка переводомъ драматическихъ сочипеній Шекспира.

Я вкратцѣ обозрѣлъ передъ вами литературный періодъ, предшествовавшій времени Гёте, той эпохи, къ которой относятся первыя его произведенія. Мы видѣли, что буржуазно-сентиментальное направленіе въ теченіе этого періода получило въ Германіи преобладающее значеніе и было положено основаніе литературѣ національной. За болѣе подробными свѣдѣніями объ этой эпохѣ покорнѣйше прошу васъ обратиться къ литературной исторіи Геттнера.

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

Основныя черты типа Гёте и Гердеръ.

Источники о дътствъ и юности Гёте.—Основныя черты его зарактера: многосторонность, конкретизмъ, одимпійство. Достатокъ Гёте.—Гердеръ и его отношеніе къ литературнымъ вопросамъ.

Я не буду излагать вамъ послъдовательную біографію великаго Гёте, такъ какъ я просилъ уже васъ познакомиться поосновательные съ превосходнымъ жизнеописаніемъ Гёте, написаннымъ англійскимъ ученымъ Льюисомъ, не пожалывнимъ на эту работу ни труда, шверемени. Итакъ, предлагаю вамъ теперь изучить исторію дътства и юности Гёте по Льюису, но при этомъ попрошу васъ обратить вниманіе на слъдующіе пункты.

Большая часть матеріаловъ для исторін дітскихъ и юношескихъ годовъ Гёте заключается въ его собственныхъ автобіографическихъ запискахъ Wahrheit und Dichtung (Правда и Поэзія) и въ сообщеніяхъ его матери. Это безспорно драгоцівниме и во многихъ отно-

неніяхъ незамънимые источники, но относиться къ нимъ нужно крайне осторожно. Wahrheit und Dichtung писаль Гёте уже подъ старость, и, какъ показываетъ самое заглавіе сочиненія, онъ стремился въ немъ не только изложить дъйствительные факты изъ своего прошедшаго, но и типизировать ихъ, подобрать и сгруппировать ихъ въ общую картину. Многія событія уже изгладились изъ его памяти, другія спутались, къ третьимъ присоединились мотивы поздивйшаго происхожденія. Старикъ Гёте любить идеализировать свое прошедшее и неръдко даетъ ему совершенно иное освъщение, чъмъ то, какое мы находимъ въ другихъ современныхъ источникахъ. А потому при чтенін Wahrheit und Dichtung мы должны придавать значеніе не столько отдёльнымъ частнымъ фактамъ, съ которыми насъ знакомить автобіографія Гёте, сколько ихъ общей группировкъ, характеризующей общій складъ личности и времени великаго поэта. Едва ли не съ большей осторожностью следуеть относиться въ разсказамъ его матери, почтенной и милой совътницы (Frau Rath) города Франкфурта, боготворившей сына и обладавшей сильно развитымъ воображеніемъ, — способность, которую Гёте получиль отъ нея по наслъдству.

Vom Vater hab' ich die Statur, des Lebens ernstes Führen;
Vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabuliren. *).

Строгой критики вообще не могутъ выдержать разсказы о дътствъ великихъ людей: единственными свидътелями первыхъ годовъ ихъ являются обыкновенно родители — люди пристрастные, которые, ослъпленные своею привязанностью, передаютъ о своихъ дътяхъ (совершенно чистосердечно) фабулы, сложившіяся въ ихъ воображеніи, много спустя послъ самихъ фактовъ. Такимъ образомъ необходимо събольшою осмотрительностью относиться къ тъмъ свъдъніямъ и анекдотамъ, которые дошли до насъ о дътствъ Гёте, и вносить въ его біографію только то, что выдерживаетъ самую строгую историческую критику.

И укажу на тъ выдающіяся черты характера Гёте, которыя обозначились въ немъ уже въ первые годы его жизни, и мои указанія будуть служить дополненіями и разъясненіями къ характеристикъ дът-

^{*)} Отъ отца унаслъдовалъ я сложеніе и солидный взглядъ на жизнь; отъ матери — счастливый нравъ и охоту фантазировать.

скихъ и юношескихъ стремленій Гёте, предложенной Льюисомъ въ 5-й главъ I книги и во 2 главъ II книги его жизнеописанія.

- 1) Насъ поражаетъ, замътная уже въ дътствъ Гете, многосторонность его стремленій, которая впослёдствій направляла его къ самой разнообразной теоретической двительности. Обладая натурою въ высшей степени воспріимчивой и любознательной, онъ, еще будучи юнымъ мальчикомъ, занимается вопросами религіозными и философскими, изучаетъ классическую древность, миеологію, языки. Многосторонность -- свойство всёхъ великихъ поэтовъ, которые обыкновенно захватываются самыми разнообразными стремленіями своего віка, касаются всёхъ общихъ вопросовъ, занимающихъ современниковъ. Въ этомъ отношении великій поэтъ соприкасается съ эпциклопедистомъ, и великія литературныя произведенія могутъ справедливо быть названы поэтическими энциклопедіями: таковы Иліада и Одиссея, Божественпая комедія Данта, романъ Рабле, драмы Шекспира и Фаустъ Гёте. — Но Гёте не ограничивается простымъ знакомствомъ съ идеями своего въка; онъ основательно изучалъ цълые отдълы человъческихъ знаній и сталъ не только величайшимъ поэтомъ новаго времени, но и великимъ естествоиспытателемъ.
- 2) Уже съ самыхъ раннихъ годовъ въ Гёте преобладаетъ иптересъ къ искусству и литературф; въ немъ энергичнъе всъхъ прочихъ способностей выступаеть деятельность воображенія, та «охота фантазировать», которая перешла къ нему по наслъдству отъ матери, по въ несравненно болъе сильной степепи. Это сильное развитіс чистой поэтической способности соединено въ Гете съ отвращениемъ къ математикъ и отвлеченному мышленію. Руководствуясь данными современной исторической антропологіи, можно придти къ общему заключенію, что поэтическія способности не совм'єстны съ математическими. Въ парадлель Гёте можно привести, какъ особенно ръзкій примъръ этого явленія, итальянскаго поэта Альфіери, который никогда не могъ понять 4-ю теорему Эвклида (о равенствъ треугольниковъ). Гёте не только не имълъ математическихъ способностей, по даже въ своемъ отвращеній къ математикъ доходилъ до того, что, занимаясь впослъдствіи теоріей свъта, онъ ограничивался наблюденіями и не хотълъ слышать о приложеніи математики къ оптикъ. «Всъ тъ немногіе поэты», замъчаетъ Льюисъ, «которые имъли способность къ естественно научнымъ занятіямъ, сколько мнѣ извъстно, обращались къ наукамъ объ

организмахъ. Такъ, Галлеръ, величайшій физіологъ XVIII вѣка, былъ однимъ изъ значительныхъ поэтовъ своего времени. Дарвинъ старшій былъ также поэтъ и физіологъ. Вообще многіе естествоиспытатели обнаруживали поэтическія дарованія; но я не знаю математика, у котораго была бы поэтическая жилка». Что Гёте былъ великимъ естествоиспытателемъ, — это въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію, только не оптикомъ, а сравнительнымъ анатомомъ и ботаникомъ; главнымъ же образомъ онъ способенъ былъ на смѣлыя и бойкія общія концепціи природы, и въ этомъ отношеніи сдѣлался предшественникомъ Чарльза Дарвина.

Этотъ самый конкретизмъ Гёте, который быль замътенъ въ немъ еще въ ранніе годы дітства, не дозволяль ему никогда увлекаться чистою абстрактной метафизикой, подобно Шиллеру, проводившему цълые годы въ изучени Канта. Поэтическая натура Гёте обусловливала образованіе его религіозныхъ и космическихъ убѣжденій: для него былъ антинатиченъ протестанскій культъ, лишенный всякой образности; уже съ дътскихъ годовъ пробуждается въ немъ отвращение къ сухому религіозному догматизму и съ одной стороны начинають высказываться религіозныя сомитнія, съ другой — пантеистическія тенденціи. Изъ встхъ метафизиковъ Гёте больше всего интересовался Спинозой, сочиненія котораго имъди на него сильное вліяніе во время его юношества. Подобно Спинозъ, Гете былъ склоненъ къ пантеизму. Для него недоступны были отвлеченныя деистическія понятія, выработанныя англійскими и французскими мыслителями прошлаго въка. Онъ не могъ отдълить Бога отъ міра, наполняль мірь божествомь, видёль во всей природё его проявленіе, сливаль во единое Бога и природу. Вноследствіи Гёте выразиль въ Фаусть, въ бесъдъ его съ Гретхенъ, красноръчивое признаніе пантеистическихъ убъжденій.

Нерасположеніе Гёте въ отвлеченной метафизивъ — фактъ, не подлежащій сомньнію; и въ этомъ отношеніи онъ настоящій поэтъ: отвлеченные метафизическіе вопросы своего времени онъ свелъ на реальную почву и воплотилъ ихъ въ живые образы въ своемъ Фаусть. Гёте жилъ, мыслилъ и наслаждался образами; но эти образы не были продуктомъ распущенной фантазіи; они не являлись результатомъ прихотливыхъ сочетаній туманныхъ и неопредъленныхъ представленій; они были художественными обобщеніями дъйствительности и въ ней находили себъ опору и подтвержденіе. 3) Мит необходимо указать вамъ еще на одну ръзкую черту этой великой личности, на то свойство его духа, которое обыкновенно называють олимпийскомъ величи Гёте, котораго еще современники любили сравнивать съ Зевсомъ. Такого рода сравнене было вызываемо не только витинею импозантностью «великаго язычника», не только аптичной красотою его, но и спокойнымъ складомъ его ума и тъмъ впушительнымъ, божественно-самодовольнымъ, ипогда даже холоднымъ тономъ, которымъ проникнуто его изложене.

Чтобы дать вамъ понятіе о впечатявній, которое производида мичность Гёте въ последние годы его жизни, я приведу характеристическій разсказъ Генриха Гейне: «Въ Гёте мы находимъ во всей полноть то соответствие внешности и духа, которое замечается во всехъ необыкновенныхъ людяхъ. Его витиній видъ быль такъ же значителенъ, какъ и слова его твореній; образъ его былъ исполненъ гармоніи, ясенъ, благороденъ, и на немъ можно было изучать греческое искусство, какъ на античной модели. Этотъ гордый станъ никогда не сгибался въ христіанскомъ смиреніи червя; эти глаза не взирали грѣшнобоязливо, набожно или съ елейнымъ умиленіемъ; они были спокойны, какъ у какого то божества. Твердый и смёлый взглядъ-вообще признакъ боговъ. Поэтому если Агни, Варуна, Яма и Индра принимаютъ образъ Наля на свадьбъ Дамаянти, она узнаетъ возлюбленнаго по подвижной игръ глазъ, такъ какъ очи боговъ всегда недвижимы. Этимъ свойствомъ обладали и глаза Наполеона; поэтому я увъренъ, что онъ быль богомъ. Взглядъ Гёте оставался такимъ же божественнымъ въ глубокой старости, какимъ онъ былъ въ юности. Время покрыло снъгомъ его голову, но не могло согнуть ее. Онъ носиль ее все также гордо и высоко и, когда онъ говорилъ, онъ словно росъ, а когда онъ простираль руку, то казалось, будто онь можеть указывать звъздамъ ихъ пути на небъ. Высказывали замъчаніе, будто роть его выражалъ эгоистическія наклонности; но и это-черта, присущая въчнымъ богамъ и именно отцу боговъ-великому Юпитеру, съ которымъ я уже сравниваль Гёте. Въ самомъ деле, когда я быль у него въ Веймаре, стоя передъ нимъ, я невольно посматривалъ въ сторону, нътъ ли околонего орда съ модніями. Чуть чуть я не заговориль съ нимъ по-гречески, но, замътивъ, что онъ понимаетъ нъмецкій, я разсказалъ ему но-измецки, что сливы на дорогъ отъ Іены къ Веймару очень вкусны.

Въ длинныя зимнія ночи я такъ часто передумываль, сколько возвышеннаго и глубокаго передамъ я Гёте, когда его увижу. И когда я наконецъ его увидѣлъ, то сказалъ ему, что саксонскія сливы очень вкусны. И Гёте улыбался. Онъ улыбался тѣми самыми устами, которыми нѣкогда лобызалъ прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семелу»...

Я постараюсь поближе разъяснить вамъ, что это за солимпійство> Гёте, передъ которымъ многіе преклонялись и которое многіе въ немъ порицали. Я уже указываль вамь на тъ стихи Гете, въ которыхъ онъ говорить, что получиль въ наследство отъ отца солидный взглядъ на жизнь. Отець Гёте быль имперскимь совътникомъ города Франкфурта и принадлежаль къ тамошней достаточной буржувзіи. Это быль человъкъ спокойный, методическій, благоразумный, разсудительный, расчетливый и вибств съ твиъ настоящій бюргеръ-формалисть, --- выразитель типа. довольно распространеннаго въ Германіи. Такъ и молодой Гёте уже въ дътствъ отличался своею разсудительностью, дъльностью и, при этомъ, нъкоторымъ формализмомъ. Родители его-говорить Льюись—знають, что изъ него выйдеть толкъ. При всей висчатлительности его натуры, разсудокъ однако всегда одерживалъ верхъ надъ страстями и быль свободень отъ заблужденій, какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ. Только въ юности Гёте, охваченный стремительнымъ потокомъ мятежной эпохи, велъ безпорядочный образъ жизни; но этотъ періодъ очень скоро прошель. — Эти черты, которыя въ болбе грубыхъ формахъ мы находимъ уже въ его отцъ, эта природная «разсудительность» и спокойствіе духа дали возможность развиться въ великомъ поэтъ самой широкой объективности, такъ что иногда онъ даже черезъ-чурз объективно относился къ окружающей дъйствительности. Съ одной стороны объективность проявилась въ равнодуши къ частностями и въ интересъ къ общему, и это свойство имъютъ преимущественно въ виду, когда говорять объ олимпійствъ Гёте; съ другой стороны — безмятежность Гёте иногда опускалась до филистерства, до какого-то неповоротливаго доволества буржуазнымъ бытомъ и до отвращенія въ практическимъ вопросамъ, ноднятымъ исторіей. — Олимпійство Гёте возвышало его надъ всемъ міромъ. Онъ смотрёль на міровую жизнь какъ спокойный наблюдатель, подводилъ итоги къ своимъ наблюденіямъ, возводилъ частное къ общему и комбинировалъ идеи въ философско-художественныя концепціи. Овидывая ординымъ взоромъ весь міръ явленій, изучая природу въ

совокупности отдёльных тварей, разыскивая общіе принципы бытія, Гёте сдёлался великимъ поэтомъ и великимъ естествоиспытателемъ, но вмёстё съ тёмъ отъ него ускользало временное, частное; онъ сталъ къ нему равнодушнымъ. Подобно своему Фаусту, который, въ псканіяхъ абсолютнаго и вёчно-истиннаго, губитъ по дороге временное и частное—и притомъ это временное и частное въ прекрасномъ образе Гретхенъ, — Гёте, погруженный въ высшіе космическіе вопросы, не слышалъ современные ему голоса волнующихся народовъ и поколёній. Народы и поколёнія—это были для него ничтожныя единицы въ общемъ строеніи міра.

Въ одимпійствъ есть много хорошихъ, много дурныхъ сторонъ. Свойство всякой теоретической головы -- интересоваться болье общимъ, чымъ частнымъ; этотъ интересъ двигаетъ науку и человъчество. Но нельзя не сожальть, когда служение теоріи заставляеть насъ забывать практическіе вопросы настолько, что мы ихъ сначала избъгаемъ и наконецъ нерестаемъ ихъ понимать. Отъ занятій высшими міровыми вопросами, отъ пирокихъ естественно-научныхъ задачъ, отъ изученія природы въ ся цъльности и отношеній человъка къ природъ, Гёте любиль отдыхать въ тъсной сферъ семьи, домашней жизни, бюргерскаго быта. Онъ равнодушно относился въ тому циклу явленій, который занимаеть какъ бы среднее положение между въчной борьбою космическихъ силъ и мимолетною игрою домашнихъ и пріятельскихъ интересовъ: къ циклу явленій государственныхъ. Извъстно, что Гёте не интересовался политическими тенденціями своего времени, да и не понималъ ихъ. Но замѣтимъ, что источникъ его политическаго индифферентизма следуетъ искать не только въ его личномъ характеръ, но и въ атмосферъ Германіи конца пронілаго, въка. Въ Германіи плодились философы, ученые, поэты, которые большею частью были и прекрасными отцами семействъ; но они не были гражданами.

Мнѣ слѣдуетъ указать еще на одно очень важное условіе всей жизни Гёте, которое глубоко отразилось на ростѣ его личности и также способствовало развитію его олимпійства. Это—та буржуазная достаточность, въ которой Гёте воспитывался и прожиль свой вѣкъ. Онъ никогда не зналь нужды, никогда не бился изъ-за куска хлѣба и жиль если не въ роскоши, то въ полномъ довольствѣ. Это обстоятельство имѣло благопріятные результаты въ томъ отношеніи, что оно позволило гармонически развиться всѣмъ силамъ и способностямъ Гёте, давало ему

досугъ, необходимый для свободной работы духа, и доставляло ему самостоятельное, независимое положеніе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это обезпеченное въ матеріальномъ отношеніи положеніе помогало укрѣпиться его равнодушному отношенію къ окружающей дѣйствительности. Нанротивъ того: бѣдность Шиллера и его нечальныя жизнешныя обстоятельства во многомъ прецятствовали полному развитію его способностей и рано свели его въ могилу; зато изъ этого горькаго опыта Шиллерь вынесъ глубокое сочувствіе и страстное отношеніе къ бѣдствіямъ ближнихъ. Олимпіецъ Гёте счастливо и спокойно прожилъ до 82-хълѣтняго возраста.

Таковы тѣ основныя черты характера и наклонностей Гёте, которыя обозначились уже въ дѣтствѣ. Вообще Гёте представляетъ рѣдкій примѣръ богато одаренной натуры, которой благопріятная обстановка дала возможность развиться до рѣдкаго совершенства и до художественной законченности. Какъ нельзя болѣе кстати значится подъ его изображеніемъ, находящимся въ Веймарской библіотекѣ, начальное четверостишье Шиллеровскаго стихотворенія къ счастью:

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, bei der Geburt schon Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt, Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset, Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt *).

Послѣ этихъ замѣчаній я перехожу къ тому моменту, съ котораго собственно начинается литературная исторія Гёте, ко времени пребыванія его въ Страсбургѣ, куда онъ пріѣхалъ въ апрѣлѣ 1770 г., чтобы въ тамошнемъ университетѣ завершить образовапіе, начатое имъ въ Лейнцигѣ, и получить докторскій дипломъ. Здѣсь, въ Страсбургѣ, Гёте приходитъ, такъ сказать, лично въ столкновепіе съ періодомъ бурныхъ стремленій и съ этихъ поръ становится однимъ изъ характеристическихъ его представителей. Въ литературную жизнів того времени Гёте былъ введенъ Гердеромъ, съ которымъ онъ въ Страсбургѣ познакомился осенью 1770 года. Необходимо сдѣлать нѣсколько замѣчаній о Гердерѣ, прежде чѣмъ перейти къ изображенію періода бурныхъ стремленій, такъ какъ знакомство съ Гердеромъ имѣло для развитія Гёте рѣшающее значеніе.

^{*) «}Блаженъ, кто, богами еще до рожденья любимый, На сладостномъ лонъ Киприды вълсквить младенцемъ! Кто очи отъ Феба, отъ Гермеса даръ убъжденія принялъ, А силы печать на чело отъ руки громовержца!». (Пер. Жуковскаго.)

Гердеръ обладалъ чувствительной, нервной, подвижной натурой, и его восторженный, неровный характеръ отразился на всей его дъягельности; онъ не оставиль вполнъ законченныхъ и систематическихъ трудовъ; но зато въ своихъ сочиненіяхъ онъ завъщаль нъмецкой наукъ массу блестящихъ мыслей, новыхъ оригинальныхъ взглядовъ на исторію, литературу, религію и искусство. Сочиненія Руссо, съ которыми онъ познакомился, еще будучи кенигсбергскимъ студентомъ, по настоянію Канта, дали ръшающее направленіе его умственной дъятельности. Руководимый идеями безъискусственности, простоты и природы, Гердеръ принялся за изученіе поэзіи и въ связи съ нею исторіи и религіи; ему мы обя 🛊 заны первыми попытками опредъленія сущности народной эпической ноэзіи. При изученіи своемъ онъ ставиль народныя поэтическія произведенія въ тъсную связь съ народными върованіями и обычаями и съ той совокупностью культурно-историческихъ условій, которую мы привыкли называть духом времени. Онъ пытался сделать для исторіи возэрьній — для литературной исторіи — то, что было сдылано Монтескье для исторіи политическихъ учрежденій. Съ любовью Гердеръ обратился къ изследованию ветхозаветных верейских в сказаний и усмотрелъ въ нихъ тъ былинные мотивы и пріемы, тотъ эпическій складъ и ладъ, который составляеть принадлежность всякаго самороднаго поэтическаго произведенія. Въ разрѣшеніи дитературныхъ вопросовъ своего времени Гердеръ следоваль по пятамъ Лессинга и развиваль строгія положенія великаго критика въ целыя поэтическія картины. Его первыя сочиненія опираются непосредственно на Лессинговы Литературныя письма, но онъ быстро расширяеть свой кругозорь основательной работой надъ вопросами философско-историческими. Уже въ юношескомъ произведеніи своемъ, во «Фрагментахъ о новъйшей нъмецкой литературь», Гердеръ говоритъ, что слепое подражание чужеземнымъ образцамъ подрывается историческим взглядомъ на поэзію. Пусть подумають, говорить онъ — что эстетическій вкусь народовь и времень обусловливается міросозерцаніемъ и бытомъ; для того, чтобы отвѣтить на потребности своего народа, надо изучить его національные взгляды, его преданія и верованія. Преклоняясь передъ достоинствами Лессингова «Лаокоона», Гердеръ однако замъчаетъ, что воззрънія Лессинга слишкомъ ръзки и исключительны; они придають слишкомъ мало значенія историческому развитію поэзіи. Изъ изученія Гомера Лессингь. извлекъ положение: *дийствия*—настоящий предметъ поэзіи. «Почему

же эпическій тонъ Гомера», спрашиваєтъ Гердеръ, «долженъ предписывать основанія и законы безусловно для всякой поэзіи? Новая идиллическая и сентиментальная поэзія совсёмъ не подходить подъ эти рамки».

Этотъ историческій взглядъ Гердера обусловливаетъ и его отношеніе къ Шекспиру. Въ своей борьбъ съ ложноклассическими образцами Лессингъ нротивополагалъ имъ Софокла и Шекспира и приходилъ къ тому, что ставилъ греческаго драматика на одну доску съ англійскимъ, приравнивалъ ихъ другъ къ другу, смотрёлъ на нихъ съ одной точки зрвнія. Гердеръ особенно рвзко настаиваль на глубокомъ различіи между Софокломъ и Шекспиромъ, въ основаніи котораго лежитъ разница народнаго характера Грековъ и Англичанъ и разница самихъ эпохъ. Греческая трагедія — говорилъ Гердеръ постепенно образовалась изъ монологовъ и хоровъ; на ней отразился весь греческій быть, она опиралась на несложную античную тему, она стояла въ тъсной связи съ устройствомъ современной сцены: отсюда въ ней единство мъста и времени. Шекспиръ жилъ въ другое время и имълъ нодъ руками другой матеріалъ: въ его драмъ является передъ нами уже сложная государственная жизнь, съ разнообразными своими отправленіями, съ рёзко обозначенными сословіями, съ королями и шутами. Греческая и съверная трагедія должны быть такъ же различны, какъ и тъ условія, изъ которыхъ онъ развились, и между драмой Софокла и драмой Шекспира нътъ почти ничего общаго кромъ названія драмы. Эти глубокія мысли, къ которымъ следовало бы почаще возвращаться нашимъ литературнымъ догматикамъ, высказаны Гердеромъ въ его статъв о Шекспирв. Эта статья явилась со стороны Гердера плодомъ глубокаго и страстнаго изученія апглійскаго драматурга. Эта же статья, не столько по высказанному въ ней историческому взгляду на произведенія Шекспира, сколько по восторженному отношенію автора къ англійскому поэту, можеть служить типическимъ образцомъ того, какъ относилось къ Шекспиру современное Гердеру молодое покольніе. «При мысли о Шекспирь», пишеть Гердерь, «мив представляется человъкъ, сидящій на скаль; у ногъ его бури, волненіе, шумъ морскихъ волнъ, но глава его облита небесными дучами. А у подпожья его гранитнаго трона ропщеть толпа, которая его толкуеть, поклоняется ему, проклинаетъ, боготворитъ, клевещетъ на него, переводить, порочить... но онь ихъ не слушаеть».

Съ міромъ Шекспира, который открывался для Германіи ХУІІІ

въка въ первый разъ, благодаря трудамъ Лессинга, нереводамъ Виланда и пламеннымъ ръчамъ Гердера, съ сущностью народной поэзіи и съ Гомеромъ сблизилъ Гердеръ молодаго Гёте во время пребыванія его въ Страсбургъ. Наставленія Гердера пали на плодородную почву. Гёте воспринялъ его взгляды, самостоятельно ихъ переработалъ, и вскоръ мы видимъ его главою литературнаго кружка, который пропагандируетъ культъ Шекспира, принципы природы и-геніальности и борьбу лица съ авторитегомъ. Это одинъ изъ кружковъ такъ называемыхъ дикихъ геніевъ періода бурныхъ стремленій, съ которымъ мы познакомимся въ слъдующій разъ.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

О періодъ бурныхъ стремленіц.

Понятіе o Sturm-und Drangperiode.—Принципъ индивидуализма въ XVIII въкъ и ученіе Руссо.—Руссо въ Германіи. Бурные геніи.— Геттингенскіе барды. Прирейнская группа.

Подъ періодомъ бурныхъ стремленій (Sturm-und Drangperiode) ивмецкіе историки литературы разумьють преимущественно 70-е и 80-е года прошлаго выка. Литературныя явленія этого періода группируются около Гёца и Вертера Гёте и около первыхъ драматическихъ опытовъ Шиллера. Названіе свое получила эта эпоха отъ драмы одного изъ характеристическихъ ея представителей — Клингера, посившей заглавіе «Sturm und Drang». Но самымъ типическимъ ея созданіемъ былъ безепорно Гётевъ Вертеръ.

Важность изученія періода бурныхъ стремленій не подлежить сомижнію: въ немъ мы находимъ зародыши всёхъ послёдующихъ литературныхъ и общественныхъ направленій Германіи, это—общая кольбель дёятелей, которые впослёдствіи разошлись по самымъ различнымъ путямъ. Въ литературномъ броженіи 70-хъ годовъ коренятся такія повидимому песродныя и противоположныя явленія, какъ реальная поэзія Гёте, эллинизирующее паправленіе взаимной дёятельности Гёте и Шиллера и романтическая пікола.

Припомнимъ, что просвътительное движение XVIII въка заключалось: 1) въ борьбъ мысли съ теоретическими заблужденіями, иначевъ борьбъ науки съ метафизикою, знанія съ началомъ ему противоположнымъ и 2) въ борьбѣ лица съ практическими отношеніями, выработанными общественными преданіями и предразсудками, въ протесть лица противъ традиціонныхъ стъсненій, налагаемыхъ на него обществомъ. Оба эти явленія тѣспо связаны между собою: одно влечеть за собою побъду разума надъ освященными преданіемъ заблузкдейіями, другое — побъду демократизма надъаристократіей. Индивидуумъ -эманципируется — говорить Брандесь; онъ не довольствуется тъмъ ноложеніемъ, которое дано ему рожденіемъ, онъ не хочетъ воздѣлывать поля отцевъ; передъ нимъ раскрывается весь міръ для его дъятельности. Борьба отдёльнаго, лица за право мыслить и действовать отождествлиется съ борьбою демократическаго принципа съ феодальнымъ, и вотъ почему и вкоторые мыслители XIX в в ка обозвали періодъ повой исторіи съ XVI до XIX стольтія. — періодъ, въ теченіе котораго тянулась эта борьба — временемъ индивидуализма, смънившимъ средневъковую эноху авторитета и традицін. — Можно сказать, что эти объ струи просвътительнаго движенія имъли своихъ представителей—одна въ Вольтерћ, другая въ Руссо. Вольтеръ воевалъ главнымъ образомъ на почвъ теоретической: онъ освобождалъ мысль отъ оковъ суевърія. Руссо явился апологетомъ лица, защитникомъ его природныхъ правъ противъ общественныхъ отношеній, наконецъ поборникомъ природнаго чувства. Въ періодъ бурных стремленій мы преимущественно найдемъ вліяніе ученія Руссо; теоріи женевскаго «апостола печали» *) въ Германіи получили преобладаніе надъ трезвыми взглядами фернейскаго патріарха, но при томъ такъ, что онъ были приложены не къ вопросамъ политическимъ, а къ задачамъ литературнымъ и къ теснымъ бытовымъ, домашнимъ отношеніямъ.

Въ послъдней трети XVIII въка Руссо пользовался въ Германіи значительною популярностью: на немъ воспитывались всъ юные таланты того времени. И пе даромъ ему досталась эта популярность. Въ геніи Руссо есть именно черты, родственныя національному нъмецкому духу, такъ что M-me de Staël справедливо называетъ нъкоторыя изъ его сочиненій «германскими». Въ самомъ дълъ. Воль-

^{*) «}Apostle of affliction» (Байронъ).

теръ—истый французъ; онъ принадлежить къ даровитой семьъ Рабле. Монтаня, Мольера, Ларошфуко, Бомарше и Беранже, которые всъ обладають яснымъ, отчетливымъ, бойкимъ умомъ, всегда наклоннымъ къ блестящему остроумію и далекимъ отъ таинственной мистики; они всъ—носители ésprit gaulois. Руссо говоритъ болѣе чувству, нежели логикѣ; онъ съ любовью разсуждаеть о чувствахъ, анализируетъ настроеніе, живетъ своимъ воображеніемъ, вмѣстѣ мыслить и фантазируетъ («grübelt»); онъ такъ сказать носится съ своимъ внутреннимъ міромъ, съ своимъ «гемютомъ» (понятіе чисто нѣмецкос; «das Gemüth ist die Domaine des Deutschen», говоритъ Брандесъ).

Сочиненіями Руссо зачитывалась Германія прошлаго в'яка; даже самъ прозаическій Кантъ, непавидівшій всіхть мечтателей, съ ревностью предавался изученію Руссо. Однажды произошель даже неслыханный случай: Кантъ, засъвши за Руссо, забылъ свою ежедневную прогулку. На Руссо воспитались Гердеръ, Гёте, Гейцзе, Ленцъ, Клингеръ, Шиллеръ и многіе другіе изъ литературныхъ двятелей того времени. «Юноша, который не имбеть руководителя», говорить Клингеръ, «пускай выбереть Руссо; этоть проведеть его черезъ лабиринть жизни. укръпитъ его въ силахъ на борьбу съ судьбою и съ людьми. Сочиненія его вдохновлены самой чистой добродьтелью и истиной; они содержать въ себъ новое откровеніе природы, которая разоблачила своему любимцу свои священныя тайны въ то время, когда люди, казалось, совершенно утратили это откровеніе». «Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les mains des hommes > *)--- эти слова, сказанныя Руссо въ Эмиль, были, такъ сказать, дозунгомъ волновавшейся молодежи того времени. Замъчательно то, что самыми популярными сочиненіями Руссо въ Германіи были «Эмиль» и «Новая Элоиза», т. е. касавшілся преимущественно вопросовъ нравственныхъ, недагогическихъ и литературныхъ; между тъмъ «Contrat social», получившій во Франціи такое могущественпое значение въ приложении къ конституции 93-го года, игралъ сравнительно незначительную роль въ политически-неразвитой Германіи.

Принципы Руссо, ученіе объ индивидуализмѣ, о природѣ и чувствѣ, получили въ Германіи самостоятельное оригинальное развитіе. Во Фран-

^{*)} Все хорошо, выходя изъ рукъ Творца, все вырождается въ рукахъ человъка.

цім въ теорім о природныхъ правахъ лица, въ изследованім первобытнаго состоянія человъка стали искать подтвержденія ученія о политической свободъ личности; въ Германіи это самое движеніе противъ авторите говъ сосредоточилось на литературт и на вопросахъ частнаго быта. Для пемца пропілаго века политическая сфера была безъинте (ресна, между тімъ какъ, благодаря подготовительнымъ работамъ буржуазнаго направленія, благодаря трудамъ Лессинга, Клопштова и ихті последователей, въ націи было возбуждено участіе къ литературнымъ вопросамъ. Въ 70-хъ годахъ это движение достигло высшаго напряженія, увлекло за собою всю образованную бюргерскую молодежь и разрослось въ целую литературную революцію. Поклоненіе лицу, природе и чувству дошло до крайнихъ предъловъ. Было попираемо все, что папоминало правила и искусственность: не одни ложноклассическіе образцы, но и вообще всякій догматизмъ, всякая формалистика; а извъстно напр., какую крупную роль играда эта формалистика въ протестантизмъ. За субъектомъ стали признавать неограниченное право свободно выражать свои мысли и ощущенія; но при этомъ доходили до самой необузданной игры мыслями и установили культъ безпредъльнаго чувства. Лейхсепрингъ учредилъ тайный союзъ подъ названіемъ ордена чувствительности; боготворили дружбу и тайную симпатію душъ. — Новыми литературными идеалами сдълались Гомеръ, какъ представитель народной первобытной поэзіи, Оссіанъ-поэтъ чувства и «неиспорченной» старины, Шекспиръ, какъ подная противоноложность ложноплассикамъ и какъ высшій выразитель естественпости.

Въ особенной модъ и въ особенномъ почетъ была геніальности, какъ проявленіе особенной силы и способности лица. Всъ лъзли въ геніи и старались добыть себъ эту репутацію оригинальными выходками, которыя должны были свидътельствовать о необыкновенномъ развити индивидуальности. Буйную молодежь 70-хъ годовъ прошлаго въка не безъ основанія называли дикими или мятежными геніями (Kraftgenies). Для такихъ геніевъ не могло быть стъсненій и правиль: они дъйствовали сообразно съ своими геніальными вдохновеніями и вполит самобытно, по ихъ мнънію, т. е. совершали, иногда при всей разумности основныхъ взглядовъ, безконечныя (unendlich—слово «безконечный» было также въ модъ)... глупости. «Быть бурнымъ и сентиментальнымъ», говорить Льюисъ, «быть дикимъ и слез-

ливымъ — значило быть геніемъ. Все обыденное было скучно, и это обыденное ненавидълъ геній; онъ не хотълъ вести себя по правиламъ, не хотълъ даже правильно писатъ и стремился быть суровымъ, природнымъ нъмцемъ».

При всемъ комизмѣ выходокъ бурныхъ геніевъ, нельзя отрицать великое значение этого періода въ исторіи пемецкаго развитія. После эпохи литературнаго и общественнаго броженія, когда улеглись дикіе порывы молодаго покольнія, мы встрычаемся съ крупными результатами, выработанными этимъ временемъ. Въ 90-хъ годахъ XVIII въка мы застаемъ нъмецкую литературу уже вполнъ сблизившуюся съ жизнью и выросшую до значенія общественной силы. Мы застаемъ поэтовъ и мыслителей, свободно относящихся къ такимъ литературнымъ и научнымъ вопросамъ, обсуждение которыхъ возможно только тамъ, гдъ принципы традиціи и авторитета уже утратили свою неприкосновенность и евое обязательное значение. Тотъ мыслитель, который зачитывался Руссо, является передъ нами съ великимъ твореніемъ, въ которомъ прочитана отходная всякой метафизикъ (Кантъ); тотъ поэтъ, который предавался дикимъ и необузданнымъ порывамъ въ вружкахъ 70-хъ годовъ, даетъ міру величайшее литературное произведеніе, изобразившее всь стремленія, всь муки, всь страданія, всю сложную внутреннюю жизнь новаго человъчества (Фаустъ). Будемъ же это помнить... Разсматривая забавныя сентиментальныя упражненія, комическія геніальныя позы юнопіей 70-хъ годовъ, не забудемъ серьезныя тенденціи этого движенія, которыя обнаружились на его результатахъ...

Теперь я разскажу вамъ о двухъ интересныхъ литературныхъ кружкахъ того времени, характеристика которыхъ можетъ наглядно познакомить васъ съ бытомъ «дикой геніальной» молодежи нами разсматриваемой эпохи. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

Въ 1772 году въ Геттингенъ образовался литературный кружокъ студенческой молодежи подъ названіемъ «Союза Бардовъ»; къ пему принадлежали Фоссъ, внослъдствіи прославивтійся своимъ переводомъ Гомера, Гельти, Миллеръ, Ганъ, братья Штольберги, Бюргеръ (сильный поэтическій галантъ) и нъкоторые другіе. Литературнымъ органомъ ихъ былъ Геттингенскій Альманахъ Музъ. Члены кружка воодушевлены были модными въ то время идеями народности, свободы, дружбы и природы. Ихъ кумиромъ былъ Клопштокъ, какъ поэтъ-выразитель національныхъ стремленій, какъ пъвецъ германской старины; но сверхъ того они прислушивались къ новому свъжему учению о народности Гердера, и въ 1773 году встрътили съ восторгомъ появление Гетева «Гёца». Съ стремленіями и бытомъ этого кружка мятежныхъ геніевъ лучше всего знакомить переписка Фосса, изъ которой я и приведу наиболье характеристическіе отрывки. Воть какъ разсказываеть Фоссъ о формальномъ учрежденіи союза бардовъ: «Оба Миллера, Ганъ. Гёльти, Версъ и я отправились въ близь лежащую деревню. Вечеръ былъ необыкновенно пріятный, съ полною луною. Мы отдались всецтло чувствительному созерцанію прекрасной природы. Въ крестьянской избъ пили мы молоко и потомъ пошли въ поле. Въ небольшой дубовой рощь намъ пришло въ голову клятвенно заключить союзъ дружбы подъ этими священными деревьями. Мы надѣли на шляпы дубовые вънки, положили ихъ подъ дерево, схватились за руки и стали плясать вокругъ дерева, призывая луну и звёзды въ свидётели нашего союза, - и клялись въ въчной дружбъ». Изъ другихъ писемъ мы узпаемъ, какъ на своихъ собраніяхъ барды читали оды Клопштока, свои собственныя стихотворенія, съ восторгомъ пили за здоровье Клопштока и -- обратите на это внимание -- за погибель развратителя нравовъ Виланда, за погибель Вольтера. Они любятъ гулять при лунномъ свътъ и импровизировать при этомъ стихи. Въ другой разъ Фоссъ пишетъ, что они съ Штольбергомъ и Ганомъ до полночи ходили по комнать, разговаривая о Германіи, о Клопштокь, о свободь. о великихъ дълахъ и о міценіи Виланду, который не уважаетъ чистоту и стыдливость. «Разыгралась гроза», прибавляеть Фоссь, «и громъ и молнія придали пашему и безъ того уже оживленному разговору такой бурный и вмёсть съ тёмъ такой торжественный и серьезный характеръ, что въ эту минуту мы были бы готовы совершить любое великое дело». Въ 1773 году барды праздновали день рожденія Клопштока. Былъ накрыть длинный столь, убранный цвётами. На кресль, усъянномъ розами и левкоями, лежали всь сочиненія Клопптока, подъ нимъ разорванная Idris Виланда. Были прочитаны оды Клоиштока, относящіяся къ Германіи; Идриду топтали, изъ нея драли страницы и закуривали ими трубки. Пили за Клопштока, на память Лютеру и Германну, потомъ за союзъ, за Эберта, Гёте и Гердера. «Мы сидели въ шляпахъ, говорили о свободе, о Германіи, о добродътели». Въ заключение была сожжена книга Виланда и его портретъ. Самъ Клопштокъ прислалъ союзу письмо, а потомъ посътилъ Геттингенъ и былъ съ почестями принятъ бардами. Въ письмъ своемъ Клопштокъ призывалъ юношей и другихъ истинныхъ нъмцевъ, какъ Герстенберга и Гёте, сплотиться и соединенными силами удержать напоръ порока и тиранніи.

Геттингенцы были необыкновенно склонны къ чувствительности. При отъвздв Штольберговъ *) были всеобщія громкія рыданія. «Es ward ein lautes Weinen»— говоритъ Фоссъ. Разумвется барды во множествв писали оды «къ неизвестной милой». Впрочемъ, ихъ лирика не ограничивалась плаксивыми изліяніями; многія изъ лирическихъ произведеній членовъ кружка были исполнены такой неподдёльной свёжести и затронули такіе чисто народные вопросы, что вскорв получили необыкновенную популярность и сдёлались достояніемъ народа.

Геттингенскій кружокъ бардовъ представляетъ вамъ образчикъ бурной молодежи 70-хъ годовъ прошлаго въка. Вы встръчаетесь съ стремленіями, повидимому противоръчащими другъ другу, съ проклятіями Вольтеру и съ прославленіемъ свободы, съ исканіемъ природы и поэзіи и филистерскими замашками нъмецкихъ бюргеровъ. Но во всемъ этомъ смъщеніи понятій, во всъхъ странныхъ выходкахъ геттингенскихъ буршей можно замътить одну преобладающую черту — отвращеніе отъ всякаго формализма, отрицаніе всякой догмы, какъ эстетической, такъ и религіозной и общественной, и безграничный культъ чувства, в вмъстъ съ нимъ и личностии.

Я васъ познакомлю теперь, мм. гг., съ кружкомъ страсбургскихти франкфуртскихъ дикихъ геніевъ, во главѣ котораго стоялъ Гёте со времени пріѣзда своего въ Страсбургъ. Это не организованный кружокъ, подобно геттипгенскому, а скорѣе группа пріятелей и друзей которые въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ находились другъ съ другомъ въ частыхъ сношеніяхъ и проникнуты были однородными тенденціями хотя и обладали совершенно различными талантами. Гёте по своимъ умственнымъ и художественнымъ дарованіямъ стоялъ неизмѣримо выше всѣхъ своихъ друзей; но нельзя отрицать значенія, которое имѣло это общество на развитіе его взглядовъ и направленія.

^{*)} Графы Штольберги — любопытное явленіе. При тогдашней замкну тости ари стократіи замвчательно обстоятельство, что оба графа попадаютъ въ бюргерскій кружовт мятежныхъ геніевъ. Гр. Фридрихъ Штольбергъ написаль алкейскую оду, въ каждой строфі которой находилось слово «свобода». Впослідствіи онъ принялъ католическую віру.

Подобно тому, какъ у гетгингенскихъ бардовъ кумиромъ былъ Клопштокъ, прирейнскіе боготворили Оссіана и особенно Шекспира, который быль для нихъ альфой и омегой. Еще въ Страсбургъ Гёте сблизился съ молодымъ Рейнгольдомъ Ленцемъ *), вибств съ которымъ онъ ревностно изучалъ Шекспира, побуждаемый на это наставленіями Гердера. Они до того увлекались своими литературными образцами, что разговаривали между собою на манеръ Фальстафа, Гамлета и Шекспировыхъ клоуновъ и серьезно разбирали, соотвътствуетъ ли такая-то и такая-то острота Шекспира истинному духу шутовства. Ленцъ постоянно силился тягаться съ Гёте и не только въ литературныхъ произведеніяхъ, но и въ любовныхъ похожденіяхъ, но на такого рода конкурренцію опъ не имблъ достаточно личныхъ данныхъ. Его поэтическія произведенія не имбють никакого самостоятельнаго значенія. Для литературной исторіи того времени гораздо важиве его работы по Шекспиру, его переводы Шекспира и его «Замъчанія о театръ». Въ поклоненіи Шекспиру Ленцъбылъ настоящимъ фанатикомъ. Говоря объ отношеніяхъ Ленца къ ложноклассическимъ образцамъ. Гёте придаетъ ему эпитетъ иконоборца: такъ неукротимо и съ такимъ рвеніемъ стремился онъ низвергать кумиры литературныхъ теорій, освященныхъ преданіемъ. О такихъ пылкихъ шекспироманахъ, какъ Ленцъ, Гердеръ выражался въ своей перепискъ, что они «портять» Шекспира. Безпокойный Ленцъ, котораго постоянно мучило его бользненное воображение и чрезмърное самолюбіе, приходился какъ нельзя болъе подъ стать періоду бурныхъ волненій; подобная личность, поставленная въ другой болъе трезвый спокойный періодъ, врядъ ли получила бы то литературное значеніе, которое пріобрълъ Ленцъ въ 70-хъ годахъ прошлаго въка. Онъ догеніальничался до сумаществія, въ теченіе долгихъ явть бродиль по Германіи и наконець попаль въ Москву, гдв. какъ предполагаютъ наши изследователи, онъ не мало имелъ вліянія на Карамзина и Петрова.

Другой характеристическій пріятель Гёте въ это время быль Максимиліанъ *Клингеръ*, истый бурный геній, настольною книгою котораго быль «Эмиль» Руссо. Какъ уже мною было указано выше, онъ написалъ между прочимъ въ подражаніе Шекспиру драму «Sturm und Drang», любопытную по неистовымъ титаническимъ выходкамъ

^{*)} Ср. Ленцъ и Генрихъфонъ-Клейстъ у Прутца, Vorlesungen, стр. 176.

ея главныхъ действующихъ лицъ, которыя отправляются въ Америку воевать за независимость Соединенныхъ Штатовъ. Вотъ, напр., что говоритъ герой ея Вильдъ («дикій»): «.... Мит опять такъ тяжело. 0, еслибъ я могъ помъститься въ дуль пистолета и при выстръль взлетъть на воздухъ. О, неопредъленность, какъ далеко въ сторону заводишь ты людей! Для того, чтобы выйти изъ отвратительнаго состоянія неопределенности, я долженъ быль бежать. Мит казалось, что земля подо мною колеблется, — такъ не тверды были мои шаги... Я встмъ быль: быль работникомъ для того только, чтобы чёмъ-нибудь быть-Жилъ на Альпахъ, пасъ козъ, день и ночь лежалъ подъ безконечнымъ небеснымъ сводомъ, освъжаемый вътрами и разжигаемый внутреннимъ пламенемъ. Нигдъ нътъ покоя, нигдъ отдыха!» На юношескихъ произведеніяхъ Клингера можно легко проследить связь между сентиментальнымъ геніальничаньемъ 70-хъ годовъ и міровымъ скептицизмомъ конца XVIII и начала XIX въка. Въ Клингеръ очень ръзко обнаруживается тотъ разладъ между предвзятыми идеями и дъйствительною жизнью, который впоследствіи разросся въ міровую скорбь. Въ своихъ позднъйшихъ романахъ Клингеръ является уже настоящимъ «скорбникомъ» и вторить пессимистическимъ темамъ Фауста и Манфреда. Къ этимъ романамъ мы обратимся при разсмотрѣціи той литературы, которая стояда въ связи съ Гётевымъ Фаустомъ.

Деопольдъ Вагнеръ — третье лицо, которое можно отнести къ группѣ прирейнскихъ геніевъ. Интересно свидѣтельство Гёте о Вагнерѣ въ Wahrheit und Dichtung: «Я долженъ еще упомянуть объодномъ хорошемъ маломъ, который принадлежалъ къ нашимъ, хотя и не отличался особенными дарованіями. Звали его Вагнеромъ, и онъ былъ членомъ страсбургскаго, потомъ франкфуртскаго общества. Онъ былъ не безъ ума, не безъ таланта и образованія. Опъ заявилъ себя стремящимся (er zeigte sich als ein Strebender), и мы его привѣтствовали».

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ лицахъ вы найдете у Геттнера. О Ленцѣ написана монографія Группе. Отношеній Ленца къ кружку Карамзина коснулся проф. Тихонравовъ въ статьѣ «Четыре года изъ жизин Карамзина» (Русскій Вѣстникъ, 1862 г., № 4). О другихъ пріятеляхъ Гёте и членахъ прирейнской группы я скажу позже.

Мы видъли, что геттингенскій кружокъ имълъ въ литературныхъ своихъ произведеніяхъ направленіе преимущественно лирическое. Прирейнцы со своимъ культомъ Шекспира стремились быть драматиками.

Вообще для знакомства съ исторіей вліянія Шекспира на нѣмецкую литературу я рекомендую сочинение Rudolph Ganée, «Geschichte der Shakspearschen Dramen in Deutschland, и статью проф. Стороженко о шекспировской критикъ въ Германіи (Въстн. Евр. 1869 г., №№ 10 и 11). Для отношеній прирейнцевъ къ Шекспиру характеристичнъе всего будетъ привести отрывокъ изъ ръчи о Шекспиръ, произнесенной Гёте въ Франкфурть, на шекспировскомъ празднествь, въ октябръ 1771 г. «Первая страница, которую я прочиталъ у Шекспира, сблизила меня съ нимъ на всю жизнь, а когда я кончилъ первую пьесу, я стояль какъ слепорожденный, которому волшебная рука въ одно мгновеніе подаеть зрвніе. Я живо чувствоваль, что все мое бытіе безконечно расширилось; все для меня было ново, неизв'єстно, и непривычный свътъ ръзалъ мит глаза. Понемногу я усматривалъ то, что вынесъ изъ этого знакомства. Я ни минуты не колебался отръпиться отъ правильной, общепризнанной драмы. Единство мъста наноминало мит тесную темницу, единство времени представлялось мит тяжелыми оковами для воображенія. Я вышель на свёжій воздухь и точно въ первый разъ почувствовалъ, что у меня есть руки и ноги. И теперь, видя, сколько зла причинили мив господа теоретики, и сколько народа досель еще сгибается подъ гнетомъ этихъ правилъ, я былъ вынужденъ объявить имъ войну и ностоянно стремился разрушать ихъ твердыни».

Подъ вліяніемъ изученія Шекспира и идей Руссо Гёте зимою 1771 г. нанисалъ свое первое крупное произведеніе — драму «Гёцъ фонъ-Берлихингенъ», которая является поэтическимъ отраженіемъ литературныхъ и общественныхъ взглядовъ періода бурныхъ стремленій. Въ то время, какъ дикіе геніи — пріятели Гёте — неистово подражали Шекспиру во внѣшнихъ формахъ и, бѣдные талантами, не имѣли возможности возвыпаться до истинно художественныхъ концепцій, — Гёте въ своемъ твореніи не ограничился однимъ заимствованіемъ у англійскаго драматурга его пріемовъ: онъ создалъ самостоятельное произведеніе въ pendant къ драмамъ Шекспира и оживилъ его духомъ и направленіемъ своего времени. Меркъ, одна изъ любопытнѣйшихъ личностей этого періода (монографія о немъ написана Георгомъ Циммерманномъ, 1871 г.), отличавшійся между прочими пріятелями Гёте своими критическими наклонностями и замѣчательнымъ остроуміемъ (впослѣдствіи въ Wahrheit und Dichtung Гёте называлъ его своимъ Мефистофелемъ)—

Меркъ говаривалъ Гёге: «Другіе (это относилось къ дикимъ геніямъ) отремятся въ дъйствительности осуществить поэтическія мечтанія, и изъ этого выходитъ вздоръ; твое призваніе самой дъйствительности дать поэтическіе образы». Этимъ замъчаніемъ Меркъ опредълилъ реальное направленіе художественнаго таланта своего друга. Гёцъ драма, построенная на историческихъ темахъ XVI въка, тъмъ не менъе тъсно связана съ дъйствительностью, современною Гёте. Это поэтическое отраженіе извъстныхъ выдающихся сторонъ этой дъйствительности. Въ слъдующій разъ я буду говорить о Гёцъ.

ЛЕКЦІЯ ПЯТАЯ.

Гёцъ фонъ-Берлихингенъ.

Сочиненіе Мёзера «о кулачномъ правѣ» и связь его съ Гёдемъ.—Рыдарь Гёдъ и взглядъ Гёте на эту личность.—Индивидуализмъ въ средніе вѣка и въ XVIII ст.—Направленіе драмы въ связи съ направленіемъ вѣка.—Литературное значеніе Гёда.

Я уже сказаль вамъ въ первой лекціи, что современный историкъ литературы относится къ каждому литературному произведенію 1), какъ къ факту, порожденному извъстными историческими условіями и 2), какъ къ фактору, воздъйствующему на послъдующія историческія явленія. Съ этой точки зръпія я постараюсь сегодня разъяснить вамъ драму «Гёцъ фонъ-Берлихингенъ», приведя ее въ тъсную связь съ современной ей дъйствительностью, освътивъ ея историколитературную обстановку.

За три года до появленія въ печати Гётева Гёца, т. е. въ 1770 г., было написано сочиненіе извъстнаго нъмецкаго юриста Юстуса Мёзера «О кулачномъ правъ.» Интересно сопоставить этотъ трактатъ съ драмой Гёте: и трактатъ, и драма—произведенія той же самой культурно-исторической атмосферы, тъхъ же самыхъ общественныхъ тенденцій. Во времена кулачнаго права, по митнію Мёзера, итмецкій народъ отличался наиболье развитымъ чувствомъ чести, тълесною мощью и національнымъ величіемъ. Всякій свъдущій историкъ, говоритъ онъ, долженъ восхищаться кулачнымъ правомъ, какъ «художественнымъ созданіемъ высшаго стиля». Мёзеръ слъдующимъ образомъ

развиваетъ это положеніе. Какъ бы ни порицали Руссо, но сила и умъние ею пользоваться всегда останется существеннымъ преимуществомъ. Наше новое законодательство можетъ связать людямъ руки и ноги, можетъ грозить имъ смертью и колесованіемъ, но они все таки будуть прибъгать къ силъ противъ врага въ случать оскорбленія. Наши предки не смъли попирать это прирожденное право. Они давали ему просторъ и посредствомъ законодательства направляли его теченіе: кулачное право было право частной войны, ограниченное постановленіями земскаго мира. Плугъ былъ свять, неприкосновененъ; нротажій на большой дорогь находился въ безопасности, равно какъ и престышинъ за своею изгородью, если онъ только самъ не нападалъ. Никто не смълъ носить оружіе въ завътные дни. Враждующія стороны должны были за ивсколько дней до схватки послать другь другу вызовы и послѣ этого чинно и спокойно выступать по большой дорогъ подобно другимъ путешественникамъ, если они не хотъли преступить установленій земскаго мира и накликать себѣ на шею его пеполнителей. Враги не могли часто выступать въ походъ большими нартіями, и имъ не нужно было ни топтать луга, ни рубить ліса, ни опустошать поля. Когда дёло доходило до стычки, то исходъ ея рѣшался личной силой, мужествомъ и ловкостью. Случаи грабежа и разбоя въ то время — ничто сравнительно съ опустошеніями современныхъ войнъ. Въ настоящее время въ одинъ походъ истребляется болѣе людей, чемъ бывало тогда въ целое столетие, и весь нашъ способъ войны уже не опирается на личную храбрость. И вотъ Ю. Мёзеръ приходить къ заключенію, что старое кулачное право, какъ организованное учрежденіе, песравненно систематичніве и разумніве современнаго ему международнаго права.

Мёзеръ былъ вообще писатель свёдущій, талантливый и остроумный. Его «Оснабрюкская исторія» представляетъ замѣчательную, культурно-историческую работу, которая послужила образцомъ для множества нослёдующихъ историческихъ трудовъ. Онъ высказываетъ очень много любопытныхъ и мѣткихъ замѣчаній о необходимости самономощи и децентрализаціи и о непригодности той бюрократической опеки, которая давила Германію того времени. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, исходя иногда изъ очень вѣрныхъ основныхъ положеній, онъ слишкомъ далеко заходитъ въ развитіи частностей и, увлекаемый ложными идеальными представленіями о средневѣковомъ бытѣ, при-

ходить къ выводамъ, не оправдываемымъ строгими историческими изслъдованіями. Мнъ кажется, будетъ излишнимъ опровергать передъ вами характеристику средневъковаго кулачнаго права. Достаточно будетъ вамъ напомнить, что право частныхъ войнъ, которыми пользовалась феодальная аристократія, было истиннымъ бъдствіемъ для низшихъ общественныхъ слоевъ, что пресловутыя постановленія божьяго мира постоянно нарушались, что сельскій пролетаріатъ не имълъ никакихъ прочныхъ гарантій и что драть послъднюю нитку съ земледъльца считалось такимъ обыкновеннымъ дъломъ, о которомъ и говорить не стоило.

Но для насъ важенъ самый взглядъ Мёзера, взглядъ довольно распространенный въ передовомъ обществъ семидесятыхъ годовъ прошлато въка, взглядъ, навъянный изученіемъ Руссо и зарожденіемъ идеальныхъ теорій о народности и неиспорченной старинъ. Мысли, высказанныя Мёзеромъ, лежатъ и въ основъ Гёца. Онъ вообще носились тогда въ воздухъ.

Какъ я уже сказалъ, Гёте былъ подготовленъ къ своему труду наставленіями Гердера, изученіемъ Шекспира и бесёдами въ кружкахъ прирейнских то бурных теніевъ. Въ Страсбургъ и во Франкфуртъ, въ этотъ періодъ его жизни, имъ овладело самое живое сочувствіе къ среднимъ въкамъ, къ нъмецкой старинъ, къ готическому искусству,--та самая тенденція, отъ которой онъ окончательно отрушился въ «золотые» дни Веймарской жизни, во время своего знакомства съ Шиллеромъ. Зимою 1771 года Гёте прочиталъ автобіографію рыцаря Гёца фонъ-Берлихингенъ, которая легла въ основу его драмы. Это наивные и во многихъ отношеніяхъ любопытные мемуары рыцаря XVIв вка, одного изъ последнихъ могивановъ феодализма. Они изображають намъ жизнь и идеалы человека, такъ сказать опоздавшаго родиться, чуждаго своему въку, человъка, который руководствовался архаическими принципами, уже унесенными теченіемъ исторіи, и стремился къ задачамъ, для которыхъ уже давно прошла историческая очередь. Гёцъ настоящій среднев ковый рыцарь, который на весь міръ смотрить съ точки зрвнія удалыхъ выходокъ, дракъ, схватокъ, вылазокъ, для котораго фейда — частная вражда съ сосъдями — его природная стихія, который свято хранитъ свое слово и ненавидитъ горожанъ — представителей новаго общественнаго строя и новыхъ нонятій. Онъ хвастается въ своемъ жизнеописаніи, что съ своимъ

единственнымъ кулакомъ (другой у него былъ отрубленъ), онъ цѣлыхъ пестъдесятъ лѣтъ велъ войны, драки и споры. Вся его дѣятельность, — лучше сказать, вся его безпокойная возня, — не принесла пользы ни ему, ни другимъ, и, несмотря на извѣстную нравственную высоту его характера, на его феодальное благородство, онъ представляется для насъ въ XVI вѣкѣ на сторонѣ элементовъ, тормозящихъ движеніе цивилизаціи. Это — личность, отжившая для своего времени, непонимающая его требованій, — личпость ненужная и вмѣстѣ съ тѣмъ достойная сожалѣнія, какъ и всѣ послѣдніе могикане.

Совершенно иначе, съ точки зрвнія своего ввка, ваглянуль на Геца Гете. Въ автобіографіи Геца великаго поэта поразило благородство, правдивость, вфрность слову рыцаря, его поразила самобытность Геца; въ немъ онъ усмотрълъ представителя благородивишихъ нравственных эстремленій, погибающаго въ въкъ лжи, хитрости и слабодушія. Всв симпатіи Гёте были на сторонь Гёца. Напротивъ того въ тъхъ историческихъ явленіяхъ XVI въка, которыя какъ бы возвъщали новый строй общественныхъ отношеній, онъ видитъ упадокъ и регрессъ. Съ прискорбіемъ видить онъ постепенное паденіе германской имперіи, а съ нею и пародныхъ правъ, подъ ударами отдъльныхъ князей и римской юриспруденціи. Гёцъ является для него героемъ первобытнаго древняго закала, который своей личностью заявляетъ протесть всей современной обстановкъ. И вотъ мы встръчаемся оцять, мм. гг., съ принципомъ индивидуализма и учепіемъ Руссо. Бурные геніи въ своемъ культь лица должны были быть поражены ролью личности въ средніе въка. Рыцарь Гёцъ именно является типомъ средневъковаго самобытнаго лица и возбуждаетъ къ себъ симпатіи нъмецкой молодежи прошлаго въка, которая чувствовала какую то родственную связь между своими идеалами индивидуализма и общественнымъ положеніемъ лица въ средніе въка. Нехудо по этому случаю сказать несколько словь объ личности въ средніе въка и въ XVIII стольтіи.

Извъстно, что въ средніе въка личность получила такое развитіе, какого она не имъла ни въ античномъ мірѣ, ни—тъмъ менѣе—на востокъ. Въ восточныхъ деспотіяхъ значеніе отдъльной личности, за исключеніемъ лица самого деспота, было равно нулю; въ древнемъ мірѣ лицо поглощалось городомъ-государствомъ. Въ средніе въка мы видимъ, что лицо получаетъ дъйствительно значеніе, и въ разгарѣ средне-

въковой жизни, въ Х въкъ, на лицъ феодала сосредоточивается весь интересъ историка общества. При изученіи значенія личности въ средніе въка нужно имъть въ виду сабдующія два обстоятельства: во первыхъ, личностъ, которая въ средніе въка имъетъ дъйствительно въсъ и значеніе-это личность феодала, личность родовитая и военная, которая держится своей поземельной собственностью, своимъ кулакомъ, своими семейными преданіями и невѣжествомъ массъ; во вторыхъ, эта личность сильна вследствіе слабости общественных в связей. Само изолированное положение личности заставляло ее расчитывать только на себя. Дикія выходки средневъковаго лица пельзя даже назвать самоуправствомъ, потому что не было ни общаго права, ни юридическихъ гарантій. Развитіе индивидуализма является необходимымъ следствіемъ отсутствія публичной власти. Независимость и самостоятельность лица опредъляются въ средніе въка отсутствіемъ организованнаго государства; и чтмъ ближе къ новой исторіи, чтмъ болте развивается государство, принимая на себя заботу о внутреннемъ порядкъ и внося въ общественную жизнь начало закона, тъмъ болбе оно лишаетъ отдъльное привилегированное лицо той неограниченной самостоятельности, которой оно пользовалось въ средніе въка.

Въ XVIII стольтіи личность играеть другую роль. Во 1-хъ, въ противоположность аристократической личности среднихъ въковъ развивается личность вообще, личность демократическая, которая отрицаетъ всякія традиціи и опирается на свое образованіе и свои умственныя силы. Добиваются признанія правъ каждой личности, безъ отношенія къ ея генеалогіи, къ ея вемлевладьнію и, тымъ менье, къ ея физическому удальству. Во 2-хъ, лицо, борясь за свои права, живетъ уже не изолированной монадой, а въ средь развитыхъ государственныхъ отношеній. Съ ними оно борется, стремится къ ихъ ломкъ или къ ихъ преобразованію.

Такимъ образомъ въ средніе вѣка принципъ личности получаль только *частнюе* развитіе въ средѣ привилегированнаго слоя. Въ XVIII стольтім онъ получаетъ всеобщее значеніе для цѣлыхъ массъ. Потому-то конецъ XVIII и начало XIX вѣка — время, когда принципъ индивидуализма достигъ высшей своей силы. Являются и такія личности, какъ солдатъ Наполеонъ и философъ Фихте: одинъ — пытающійся завладѣть всѣмъ міромъ, другой — взирающій на весь міръ, какъ на созданіе своего мышленія, своего я.

Возвратимся къ принципамъ индивидуализма, которые проповъды вали нъмецкіе бурные геніи. Мы видъли на частныхъ примърахъ, какъ эта идея принимала самыя разнообразныя формы, какъ ея отдъльныя проявленія приходили къ самымъ страннымъ уклоненіямъ отъ нормальнаго типа, какъ стремленіе къ индивидуализму доходило до самыхъ странныхъ увлеченій, иногда до безразсуднаго желанія геніальничать.

Драма «Гёцъ» представляеть намъ любопытный примъръ одного изъ тъхъ многочисленныхъ направленій, которыя принимала идея индивидуализма въ XVIII въкъ. Гёте былъ пораженъ самостоятельностью и самобытностью личности рыцаря Гёца. Мы знаемъ тенерь, что эта средневъковая самостоятельность и самобытность ръзко отличалась отъ индивидуализма новаго времени, но для бурныхъ юношей прошлаго въка достаточно было вившнихъ формъ, и они ухватились за Геца, по любили его, какъ протестующого, какъ своего брата-бурнаго генія. которому тъсно было въ современныхъ ему общественныхъ отношеніяхъ. Для того чтобы увлечься имъ, было достаточно того, что они находили въ Гёцъ сильную личность, которая шла въ разръзъ съ своимъ въкомъ. И они совершенно упустили изъ вида то, что въ сущности это было лицо, служившее ультра-консервативнымъ интересамъ своего времени... Вотъ до какого противоръчія могло довести восторженное отношение къ принципу, принимавшемуся во всёхъ крайностяхъ и логически непровъренному.

Итакъ, Гёцъ проникнутъ рѣзкою и опредѣленною тенденціей и весь сводится на одну основную идею, которая владычествуетъ надъвсѣмъ произведеніемъ. Для того, чтобы отыскать эту тенденцію и эту идею, намъ не для чего прибѣгать къ тѣмъ тонкимъ, искусственнымъ толкованіямъ, къ тѣмъ натянутымъ софизмамъ, которые пускаютъ въ ходъ нѣмцы для того, чтобы во что бы то ни стало найти опредѣлен ную идею въ каждой драмѣ Шекспира. Тотъ преобладающій мотивъ на которомъ построена вся драма Гёте, онъ звучить во всѣхъ фазисахъ развивающагося дѣйствія, онъ слышится во всѣхъ рѣшающихъ сценахъ, въ важныхъ моментахъ этой драматической исторіи. Первой редакціи Гёца предпосланъ эпиграфъ изъ Галлера: «Зло совершилось запятнанъ духъ народный и лишенъ всѣхъ благородныхъ стремленій». Тотъ же мотивъ завершаетъ пьесу. «Я покидаю тебя въ развращенпомъ мірѣ», говоритъ умирающій Гёцъ своей женѣ. «Настаютъ времена обмана, которому предоставляется полная свобода. Негодяи будутъ

управлять своею хитростью, и доблестный человъкъ попадаеть въ ихъ съти.... Свободы, свободы!» — «Благородный мужъ» заключаетъ Марія, «горе стольтію, которое тебя отвергло. Горе потомству, если оно тебя не оцънитъ». Вотъ, мм. гг., сущность всей тенденціи «Гёца:» благородная, самобытная и неиспорченная личность погибаеть жертвою порочнаго, развратнаго и хитраго въка. На сторонъ «Гёца», на сторонъ исчезающихъ въ XVI въкъ рыцарскихъ покольній находится все расположение автора. Всъ главныя дъйствующия лица дълятся на двъ группы: люди стараго покроя, которыхъ авторъ старается надёлить всёми нравственными качествами, и люди новаго направленія, отличающіеся свойствами противоположными. Мы видели, какъ пришелъ Гёте къ такому взгляду: онъ увлекся одною стороною среднев ковой жизни сильнымъ развитіемъ въ ней отдёльныхъ самостоятельныхъ личностей, естественностью, т. е. первобытностью общественных отношеній, наконецъ средневъковою «свободою», которая въ сущности состояла въ отсутствій прочныхъ общественныхъ связей; эти явленія средневѣковаго быта какъ нельзя болье вторили идеаламъ дикихъ геніевъ, которые вообще мало заботились о логической опредъленности своихъ понятій и болбе основывались на смутныхъ поэтическихъ представленіяхъ. Совмъщая въ себъ всъ нравственныя достоинства, всъ свътлыя стороны рыцаря, Гёцъ является въ драмѣ Гёте идеальнымъ образцомъ средневъковаго феодала и виъстъ съ тъмъ лицомъ, протестующимъ противъ новаго государственнаго строя во имя гъхъ старыхъ общественныхъ формъ, которыя давали возможность независимому, т. е. въ этомъ случат — изолированному, самобытному, — иначе первобытному развитію личности; онъ является вивсть съ тымъ дикимъ геніемъ, не признающимъ по модъ XVIII въка никакихъ правилъ и стъсненій своей свободы. Гёте въ своихъ воззрѣніяхъ подходить къ Мёзеру, который сказаль между прочимь следующія характеристическія слова въ одномъ юридическомъ сочиненіи, вышедшемъ въ свъть въ одно время съ Гецемъ»: «Ежедневно говорять о томъ, какъ вредно дъйствують на развитіе генія всь общія правила и законы и какъ въ наше время трудно подняться надъ посредственностью, вслъдствіе немногихъ общепринятыхъ нормъ; и тъмъ не менъе благороднъйшее художественное созданіе, т. е. государственное устройство, сводится на немногіе законы, которые укладываются въ какомъ-нибудь сводъ или проектъ, уписываются на клочев бумаги, для того, чтобы господа чиновники

могли по одному ничтожному масштабу измѣрять все великое и высокое».... Впослѣдствіи мы увидимъ, до какихъ широкихъ размѣровъ разрослось это ученіе объ автономіи личности—и особенно геніальной личности—у романтиковъ и главнымъ образомъ у Байрона. Мы увидимъ, какъ принципъ индивидуализма, который въ XVIII вѣкѣ развивался вмѣстѣ съ духомъ демократіи и его поддерживалъ, какъ этотъ принципъ превратится въ ученіе о титанизмѣ и самообожаніи личности.

Я подведу теперь общій итогъ моему изслідованію культурно-исторических у у словій, подъвліяніем в которых в сложился «Гёцъ». Я указаль вамъ на сильное развитие принципа личности въ расцвътъ средневъковаго быта и въ XVIII въкъ. Всеобщее, можно сказать даже слъпое увлеченіе этимъ принципомъ въ XVIII стольтій повело къ тому, что стали съ любовью относиться къ его средневъковымъ и первобытнымъ формамъ. Гёте -- истый и геніальный выразитель своего въка -- усмотрълъ въ рыцарской личности Гёца черты, роднившія его съ міровозаръніемъ нами разсматриваемой эпохи, и далъ имъ художественные образы въ своей драмъ. Это уясняетъ вамъ вопросъ о происхождени «Геца» и о его необыкновенной популярности. Замъчанія объ отдъльныхъ характерахъ дъйствующихъ лицъ пьесы и объ ея техническихъ достоинствахъ и недостаткахъ вы найдете у Льюнса и Геттнера. Мит следуетъ указать еще на тъ черты этого произведенія, которыя поставили его въ разръзъ съ теоріями старой школы и дали ему мъсто во главъ новаго литературнаго движенія.

Въ Гецъ фонъ-Берлихингенъ авторъ представляетъ рядъ разнообразныхъ сценъ изъ общественной исторіи XVI въка. Въ его драмъ быстро перемежаются картины домашней обстановки феодаловъ съ изображеніями ихъ военныхъ подвиговъ внъ замка, яркіе абрисы придворнаго быта князей съ эскизами изъ жизни горожанъ и сельскаго населенія, съ эпизодами изъ крестьянскихъ войнъ XVI въка и очерками судопроизводства того времени. Нътъ и помину объ единствъ времени и мъста, даже не соблюдается единство дъйствія... Это полнъйшій протестъ противъ ложноклассическихъ теорій. «Эта драма», замъчаетъ одинъ изъ рецензентовъ того времени, «можетъ привести въ удивленіе и озадачить всъхъ нашихъ литературныхъ систематиковъ, такъ какъ ее нельзя подвести и подъ одну изъ существующихъ общепризнанныхъ рубрикъ; это — пьеса, гдъ безцеремонно и сурово нопраны всъ три единства; это — ни комедія, ни трагедія, и все таки интересное, восхитительное чудовище

(das schönste; interessanteste Monstrum), за которое можно отдать сотни нашихъ плаксивыхъ драмъ»... Успъхъ Гёца былъ необыкновенный. Съ легкой руки Гёте вопіли въ моду драмы и романы изъ средневъковаго и рыцарскаго быта, которые наводнили сцену и литературу того времени. Одинъ предпріимчивый издатель просилъ Гёте паписать съ дюжину подобныхъ произведеній, предлагая ему выгодный гонорарій. Гёте разумъется не послъдовалъ этому приглашенію. Благопріятная матеріальная обстановка позволила ему избъжать когтей издателей-эксплуататоровъ и незавиднаго положенія литературнаго батрака. Притомъ онъ исчерпалъ въ Гёцъ все, что средневъковая жизнь представляла для него интереснаго. Его уже занимали другія темы, другія задачи. На другія области была направлена его свободная, не стъсненная въ своихъ проявленіяхъ художественная способность.

Въ 1774 году Гецъ былъ поставленъ на сцену въ Берлинъ и давался 6 дней сряду, что для того времени свидътельствовало о необычайномъ успъхъ пьесы. Разумъется, Гецъ пришелся не по вкусу приверженцамъ старыхъ теорій. Въ этомъ отношеніи любопытенъ взглядъ на Геца Фридриха Великаго, который въ своихъ литературныхъ понятіяхъ быль истымъ ученикомъ Вольтера и ложноклассиковъ. Въ 1780 г. Фридрихъ написалъ сочинение о нъмецкой литературъ, гдъ, въ доказательство того, какъ мало развитъ въ Германіи литературный вкусъ, онъ приводить въ примъръ успъхъ Шекспира на нъмецкой сценъ, драмы котораго, по его мивнію, достойны имвть зрителями дикарей Канады. Но отсутствіе вкуса и правиль у Шекспира—прибавляеть Фридрихь—ему можно извинить, принимая во вниманіе грубость нравовъ въ Англіп XVI въка; но вотъ въ Германіи еще недавно появился «Гёцъ», отвратительное подражание невыносимых в англійских в пьесъ, и эта пьеса пользуется самымъ искреннимъ сочувствіемъ німецкой публики. — Защитникомъ Гёца противъ нападеній прусскаго короля выступилъ извъстный намъ Мёзеръ, сочиненія котораго такъ однородны съ Гёцемъ по направленію. Въ сочиненіи своемъ «О німецкомъ языкі и литературь Мёзеръ высказаль сабдующія замьчательныя мысли. Намьреніе Гёте было представить намъ рядъ картинъ изъ національнаго быта нанихъ предковъ и показать намъ, что мы можемъ создать, бросивши чопорныхъ фрейлинъ и проницательныхъ наперсниковъ старой драмы. Автору ничего бы не стоило при помощи потертой любовной исторіи навизать своему произведенію всь три единства и свести его къ одной

темв. Но Гёте пожелаль остановиться на частностихь, и эти частности стоять у него въ связи такъ, какъ выставленные рядомъ пеизажи великихъ художниковъ. Этотъ рядъ изображеній проникнутъ настоящимъ народнымъ духомъ. И если автора никто не можетъ упрекнуть въ томъ, что онъ неправильно изобразиль рыцарскій, бюргерскій и сельскій быть той эпохи, въ которой происходить действіе пьесы, и въ томъ, что онъ погръщилъ противъ колорита и костюма; то его судять совершенно несогласно съ его собственнымъ отношеніемъ къ предмету, когда обвиняють въ томъ, что онъ не писаль для двора и не создаль правильнаго иклаго. Гёцъ-благородный и прекрасный продукть нашей почвы. Онъ не понравился королю, потому что это блюдо, которое обожгло ему нёбо и не годится для его стола. Но этимъ еще не измъряется достоинство произведенія. Когда діло идеть о народной пьест, - руководиться придворнымъ вкусомъ не слъдуеть. — Сущность этихъ замъчаній Мёзера о Гёцъ остается въ силъ и до сихъ поръ; особенно значительна фраза, приведенная мною въ заключеніи выдержки, фраза, въ которой высказывается принципъ относительности критерія для литературныхъ произведеній. То, что нравится въ извъстное время, то, что интересуетъ и занимаеть извъстный въкъ, - въ другое время и въ другой въкъ можеть потерять свое значеніе, можеть быть выпужденнымь уступить свое мъсто другимъ литературнымъ формамъ и задачамъ, которыя приспособляются къ новымъ условіямъ и новымъ требованіямъ быта. Въ 1873 году мы не можемъ восторгаться Гёцемъ, подобно юношеству прошлаго въка; мы уже съ тъхъ поръ много пережили. Но мы можемъ цънить его историко-литературное значеніе, и я пытался сегодня произвести подобную оцѣнку.

ЛЕКЦІЯ ШЕСТАЯ.

Вертеръ.

Объ источникахъ романа. Характеристика типа. Міровая скорбь, ея общія основы. — Религіозныя убъжденія Вертера. — Его бесёда съ Альбертомъ. — Его отношенія къ дётямъ и народу.

Какъ я сказалъ въ прошлый разъ, въ «Гёцъ» выражается главнымъ образомъ одна сторона міровозэрънія періода бурныхъ стремленій, а именно—принципъ индивидуализма, носителемъ котораго въ драмѣ является грубая средневѣковая личность рыцаря. Уже самый историческій сюжеть этого литературнаго произведенія сдерживаль поэта въ опредѣленныхъ границахъ и не позволялъ ему касаться многихъ основныхъ вопросовъ, занимавшихъ его современниковъ; сама тема драмы не давала Гёте возможности воспроизвести въ ней во всей цѣльности міросозерцаніе современнаго ему періода. А между тѣмъ Гёте со всѣхъ сторонъ былъ охваченъ этой эпохой бурь и тревоги, онъ переживалъ ея безпокойныя стремленія, онъ сталкивался съ самыми разнородными ея дѣятелями. Отовсюду получаемыя имъ впечатлѣнія понемногу складывались въ опредѣленные образы, которые напрашивались подъ его перо, и вотъ осенью 1774 года вышелъ въ свѣтъ Вертеръ—истое дитя того времени и послѣ Фауста самос крупное созданіе Гёте, которому онъ самъ отводилъ второе мѣсто между своими сочиненіями, предоставляя первое Фаусту.

Основой Вертеру послужилъ эпизодъ изъ недавняго процедшаго самого автора, который въ его художественномъ воспроизведении расширился въ цълую бытовую поэму. Весной 1772 года Гёте, по желанію отца, отправился въ Ветцларъ для того, чтобъ ознакомиться съ юридической практикой при находившейся тамъ имперской судебной палать и такимъ образомъ приготовиться къ дъятельности по судебному въдомству. Таково было намърение его отца, но самъ Гёте быль вовсе нерасположень къ подобнымъ занятіямъ; онъ проводиль время въ Ветцларъ въ изучени поэтовъ, въ бесъдахъ съ тамошними дчкими геніями, которые носились съ культомъ рыцарства и устроили веселый кружокъ подъ названіемъ общины кругдаго стола, какъ бы въ подражание кружку рыцарей, воспътому въ извъстныхъ средневъковыхъ сказаніяхъ. Въ Ветцларъ Гёте познакомился съ семействомъ совътника Буффа и влюбился въ дочь его Шарлотту, которая была уже невъстой нъкоего Кестнера (подробности объ отношеніяхъ Гёте къ Лоттъ и Кестнеру вы найдете у Льюиса). Любовь Гёте въ Шарлоттъ послужила темой для простой несложной завязки его новаго романа, который является результатомъ пережитаго н передуманнаго самимъ поэтомъ. Въ романъ изображается Ветцларъ и его окрестности, личность Гёте въ первой части романа почти сливается съ личностью его героя-Вертера, на сцену выведены Шарлотта и ея женихъ и любовь Гёте-Вертера къ Шарлоттъ. Но Гёте не отожде-

ствляеть себя съ Вертеромъ; онъ дъйствительно быль очень близокъ къ изображенной имъ личности, онъ переживалъ ту же тяжкую внутреннюю борьбу, его потрясали тъже сомнънія, но этотъ душевный разладъ привелъ Вертера къ самоубійству, а у самого Гёте онъ разрѣшился примиреніемъ съ жизнью; въ Гёте побъда осталась на сторонъ разума, на сторонъ простаго реальнаго отношенія къ жизни. Притомъ страсть Гёте къ Лоттъ Буффъ никогда не достигала въ немъ той напряженной стеиени, тъхъ крайнихъ предъловъ, какъ у Вертера къ поэтической Лоттъ романа. Нашъ поэтъ очень скоро утъшился и уже на дорогъ изъ Ветцлара во Франкфурть опъ посътилъ знаменитое въ то время литературное свътило -- Софи Ларошъ -- и усердно ухаживалъ за ея дочерью. Вообще подвижная многосторонияя натура Гёте не была способна на глубокую исключительную привязанность. — Къ этой основъ романа присоединилась другая тема, которая дала канву для второй части Вертера. Въ октябръ 1772 года Кестнеръ извъстилъ Гёте о самоубійствъ ивкоего юноши Герузалема, котораго самъ Гете видалъ въ Ветцларъ. Обстоятельства, сопровождавшія самоубійство Іерузалема, были довольно подробно описаны въ письмъ Кестнера, и нъкоторыя фразы изъ этого письма цъликомъ вощли въ романъ Гёте.

Указывая на этотъ матеріалъ, на эти непосредственные источники романа, я долженъ прибавить, что для пасъ они имъютъ значеніе второстепенное. Для насъ дороги не частности, которыя взяты были Гёте изъ его прошедшаго, а тъ общіе типическіе образы дъйствительности, которые были созданы поэтомъ въ его произведеніи. Вертеръ — это не Гёте и не Іерузалемъ, пасколько и тотъ и дрягой отдъльныя, частныя единицы, но вмъстъ съ тъмъ это и Гёте, и Іерузалемъ, пасколько въ нихъ выразилось общее міровоззръніе эпохи. Вертеръ — извъстный общій типъ того времени; въ этомъ для насъ его значеніе, и съ этой точки зрънія я приступаю къ разсмотръпію «Страдапій молодаго Вертера».

На первыхъ страницахъ романъ знакомитъ насъ съ Вертеромъ уже сложившимся, и его личность довольно опредъленно обрисовывается уже въ первыхъ письмахъ. Чъмъ дальше въ романъ, тъмъ образъ Вертера принимаетъ все болъе и болъе яркія очертанія и выступаетъ во всей рельефности и живости великаго художественнаго созданія. Передъ нами нервнал, впечатлительная натура, одаренная сильной фантазіей, склонная въ самой необузданной мечтательности и къ постоянной тревожной игръ

мысли и чувства. Такая патура не нашла бы себъ простора подъ прекраснымъ небомъ Греціи: среда въ значительной степени видоизмънила бы и ослабила ея природныя свойства воспитаніемъ съ тёлесными упражненіями, битвами, жизнью на площади. Въ средніе въка такого рода личность можеть быть попала бы въ толны бичующихся фанатиковъ или, можеть быть, погибла бы на пострв, обвиненная въ колдовствв, въ сношеніяхъ съ нечистымъ. Восемнадцатый віжь, это время сомніній пробуждающейся, но еще колеблющейся мысли, даеть подобнымъ натурамъ всь условія, необходимыя для их в полнаго развитія, размножаеть ихъ, дълаетъ ихъ преобладающими и популярными. Въ Вертеръ мы видимъ церваго ръзкаго представителя того переходнаго міровоззрінія, которос господствовало въ концъ XVIII и началъ XIX въка. Это — первый выдающийся «скорбникъ», за которымъ следуеть целая фаланга однородныхъ съ нимъ типовъ. Отъ Вертера недалеко до Фауста, до Каина п Манфреда, и до той тъсно съ ними связанной мпогочисленной группы второстепенныхъ литературныхъ представителей, къ которой принадлежатъ Рене Шатобріана, Адольфъ Бенжамена Констапа, Октавъ Мюссе, и многіе другіе посители міровой скорби, истинной и поддёльной.

Вертеръ много читалъ. Наука и литература того времени оставили на немъ глубокіе слѣды. Онъ — герой книжнаго и «чернильнаго» въка (des tintenkläckselnden Seculums). Это не рыцарь, обладающій могучей физической силой, исполненный военнаго мужества, не дворцовый вельможа, вышколенный придворнымъ этикетомъ, а мечтательный бюргеръ, фантазеръ, поэтическій мыслитель.

Посмотримъ, къ чему привели его книги: «Ты спрашиваешь», пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ первыхъ писемъ, «долженъ ли ты прислать миѣ мои книги. Другъ мой, ради Бога избавь меня отъ нихъ. Я не хочу больше ни руководствъ, пи совѣтовъ, ни возбужденій. Это сердце и безътого тревожно; мнѣ нужна колыбельная нѣсня, и ее дастъ мнѣ Гомеръ». Такимъ образомъ — книгамъ слѣдуетъ приписать не малую долю внутренняго разлада Вертера. Онѣ его разстроили, онъ отъ нцхъ хочетъ оѣжать. — Познакомимся поближе съ его міровоззрѣпіемъ. «Жизнь человѣкать сеть только сонъ. Когда я думаю о границахъ, въ которыя заключены дѣйствующія и мыслящія силы человѣка, о томъ, какъ всякая дѣятельность направлена къ удовлетворенію потребностей, которыя сами по себѣ не имѣютъ иной цѣли, какъ продлеціе нашего существованія, о томъ, какъ невозможно всякое спокойпое рѣшеніе извѣстныхъ

вопросовъ, - я не знаю, что сказать! Я ухожу въ себя и нахожу цълый вим гренній міръ, но болбе въ чаяніяхъ и смутныхъ ожиданіяхъ, чтмъ въ опредъленныхъ образахъ и въ живыхъ силахъ. Все сплывается тогда передо мною, и я съ усмъшкой продолжаю свои мечтанія. Учителя и воспитатели согласны въ томъ. что дети не знаютъ, чего хотятъ; но что и взрослые люди подобно дътямъ толкаются на землъ и не знаютъ, откуда они и куда идутъ, что и взрослые люди точно также не имъютъ петинной цёли и точно также бёгаютъ за бисквитами и пирожками, въ этомъ никто не хочетъ увбриться; а мив кажется, что это ясно, какъ дважды два—четырея. Въ другомъ письмъ выражается еще ръзче это разочарованіе въ жизни и въ человъкъ. «Моя мать хотъла бы видъть меня при дъль, пишень ты. Это меня разсмъщило. Развъ теперь я не активенъ? И въ сущности, не все ли равно, горохъ ли считать или чечевицу. Все въ мір'в кончается вздоромъ (Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus), и глупъ тотъ, который не по своей собственной охот или нуждь, а въ угоду другимъ хлопочеть о деньгахъ, о почетъ или вообще о чемъ-либо другомъ»....

Въ этихъ выдержкахъ заключается сущность міровоззрѣнія Вертера. Всѣ онѣ приведены изъ первыхъ его писемъ. Такимъ мы застаемъ его въ началѣ романа.

Отнесемся повнимательные къ приведеннымъ цитатамъ. Что же собственно мучаетъ Вертера, какія идеи разстраиваютъ его міровозарыніе, какія мысли поселяють въ немъ отчаяніе, приводять его къ такому глубокому пессимизму? Онъ говорить о границахъ, въ которыя заключены дъйствующія и мыслящія силы человыка, о невозможности спокойнаго рышенія извыстныхъ вопросовъ, о безсмысленности всякой дыятельности, такъ какъ все сводится только на продленіе жизни.... Въ жизни мы не имыемъ истинныхъ цылей.... Все въ міры кончается вздоромъ....

Вотъ темы, которыя лежать въ основъ міровой скорби, такъ сказать — фаустическія темы. Для того, мм. гг., чтобы придти къ подобнымъ заключеніямъ, для того, чтобы мучаться отъ подобныхъ выводовъ, для того, чтобъ сдълаться жертвой такого страшнаго разочарованія, — необходимо было быть сначала очарованнымъ жизнью, необходимо было прежде считать безграничной силу человъческой мысли и чувства, необходимо было до этого върить въ возможность абсомотнато рышенія элементарныхъ вопросовъ, относящихся къ сущности нашего бытія. Всякое разочарованіе, какъ уже указываеть самая

этимологія этого слова, является результатомь, спутникомь очарованія. Жизнь представляется Вертеру вздоромь (позднѣйшіе скорбники будуть называть ее «глупой шуткой»), наша людская дѣятельность, но его мнѣнію, не имѣеть истинныхъ цѣлей, потому, что прежде онъ ожидаль оть жизни чего то другаго, онъ расчитываль на какія то необыкновенныя задачи, на какую то безграничную дѣятельность, и... обманулся въ расчетахъ. Онъ не можеть примириться съ человѣческой немощью и ограниченностью, нотому что долго вѣриль (да и теперь вѣрить) въ самобытныя, могучія, абсолютно-свободныя силы человѣческаго духа.

Мм. гг., изъ простаго непредубъжденнаго взгляда на жизнь человъкъ никакъ пе можетъ придти къ этому чудовищному заключенію объ ен осеобщей неудовлетворительности, къ такому всеобщему пессимизму. Заключенія о качествъ извъстныхъ явленій мы выводимъ изъ ихъ сравнительной оцънки. Для того, чтобъ фанатически безусловно осуждать все существующее, для того, чтобъ сказать, что весь пашъ міръ и вся наша жизнь никуда негодны, нужно знать, что же лучше или по крайней мъръ предполагать возможность чего-нибудь лучшаго, другими словами — необходимо столкновеніе идеаловъ (извъстныхъ представленій о жизни) съ самою дъйствительностью, не соотвътствующею этимъ идеаламъ, необходимы идеализмъ и оцинка, критика факта. Эти два элемента могутъ различнымъ образомъ комбинироваться въ человъкъ.

- 1) Или идеальныя представленія настолько сильны, что заглушають всякое критическое отношеніе къ дъйствительности и заставляють человъка превратно смотръть на міръ, видъть все, какъ говорится, въ розовомъ свътъ. Идеалы подобнаго человъка согласны ст има созерцаемою дъйствительностью; онъ паходится въ гармоніи съ самимъ собой, и это потому именно, что настоящая голая дъйствительность для него не существуетъ; она сплывается съ его идеалами и онъ живетъ въ міръ фиктивномъ. Такое отношеніе къ жизни можно назвать общимъ оптимизмомъ.
- 2) Или критика, мысль, настолько уже интензивна и настойчива, что заставляеть человъка вовсе покинуть призрачный міръ ндеаловъ, стряхнуть съ себя всъ обветшалыя мечты и взглянуть на жизнь просто, спокойно, трезвыми глазами реалиста, не отыскивая въ ней того, чего она не можетъ дать, не требуя отъ нея выполненія личныхъ человъческихъ мечтаній.
 - 3) Или въ человъкъ идеалы и критицизмъ остаются въ постоянной

неразрѣшенной борьбѣ, обладая равными силами. Это именно и есть состояніе скорбника — пессимиста. Онъ еще не настолько умственно силенъ, чтобы раздѣлаться окончательно съ нѣкогда усвоенными имъ ложными идеалами и вѣрованіями, но и пе настолько ребенокъ, не настолько «эпическій» человѣкъ, чтобы закрывать глаза передъ дѣйствительностью или не замѣчать, какъ она колеблетъ эти идеалы. Отсюда — мрачное, горькое отношеніе къ жизни, недовольство всѣмъ окружающимъ и своей личностью, мучительная тревога и шаткость убѣжденій, которыя склоняются то въ одну, то въ другую сторону, нигдѣ не находятъ прибѣжища, нигдѣ не могутъ пустить глубокихъ корней.

Каждая изъ этихъ трехъ формъ міровоззрѣнія преобладаетъ въ опредѣленные періоды исторіи человѣчества. Въ концѣ XVIII и пачалѣ XIX вѣка, когда борьба между старыми упованіями и зародившимися новыми воззрѣніями достигла высшей степени ожесточенія, когда оба начала стараго и новаго — метафизика и наука — вступили въ послѣднюю рѣшительную схватку, которая должна была закончиться побѣдой одного изъ нихъ, — мы застаемъ во всей силѣ и во всемъ ея величіи міровую скорбъ, какъ знаменіе какого то страшнаго интеррегнума въ понятіяхъ.

Возвратимся къ Вертеру. Мы знаемъ теперь кое-что о значени, о смыслѣ его міровой скорби, которая является продуктомъ разлада между предвзятыми идеалами и критикой дѣйствительности, которая тѣсно связана съ невозможностью для него остановиться ни на идеальныхъ представленіяхъ, ни на прочномъ реализмѣ. Отъ этихъ общихъ основъ обратимся теперь къ частностямъ его міровоззрѣнія.

По своимъ религіознымъ понятіямъ Вертеръ далекъ отъ всякаго догматизма. Въ первыхъ письмахъ онъ глубоко пропикнутъ тъмъ горячимъ и вмъстъ неопредъленнымъ религіознымъ чувствомъ, проповъдникомъ котораго былъ Руссо. Это чувство, этотъ религіозный аффектъ былъ направленъ у него на природу въ ея цъльности и сливается съ пантеистическими тенденціями, которыя раздълялъ самъ Гёте. Но пантеизмъ Вертера имъетъ свою исторію, свое развитіе въ романъ. Пантеизмъ — эта религія поэтовъ — сначала его удовлетворяетъ; она плъпяетъ его своей художественной стороной. «Когда вокругъ меня благоухаетъ долина, когда солнце покоится надъ непроницаемой мглой лъса и лишь ръдкіе лучи его проникаютъ въ таинственную чащу, а я лежу въ травъ у журчащаго ручья и оглядываю разнообразную растительность,

меня окружающую; когда вокругъ меня коношится цёлый міръ безчисленныхъ твореній и я чувствую присутствіе Всемогущаго, создавшаго насъ по своему подобію, чувствую дыханіе его любви, которая въ въчномъ блаженствъ паритъ надъ нами и охраняетъ насъ; — другъ мой, тогда у меня темнъютъ взоры, и окружающій меня міръ и все небо отражается въ моей душъ, какъ образъ возлюбленной, и я чувствую стремленіе вдохнуть въ полотно то, что я ощущаю съ такой полнотой, сдълать изъ него зеркало души, подобно тому, какъ моя душа зеркало безконечнаго божества (10 мая)». Въ нисьмъ отъ 18 августа мы встръчаемся уже съ другимъ отношеніемъ къ этой божественной природъ. То созерцание природы, которое сначала доставляло Вертеру блаженство, которое раскрывало ему «внутреннюю священную ея жизнь», влечеть теперь за собой противоположныя ощущенія. Поэтическая пантеистическая концепція приводить его постепенно къ сознанію неизмінности, вічности, единства общихъ міровыхъ законовъ и къ сознанію постояннаго видоизмѣненія формъ бытія. Вообще пантеистическое міросозерцаніе отличается своей цельностью и стройностью, такъ что, если откинуть его художественныя формы и антропоморфизмъ, оно можетъ привести къ строгому научному взгляду на міръ. Вертеръ испугался своих в заключеній, которыя, заставляя его разстаться съ прежними идеалами, наводятъ на него уныніе и вибств съ темъ навязываются ему своей логичностью. Вотъ что пишеть опъ въ нисьмъ отъ 18 августа, вспоминая о своихъ прежнихъ отношеніяхъ къ природъ и сопоставляя съ ними выработавшіяся въ немъ новыя понятія: «Передо мною какъ бы упала завъса, и картина безконечной жизни превращается въ бездну въчно зіяющей смерти. Можно ли сказать: это живет, когда все измъняется, когда все катится съ быстротою вихря, уносится потоками, исчезаетъ въ волнахъ или разбивается о скалы. Всякое мгновеніе подтачиваеть тебя самого и другихъ, во всякое мгновеніе ты являешься разрушителемъ, ты долженъ быть этимъ разрушителемъ: самая невинная прогулка приноситъ смерть тысячи пасъкомымъ, одно движение ноги разоряетъ тщательныя постройки муравьевъ и превращаеть цёлый маленькій міръ въ жалкую могилу. Меня не трогають великія чрезвычайныя міровыя бъдствія, — эти наводненія, которыя смывають села, эти землетрясенія, которыя поглощають города; но сердце мое уязвляется самой силой разрушенія, которая присуща всей природъ; она ничего не можетъ создать, не разрушая.

И вотъ и метаюсь, исполненный тревоги. И небо, и земля, и всёдвижущія силы сливаются для меня въ одно въчно пожирающее чудовище»... Такимъ образомъ для Вертера было недоступно спокойное, трезвое отпошеніе къ неизмѣннымъ законамъ природы и къ ихъ необходимому теченію; опъ не могъ покинуть свои старыя идеальныя представленія о телеологии, о предусмотрънной пълесообразности міра и въ то же время не могь уснокоиться на этихъ старыхъ идеалахъ. Чемъ дальше въ романъ, темъ болбе развиваются его сомибнія, а вмёсте съ ними растуть и колебанія, и нервшительность. Незадолго до самоубійства Вертеръ пишетъ между прочимъ Вильгельму: «Я почитаю религію, — ты это знаешь — я чувствую, что она даеть опору многимъ изнеможеннымъ. подаеть облегчение многимъ томящимся. Но можеть ли она, должна ли она подавать это каждому? > ... и въ томъ же письмѣ онъ съ искренней горестью повторяетъ слова писанія: «Боже, Боже, почто ты меня оставиль? > — Въ самый вечеръ передъ самоубійствомъ Вертеръ пишетъ въ записочкъ къ своимъ домашнимъ: «Прощайте, мы увидимся снова, и въ радости».

Итакъ вы видите, какъ измѣнчивъ, какъ нетвердъ, какъ непослѣдователенъ былъ Вертеръ въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Его религіозный колебанія—одна изъ главныхъ причинъ его душевной болѣзни, общей болѣзни молодежи того времени, и Льюисъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что она обусловливается недостаткомъ вѣры и, прибавимъ мы, недостаточно понятымъ значеніемъ науки. Если-бъ Вертеръ былъ спокойнымъ, прозаическимъ бюргеромъ, не обладалъ бы ни тревожнымъ мышленіемъ, ни развитымъ воображеніемъ, то онъ успокоился бы на сдѣлкѣ, на компромиссѣ: но этому противилась его подвижная, пылкая натура, на компромиссѣ онъ успокоиться не могъ и точно также не могъ выбрать одно изъ двухъ противоположныхъ началъ міровоззрѣнія. Онъ палъ жертвою своихъ колебаній.

Обратимся теперь къ письму Вертера отъ 12 августа, которое очень нажно для характера его міросозерцанія. Въ немъ противополагается Вертеру Альберть — типъ нъмецкаго спокойнаго бюргера, обладающаго навъстной долей здраваго смысла, но неспособнаго ни на широкія обобщенія, ни на ръзкія оригинальныя мнѣнія. У Вертера завязывается съ Альбертомъ разговоръ о самоубійствъ.

«Я не могу себъ нредставить», говорить Альберть, «какъ можетъ быть человъкъ настолько безразсуденъ, чтобъ застрълиться; уже одна

чысль объ этомъ возбуждаетъ во мит отвращение». «И какъ это люди скоры на свои сужденія!» восклицаеть Вертерь. «Это безразсудно, тоумно, это хорошо, то-дурно. А какой смыслъ въ этихъ сентенціяхь? Разследовали вы все внутреннія соотношенія поступка? Можете вы съ достовърностью развить его причины? Если-бъ вы въ самомъ дълъ это сдълали, вы были бы осмотрительнъе въ ванихъ сужденіяхъ». Альбертъ говоритъ на это, что извъстные поступки сами по себъ порочны, изъ какихъ бы побужденій они ни вытекали; возвращаясь къ самоубійству, онъ называетъ его слабостью, такъ какъ гораздо легче умереть, говоритъ онъ, чемъ мужественно переносить жизнь, исполненную мученій. «Человъческая природа», говорить ему Вертеръ, «имъстъ свои предълы: она можетъ переносить радости, печали, мученія, только до извъстной опредъленной степени, и гибнетъ, когда они переходятъ эту границу. Поэтому, здёсь не въ томъ вопросъ, слабъ или силенъ кто-нибудь, но можетъ ли онъ вынести свою долю бъдствій, будь они нравственныя или физическія; и меня удиваяеть столько же то, когда обзывають самоубійцу малодушнымъ, сколько удивило бы, если-бъ кто-либо назвалъ трусомъ умирающаго въ злой горячкъ. Вертеръ приводитъ разсказъ, поясняющій его теорію, и заключаеть этоть разсказь следующими словами: «Развъ это не своего рода болъзнь? Природа не находить выхода изъ лабиринта спутанныхъ и противоръчащихъ силъ, и человъкъ долженъ погибнуть». Альбертъ настаиваеть на своемъ и, намекая на примъръ, приведенный Вертеромъ, говоритъ, что со стороны простоватой дъвочки такой поступокъ (самоубійство) еще не представляется особенно страннымъ, но что онъ не можетъ понять, какъ могутъ оправдывать въ такомъ актъ человъка разсудительнаго. «Другъ мой», говоритъ Вертеръ, «человъкъ всегда остается человъкомъ, и ему немного помогаеть его капля разсудка, когда бушуетъ страсть и когда ему тъсно въ своихъ предълахъ».

Очевидно, что въ этомъ споръ спутаны два вопроса: одинъ — можно ли винить самоубійцу, вмѣнить ему въ преступленіе его поступокъ, п другой — разумно ли вообще самоубійство. Передъ судомъ здраваго смысла самоубійство является безразсудствомъ, и въ этомъ отношенін Альбертъ конечно правъ. Но взглядъ Вертера важенъ для насъ въ другомъ отношеніи: онъ смотритъ на каждый человъческій поступокъ, какъ на результатъ множества естественныхъ силъ, и всякій поступокъ, по его мнѣнію, опредѣляется той силой, тѣмъ мотивомъ, который получаетъ

преобладание надъ прочими. Для него извъстное преступление не есть фактъ, отръщенный отъ его сопровождающихъ условій и порождающихъ причинъ, не есть абсолютное зло, подводимое подъ опредъленную статью уголовнаго кодекса; онъ не ограничивается съ плеча обзывать такой то актъ злымъ, а другой благимъ. Вертеръ разсматриваетъ каждое дъяніе въ его зарожденіи, развитіи, въ его связи съ обстановкой, въ его исторіи; опъ хочетъ, чтобъ на преступление смотръли, какъ на болъзнь, чтобъ вскрывали мотивы этой бользни, чтобъ искали средства къ ея облегченію. Безусловное осужденіе преступника противоржчить и его догикт, и его туманному чувству. На этихъ страницахъ Вертера мы сталкиваемси съ гуманнымъ направленіемъ XVIII въка. Тъ философскія и этическія положенія, которыя высказаль Вертерь вь приведенномь письмь, теперь вошли въ науку и прилагаются къ практическимъ отношеніямъ. Вмёсть сь тёмъ это инсьмо даетъ намъ образчикъ тёхъ свётлыхъ ваглядовъ, которыми обладаетъ Вертеръ относительно накоторыхъ вопросовъ теоріи и жизни. Но къ сожалънію у него не хватаетъ энергіи, онъ слишкомъ нервный и больной человъкъ, чтобы двигаться неуклонно въ строгореальномъ направлении. Какъ въ лихорадкъ мечется онъ въ своихъ колебаніяхъ и не находить желаннаго успокоенія.

Впрочемъ, изъ первых писемъ мы видимъ, что ему случается нравственно отдыхать, что утихаеть его душевная тревога при созерцаніи простаго народнаго патріархальнаго быта. Гомеръ служить ему убаювивающей колыбельной пъсней, и его «запуганное» сердце отдыхаетъ среди очаровательныхъ окрестностей городка, въ которомъ онъ поселился. Онъ отыскиваетъ особенно живописные уголки и тамъ весь погружается въ «чувство спокойнаго бытія», знакомится съ крестьянами и рабочими и восхищается ихъ наивностью. «Другъ мой, когда мив особенно тяжко на душъ, мои волненія успокаиваются при взглядъ на созданіе, которое въ счастливомъ поков совершаетъ кругъ своего бытія; оно живетъ изо дня въ день, видить, какъ падають осенью листья, и при этомъ думаеть только, что вотъ скоро придеть зима». Дъти пользуются особеннымъ расположениемъ Вертера; въ нихъ, какъ и въ крестьяцахъ, онъ видитъ простую неиспорченную природу, въ которой все «такъ нетронуто, такъ цъльно». — Но въ послъднее время жизни, когда настроеніе его становится все болже и болже мрачнымъ, онъ перестаетъ въ чемъ бы то ни было находить утъшение. Встръча съ сумасшедшимъ наводить его на мысли, въ которыхъ выражается полное его отчаяніе: «Боже правый», пишеть

Вертеръ, «неужели ты предназначилъ людямъ, что они счастливы могутъ быть только до того, какъ придутъ въ разумъ или когда его потеряютъ»! Здъсь самъ Вертеръ довольно ясно намекаетъ на источникъ своихъ страданій: тревога мысли нарушила всю гармонію его міровоззрѣнія; эту гармонію, это невозмутимое спокойствіе взгляда онъ находитъ въ домияхъ и людяхъ перазвитыхъ. Онъ не зналъ, что есть другая гармонія и другаго рода спокойствіе духа, которое дается ясною трезвою мыслью и простымъ реальнымъ міровоззрѣніемъ.

Какъ бы то ни было, такія тревожныя, безпокойныя и слабопервныя натуры, какъ Вертеръ, могли бы заглушить свои страданія, могли бы забыть свои колебанія, но для этого имъ необходимы сильныя вибшнія средства, которыя дали бы нищу другимъ присущимъ въ нихъ силамъ, дали бы по крайней мѣрѣ содержаніе другимъ стремленіямъ ихъ организма и этимъ самымъ отвлекли бы ихъ отъ безпрерывной мучительной работы мысли и фантазіп. Такихъ средствъ можетъ быть два: одно—практическая общественная дѣятельность, другое—сильная личная привязанность нли любовь. Въ слѣдующій разъ мы разсмотримъ отношенія Вертера къ публичной дѣятельности и къ Шарлоттѣ и увидимъ, какъ тѣ самыя средства, которыя при другихъ условіяхъ могли бы отрезвить и освѣжить его, поднять силы его духа, какъ эти самыя средства, въ условіяхъ данныхъ романомъ, усилили его разочарованіе и ускорили его гибель.

ЛЕКЦІЯ СЕДЬМАЯ.

Вертеръ. (Продолжение).

Служебная двятельность Вертера.—Его отношенія къ Лоттв. — Ваглядъ на Вертера Наполеона и М^{те} de Stael.—Принципы Вертера и отношеніе ихъ къ Байрону.—Вопросъ о морали романа. — Лессингъ и Вертеръ. — Пародія Николаи.—Мивніе Мерка.—Ортисъ Уго Фосколо.

Продолжая разсмотръніе романа Гёте, я обращаюсь сегодня къ практической дъятельности его героя, къ его службъ, изображеніемъ которой открывается вторая часть «Страданій молодаго Вертера». Онъ занимаетъ незначительное мъсто при посольствъ. Сначала Вертера развле-

каетъ новизна дъла и положенія. «Понемногу я начинаю привыкать къ здъшней жизни. Лучше всего то, что у меня много дъла; притомъ эти разнородныя личности, эти новыя физіономіи представляють мит довольно разнообразное зрълище». Но не прошло еще мъсяца, какть Вертеру опротивъла эта обстановка. Посланникъ, при которомъ онъ состоитъ въ качествъ секретаря, досаждаетъ ему своимъ канцелярскимъ формализмомъ; съ отвращениемъ смотрить Вертеръ на господствующее въ окружающей его сферъ чинопочитаніе, на чиновничьи происки и сословные предразсудки. Этого и следовало ожидать. Человеку, воснитанному на принципахъ церіода бурь и стремленій, трудно было ужиться въ административныхъ кружкахъ Германіи прошлаго въка; онъ не могъ удовлетвориться скучной непроизводительной работой въ канцеляріяхъ. онъ долженъ былъ усмотръть всю несостоятельность бюрократическаго механизма, всю непригодность сложнаго, замысловатаго, проникнутаго тупымъ нъмецкимъ педантизмомъ дълопроизводства ХУІІ въка. Съ каждымъ днемъ растетъ его отвращеніе къ служебной діятельности. Подвернулся случай, который поставиль Вертера въ полный разръзъ съ мъстнымъ обществомъ, случай, въ которомъ особенно ръзко обозначились для него кастическіе предразсудки этого общества. Вертеръ подаетъ въ отставку, пъсколько времени скитается безъ опредъленной 🦳 цёли, подумываетъ отправиться на войну, и..... возвращается къ Лоттъ.

Проследимъ вкратие исторію отношеній Вертера къ Лотте. «Столько простоты при такой разсудительности, столько доброты и вмъстъ твердости! какое спокойствіе души, соединенное съ живостью и деятельпостью», — такъ передаетъ Вертеръ другу первое впечатавніе, произведенное на него Лоттой. Онъ находить въ ней то, въ чемъ самъ ощущаль чувствительный недостатокъ — спокойствіе души. Жизнь для Лотты — «источникъ невыразимыхъ радостей». Заботы по хозяйству, бесъды въ непринужденномъ кружкъ знакомыхъ средней руки, подчасъ чтеніе чувствительнаго англійскаго романа или мечты цадъ редигіозными одами Клопштока, — вотъ все содержаніе ея несложнаго образа жизни. Лотта — извъстный типъ сентиментальной идиллической нъмки: бъдной критической мыслью, и въ которой уже довольно ясно замъчаются зародыни будущей tüchtige Hausfrau. Въ первый разъ Вертеръ увидалъ Шарлотту, окруженную дётьми въ мирной назатейливой обстановкъ бюргерскаго быта; она для него явилась какъ бы воплощеніемъ той безъискусственности, пеиспорченности и простоты, которую

онъ, поклонникъ Руссо, искалъ и въ жизни, и въ литературъ. Къ ней обращаются порывы его разстроеннаго духа. — Но Лотта принадлежитъ Альберту, который въ первой части романа является ея женихомъ, во второй — ея мужемъ. Вертеръ пытается сначала заглушить любовь и успокоить вообще тревожное состояне свое поступленемъ на службу. Мы видъли, чъмъ кончилась его служебная дъятельность. Когда Вертеръ послъ этого возвращается къ Лоттъ, — въ немъ уже окончательно совершился полный разрывъ съ дъйствительностью. Несчастная страсть къ Лоттъ только ускориваетъ его погибель.

«Вет испытанныя имъ въ практической жизни непріятности», пишетъ авторъ, «досады при посольствъ, все, что ему не удавалось, что его огорчало, вспомнилось ему и скопилось въ его душъ. Онъ видълъ себя какъ бы обреченнымъ на бездъятельность, лишеннымъ всякой надежды, неспособнымъ взяться за какое-либо дёло; и такимъ образомъ подвигался онъ все ближе и ближе къ печальному концу, всецъло отдавшись своимъ страннымъ ощущеніямъ, мыслямъ и безконечной страсти, проводя время въ однообразномъ и печальномъ обращении съ возлюбленнымъ существомъ, нарушая его покой и безъ всякой цёли истощая свои собственныя силы». Этотъ печальный конецъ наступилъ послѣ сумрачнаго фантастическаго вечера, проведеннаго Вертеромъ съ Лоттой за чтеніемъ Оссіана; бурныя сентиментальныя изсни Макферсона заставили страсть Вертера дико прорваться наружу. На другой день ночью онъ застрелился. Его похоронили въ стороне отъ могилъ «благочестивыхъ христіанъ». Тъло Вертера, которое несли ремесленники, не сопровождаль никто изъ духовенства: «Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet». Этими многозначительными словами, взятыми изъ письма Кестнера о кончинъ Герузалема, заключаетъ Гёте свой романъ.

2 октября 1808 года въ Эрфуртъ тайный совътникъ фонъ Гёте имълъ честь бесъдовать съ императоромъ Наполеономъ. Зашла ръчь о Вертеръ, котораго императоръ нъсколько разъ читалъ и внимательно изучалъ; французскій переводъ Вертера находился въ его походной библіотекъ во время египетской экспедиціи. Наполеонъ замътилъ Гёте, что онъ находить въ романъ нарушеннымъ единство основнаго мотива; что поэтъ изображаетъ страданія Вертера слъдствіемъ не одной страстной любви, но и его самолюбія, оскорбленнаго неудачами на службъ и въ высшемъ обществъ. «Это неестественно,» сказалъ Наполеонъ, «и осла-

блиеть въ читателъ представление о всемогущемъ вліяніи любви на Вертера. Зачёмъ вы это сдёлали? - Сановникъ-поэтъ съ улыбкой согласился съ мивніемъ императора и скромно заявиль, что поэту простительно прибъгать иногда къ искусственнымъ уловкамъ для достиженія извъстныхъ цълей, къ уловкамъ, которыя не бывають замътны для обыкновенныхъ смертныхъ. Съ мненіемъ Наполеона согласился веймарскій министръ фонъ Гёте, но въроятно другой отвътъ получилъ бы императоръ отъ юноши поэта Вольфганга Гёте. — Наполеонъ отнесся къроману Гёте съ французской точки зрвнія ложноклассика: онъ усмотрвлъ въ немъ недостатокъ внъшияго единства, онъ видълъ, что въ Вертеръ далеко не все сводится на любовь и призналь литературнымъ недостаткомъ то, что было въ сущности отсутствиемъ казенщины, избитой риторики, то, въ чемъ именно заключается для насъ великое историко-литературное значеніе романа. Наполеонъ не понималъ или не хотъль понять революціонныя тенденціи характера Вертера. — Будь соблюдены въ романъ требованія императора, онъ лишился бы и своего яркаго историческаго колорита, и своей художественной прелести. Герой обратился бы въ безжизненное водянистое олицетвореніе страсти, и романъ сравнялся бы со множествомъ современныхъ ему дюжинныхъ произведеній, которыхъ проходить молчаніемь не слишкомь кронотливый историкъ литературы. Въ самомъ дълъ, изъ нашего анализа Вертера мы видъли, что несчастная страсть его къ Шарлоттв имветь для насъ второстеченное значение. Это обстоятельство, которое только завершает внутреннее раздвоеніе Вертера, но никакъ не опредъляет его. Какъ мы видъли, раздвоение это коренится гораздо глубже, во всемъ міровозэрфній, во всей натурф героя. Это-то міровозэрвніе особенно привлекаеть вниманіе историка литературы. Мы знакомимся съ его общими философскими, религіозными, нравственными убъжденіями, съ его отноніеніями къ обществу и публичной дъятельностью. Передъ нами является вылитый Stürmer и Dränдет, живой представитель свосто времени и, что бы на товория. Наполеонъ, исполнение романа пронивнуто глубовимъ единствомъ. Всѣ отдальные поступки, всв мысли и опущения Вертера, его отношения къ природь, къ обществу и пъ-Логть, -- всь стороны его бытія такъ тесно..... и естественно связаны между собой, что онь выступають въ общемъ изображении его линисоти. папъ члены одного и того же организма. какъ необходимыя части одного художественнаго приаго... Мы находимъ въ романь Гёте глубокое единство и иплыность характера.

Иначе высказалась о Вертеръ около того-же времени даровитая французская писательница M^{me} de Staël. «Гёте», говорить она въ своемъ сочиненіи De l'Allemagne, «далъ намъ картину не только страданій любви, но и болпэней воображенія нашего впка (les maladies de l'imagination de notre siècle); этотъ міръ пдей, остающихся безъ перехода въ акты воли, противоръчіе между нашимъ внъшнимъ образомъ жизни, гораздо болве монотоннымъ, чвмъ у древнихъ, и бурнымъ внутреннимъ броженіемъ-причиняетъ какое-то головокруженіе: точно стоишь на краю пропасти, куда тебя тянетъ уже отъ одного созерцанія бездны». Какъ видите, несмотря на цвътистость фразъ, въ нихъ высказанъ историческій взглядь на значеніе Вертера. Мте de Staël схватила сущность поэтической личности Вертера и бойко опредълила ея отношение къ дъйствительности. Упомящувъ о любовныхъ страданіяхъ Гётева героя, она проникла глубже: въ типическомъ образъ Вертера Сталь различаетъ историческій черты представителей новаго времени и противопоставляетъ имъ жизнь міра античнаго. Въ другомъ своемъ сочиненіи De la littérature она указываеть на смѣшеніе въ Вертеръ скорби и размышленія, наблюденій и безумныхъ восторговъ. какъ на черты, отвъчающія національному германскому характеру. «Только Руссо и Гёте», пишеть она, «съумъли изобразить рефлектирующую страсть, страсть субъекта, который ее обсуждаеть и не можетъ побълить».

Если вернуться теперь къ Гёцу и сблизить его съ разсмотрѣннымъ нами Вертеромъ, то мы замѣтимъ, что тѣ самыя идеи, которыя въ Гёцѣ были только затронуты, получили въ Вертерѣ самое полное выраженіе, самое яркое освѣщеніе. Принципъ индивидуализма, который въ Гёцѣ воплощенъ былъ въ средневѣковыя формы, является въ Вертерѣ въ томъ широкомъ развитіи, которое давало ему XVIII столѣтіе. Гёцъ борется противъ общественныхъ отношеній, но самъ склоняется передъ преданіями старины, признаетъ средневѣковую феодальную мораль, свято соблюдаетъ рыцарскіе уставы. Вертеръ не ограничивается протестомъ противъ общественныхъ формъ, противъ догматизма государства, церкви и литературы, противъ постановленій общепризнанной морали. Погруженный въ тревожную внутреннюю работу, мучимый болѣзненнымъ раздраженіемъ, онъ все дальше, все глубже проникаетъ съ свониъ разрушительнымъ анализомъ въ чуждую его старымъ идеаламъ

область мірововарівнія, и наконець теряеть почву подъ ногами; онъ съ испугомъ замъчаетъ, что нътъ возврата, что сожжены корабли... Потрясены его последнія верованія, его заветныя думы и грезы обращаются въ мыльные пузыри, и весь міръ возстаетъ передъ нимъ въ образъ какого то зловъщаго «въчно-зіяющаго чудовища». Анализь изрыль, исполосоваль его прежнія упованія, не оставиль на місті ничего не тронутымъ; а съ другой стороны сама натура Вертера не могла примириться съ жизнью, несоотвътствующею его идеаламъ, не имъла настолько силы и умственной зрълости, чтобъ доработаться до положительного міровоззрівнія. Въ результать полубныя мучительныя колебанія. Принципы индивидуализма и отрицанія въ Вертеръ принимають уже формы, роднящія это произведеніе съ поэмами Байрона. Я укажу на одно мъсто, поразительно напоминающее намъ тирады великаго англійскаго поэта. Вотъ что между прочимъ пишеть Вертеръ къ Лоттъ, уже ръшившись на самоубійство: «Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus seinen Armen in die meinigen reissen möchte? Sunde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt, *). Это — байроновская апотеоза мичной страсти съ той разницей, что герои Байрона удовлетворяють свои самыя необузданныя стремленія, уже не думая себя наказывать, какъ говорить здёсь Вертеръ; они-не каются во гръхахъ **).

«Страданія молодаго Вертера» вызвали цілую литературу рецензій. подражаній, комментарієвь, романовь, переводовь. Стали интересоваться тіми дійствительными происшествіями, которыя легли въ основу Вертера: Лотту романа отождествляли съ Шарлоттой Кестнерь. а Вертера то съ Гёте, то съ Іерузалемомъ. Могилу Іерузалема въ Ветцларів еще въ семидесятыхъ годахъ стали посінцать сентименталь-

^{*)} Такъ то гръщно для этого міра, да для этого міра, что я люблю тебя, что я хочу вырвать тебя изъ его объятій и заключить въ свои? Гръщно? Такъ, я и казиюсь за то; я вкусиль его, этого гръха, во всей его небесной прелести; напоиль сердце свое живненнымъ бальвамомъ и силой.

^{**)} См. Appell. Werther u. seine Zeit, passim (для характеристики «генієвъ»).

ные пилигримы. Между дикими теніями сдёлался обязателень костюмъ Вертера — голубой фракъ, о которомъ упоминается въ романъ. Можно указать на нъсколько случаевъ самоубійства чувствительныхъ юношей и дъвъ, у которыхъ въ карманахъ находили романъ Гете. Пожалуй можно согласиться съ M^{me} de Staël, что Вертеръ причинилъ болѣе самоубійствъ, чёмъ прекрасивйшая женщина въ мірв. Но если принять во внимание то обилие новыхъ взглядовъ и то свободное отношение къ извъстнымъ вопросамъ теоретическимъ и бытовымъ, которые внесъ Вертеръ въ нъмецкую литературу того времени, то легко позабыть отдёльные печальные случаи, порожденные чтеніемъ этой книги. Исгорикъ дорожить не частными фактами, а обобщеніями. Подобно Новой Элоизъ и Вертеръ способствовалъ распространению крайняю сентиментализма, — это была его непривленательная сторона, последствія которой иногда заставляли Гёте раскаяваться въ томъ, что онъ написаль Вептера. Но это вийсти съ тимъ было необходимое условіе, необходимая форма, которую принимали новыя зарождавшіяся кригическія иден, проникая въ общество. Повальная сентиментальность и такъ сказать эпидемическая міровая скорбь конца XVIII и начала XIX въка были необходимыми ступенями, по которымъ должно было перейти человъчество къ новымъ понятіямъ, въ новый періодъ тисторіи умственнаго развитія.

Очень многіе критики, представители изв'єстных общественных в взглядовъ, отнеслись довольно странно къ новому произведению Гёте. Они приняли его за апологію, за защиту самоубійства, и протестантская пресса даже съ ожесточениемъ напала на Вертера, какъ на безнравственную книгу, которая описываеть «какъ геройскій поступокъ постыдное самоубійство мальчишки». Авторомъ нападокъ противъ Вертера съ этой ортодоксальной точки эрвнія быль извістный гамбургскій пасторъ Гёце, который въ своихъ полемическихъ статьяхъ вздыхаеть о всеобщей распущенности нравовь и призываеть на помощь противъ такихъ заовредныхъ сочиненій, какъ Вертеръ, «дражайшее начальство» (die theuere Obrigkeit) и полицію. — Впрочемъ мысль, что Гёте оправдываеть въ своемъ романъ самоубійство, закрадывалась въ голову даже такимъ личностямъ, которыя не раздёляли реакціонныхъ взглядовъ Гёце. На нее наводило ихъ то сочувствіе, съ которымъ вообще относится Гёте къ своему герою. Я уже говорилъ о томъ, какъ близка, какъ сродна была личность Вертера личности

самого поэта; въ Вертера упряталъ Гёте часть самого себя, выстраданныя муки и пережитыя колебанія свои. Самому Гёте приходила иногда въ то время мысль о самоубійствъ, самъ онъ мучился разочарованіемъ. Для него ясны были мотивы подобнаго настроенія, и онъ не могь его безусловно осуждать. Но оправданія, апологіи, возвеличенія самоубійства, мы все-таки не находимъ въ романъ, который дышеть только сожальніемь, собользнованіемь герою. «Когда въ человъкъ поселяется отвращение къ жизни», пишетъ Гете къ Цельтеру въ 1812 году, «то его можно только сожалъть, а не бранить. Что и самъ пережилъ всъ симптомы этой удивительной, настолько же естественной, сколько и неестественной бользии, - это всякому видно изъ Вертера. Я знаю очень хорошо, какой ръшительности и какихъ усилій мит стоило тогда, чтобъ избъжать смерти, подобно тому, какъ и впоследствіи мне случалось съ большими трудностями спасаться отъ крушеній и примиряться съ жизнью». Все дёло въ томъ, что фактъ самоубійства въ «Страданіяхъ молодаго Вертера» изображено съ поразительной живостью и естественностью, передъ нами вскрыты всё внутренніе и вившніе его мотивы; поэтъ представиль намъ мастерской психологическій анализь явленія во всей его полноть и цельности.... Скажемъ ему за это спасибо.

Интересно отношение Лессинга къ Вертеру. Лессингъ быль близко знакомъ съ тъмъ Герузалемомъ, печальный конецъ котораго далъ вторую тему для романа Гёте, и въ 1776 году издалъ посмертныя сочиненія этого интереснаго юноши. Это-собраніе философскихъ статей, изъ которыхъ одна носитъ заглавіе «о свободів», другая — «о томъ, что нельзя приписать чуду происхождение языка», въ третьей говорится объ общихъ и отвлеченныхъ понятіяхъ. Вотъ какіе вопросы занимали живой образецъ Вертера. Лессингъ былъ недоволенъ тъмъ, что выведенная якобы въ романъ Гёте личность Герузалема получила. чо его мивнію, совершенно ложное освъщеніе въ этомъ романь. Къ этому личному неудовольствію присоединилось другое, болье общаго свойства. Въ письмъ своемъ къ Эшенбургу Лессингъ цънитъ достоинства поэтическаго созданія Гёте, но при этомъ прибавляеть: «Не можетъ ли это произведение принести болъе вреда, чъмъ пользы? Не думаете ли вы, что къ роману следовало бы присоединить охлаждающее заключение?» Лессингъ боится, какъ бы увлечение поэтическою прелестью характера не повело къ увлеченію его нравственною

несостоятельностью. «Думаете ди вы, что греческій или римскій юноша лишиль бы себя жизни при такихъ условіяхъ? — Конечно нътъ. Древніе умъли уберегать себя отъ безумныхъ восторговъ любви, и во времена Сократа подобную слабость едва ли извинили бы даже молодой дъвушкъ.... А потому, любезный Гёте, еще одну небольшук главу въ заключение, и чёмъ циничнее, темъ лучше». Такимъ образомъ, по мивнію Лессинга, въ романв Гёте недоставало заключитель ной насмъшки, которая должна была бы отрезвить чувствительнат читателя и выставить Вертера сентиментальнымъ дуракомъ. - Я уже говорилъ, какъ антицатична была самой натуръ Лессинга всякая слезливость и восторженная чувствительность, модная въ семидесятыхъ годахъ прошлаго въка. Лессингу прежде всего бросился въ глаза сентиментализмъ Вертера, который прикрылъ для него серьезныя тенденціи героя, тъ критическія отрицательныя стороны міровозэрьнія Вертера, которыя разделяль самь Лессингь и которыя при другихъ условіяхъ въ другихъ формахъ вызвали бы несомнѣнно его полное сочувствіе (стоить только напомнить пантеизмъ Вертера, его отношеніе въ догмативъ, въ свободъ воли, т. е. бесъду съ Альбертомъ и пр.). Благодаря своей исключительной въ высшей степени критической натуръ, благодаря своему сильному уму и неустрашимой логикъ, самъ Лессингъ вышелъ побъдителемъ изъ своихъ сомнъній и колебаній и ръшительно и окончательно перешель на сторону мысли и знанія. Но такого рода исходъ давался въ то время лишь немногимъ. За Лессингомъ не могла угнаться свободномыслящая молодежь того времени; большинство ея не обладало ни его последовательнымъ мышленіемъ, ни его энергіей; она была гораздо ближе въ Вертеру, и для того, чтобы усвоить новое міровоззрініе, ей нужно было еще долго блуждать, мучаться, ей нужно было перебродиться. Если-бъ Гёте действительно завершиль свой романь насмёшливымь заключеніемъ, если-бъ онъ написалъ дополнительную циническую главу и осмъяль бы въ ней элополучную кончину своего героя, то этимъ самымъ онъ предаль бы поруганію весь характеръ, все міровозараніе, всъ стремленія Вертера и осудиль бы вмъстъ съ его причудливыми сентиментальными заблужденіями и его благородные порывы, борьбу съ отжившими представленіями, попытки освободиться отъ гнета старины и преданій, все то, что является для насъ въ этомъ романъ признакомъ новаго времени, въяніемъ новаго періода. Онъ осудиль

бы все молодое поколъніе прошлаго въка, а вмъстъ съ нимъ и весь цвътъ, всъ силы новой зарождающейся цивилизаціи.

Изъ богатой литературы рецензій Вертера и подражаній этому роману я укажу на брошюру извъстнаго берлинскаго журналиста Николаи, которая надълала въ то время довольно много шума и вызвала ръзкіе отвъты со стороны приверженцевъ Гёте и Вертера, т. е. со стороны передовой молодежи семидесятых годовъ. Николан-публицистъ, не отличавшійся дарованіями, но имъющій извъстное значеніе въ нъмецкой литературной исторіи вслъдствіе своей журнальной дъятельности, недружелюбно относился къ молодому покольнію дикихъ геніевъ и написаль на романь Гёте народію подъ заглавіемъ «Радости молодаго Вертера». Въ этой пародіи есть въ сущности нісколько очень дёльныхъ замічаній о тёхъ крайностяхъ, въ которыя вдавался въ 70-хъ годахъ культъ лица и геніальности, но вся она пересынана самыми потертыми бюргерскими сентенціями, избитыми моральными изреченіями, и проникнута тъмъ филистерскимъ тономъ самодовольства, который обыкновенно сопровождаеть всякую пропаганду «золотой посредственности». Въ брошюръ Николаи — Альбертъ, посылая Вертеру пистолеты, заряжаеть ихъ пузырями, наполненными пътупьей кровью (это, мм. гг., образчикъ бердинскаго и вообще нъмецкаго остроумія; Николаи быль въ восторгь отъ своего «витца»). Вертеръ прикладываетъ пистолетъ ко лбу, спускаетъ курокъ, падаетъ какъ следуетъ на полъ и къ удивлению видитъ, что онъ только выпачкался въ крови. Альбертъ уступаетъ Вертеру Лотту, и влюбленные вступають въ бракъ. Затемъ следуеть разсказъ о супружеской жизни Вертера и Лотты. Онъ оканчивается тъмъ, какъ наученные опытомъ и разсудительностью Вертеръ и Лотта живутъ въ поков и довольствъ, отлично ведутъ хозяйство, копять денежки, имъютъ восемь человькъ дътей; находять ли они въ этомъ бюргерскомъ парадизъ время для мысли и общих интересово, --объ этомъ Николан не распространяется.

Бурные геніи въ лицѣ извѣстнаго намъ Леопольда Вагнера выпустили противъ хулителей Вертера стихотворную шутку подъ заглавіемъ «Прометей, Девкаліонъ и рецензенты». Прометей—Гёте посылаеть въ міръ сына своего Девкаліона—Вертера, и на сцену являются рецензенты, въ томъ числѣ Николаи въ образѣ орангъ-утанга. Эта шутка выдержала въ теченіе одного 1775 года до десятка изданій

въ разныхъ городахъ Германіи. За Вертера вступились и товарищи Гёте по Страсбургу и Франкфурту. Особенно ядовито отнесся къ противникамъ романа Ленцъ, въ натуръ котораго было очень много родственнаго Вертеру. Но интереснъе и смышленъе всего для насъ представляется рецензія Мерка, этого друга-Мефистофеля Гёте. Воть что между прочимъ пишетъ Меркъ: «въ произведеніи много мъстныхъ п индивидуальныхъ впечатлёній, но живое отношеніе автора къ окружающей дійствительности сообщаеть всему неподражаемую прелесть. Пусть послужить это примъромъ для всъхъ художниковъ и поученіемъ, что изображать и воспроизводить можно только то, что обосновывается на действительности, на нашемъ внешнемъ или внутреннемъ опытъ. Тотъ, вто въ обыденныхъ сценахъ домашняго быта не находить эпическаго или драматическаго содержанія и не можеть перенести его на бумагу, не долженъ уноситься въ сумрачную даль идеального міра и увлекаться мелькоющими тінями невіздомых в героевърыцарей, фей и королей. Если у человъка сложился извъстный ваглядъ на вещи, онъ можетъ освътить имъ свои сочиненія, выяснить въ нихъ для насъ свои чувства и сужденія; но если изъ собственнаго запаса опытности онъ ничего самостоятельно не выработаль, то пусть избавить онъ насъ отъ потертыхъ максимъ и общихъ мъстъ».

Вертеръ вызвалъ множество подражаній въ иностранныхъ лите. ратурахъ, во Франціи, Англіи и Италіи. Большинство этихъ подражаній не имбетъ никакого самостоятельнаго литературнаго значенія и только свидътельствуеть о той общей наклонности къ вертеровскимъ мотивамъ, которая господствовала въ Европъ конца прошлаго и начала нынъшняго въка, о томъ, что Вертеръ затронулъ дъйствительно такіе вопросы, такія темы, которыя въ то время были въ высшей степени популярны. Изъ числа этихъ сочиненій, непоередственно связанныхъ съ Вертеромъ (разумъется я не говорю здъсь о тъхъ литературныхъ произведеніяхъ, которыя, будучи однородны съ Вертеромъ по тенденціи, вполнъ самостоятельны по своему происхожденію), я скажу нъсколько словь о «Послъднихъ письмахъ Джакопо Ортиса», написанныхъ извъстнымъ итальянскимъ поэтомъ Уго Фосколо и изданныхъ въ 1802 году. Самъ авторъ признаетъ вліяніе Вертера на свой романъ; онъ говорить, что чтеніе «Страданій молодаго Вертера» привело его къ окончательной обработкъ своего

произведенія. Но «Ортисъ» имфетъ и оригинальное значеніе. Личность «скорбника» окрашивается въ немъ яркимъ итальянскимъ колоритомъ. Герой — молодой венеціанецъ, исполненный республиканскихъ патріотическихъ стремленій, которыя въ Италіи конца XVIII и начала XIX въка начали пріобрътать силу и значеніе и предвъщали ея близкое національное возрожденіе. Печальное положеніе Италіи, которая изъподъ деспотическаго гнета своихъ владыкъ перешла подъ солдатскую диктатуру Бонапарта, ея политическое безсиліе и ничтожество, -- вотъ коренной источникъ отчаянія Ортиса; къ этому присоединяется (какъ н у Вертера) несчастная любовь, которая приводить къ самоубійству нравственно разстроеннаго и разочарованнаго юношу. «Наше отечество принесено въ жертву», пишетъ Ортисъ въ 1797 году, когда французы передали Австріи Венецію. «Все погибло, и если мы останемся въ живыхъ, то только для того, чтобъ оплакивать наши несчастія и позоръ... Отчаявшись и въ отечествъ, и въ самомъ себъ, я спокойно ожидаю тюрьму и смерть. Смерть моя будеть оплакана въ тайнъ немногими добрыми людьми, товарищами нашихъ бъдствій, и кости мои будуть покоиться на земль отцовъ нашихъ... Да и гдъ искать пріюта? въ Италіи? Несчастная земля! въчная добыча побъдителей! Могу ли я смотръть безъ слезъ безсильной злобы на людей, насъ ограбившихъ, осмъявшихъ и предавшихъ? Грабители народовъ алоупотребляють свободой, какъ напы пользовались для своихъ выгодъ крестовыми походами. Увы, часто не имъя надежды отомстить ва себя, я готовъ бы вонзить ножъ въ сердце, чтобъ излить всю мою кровь съ последнимъ вздохомъ отчизны»...

Такимъ образомъ вслъдствіе извъстныхъ мъстныхъ историческихъ условій (чужеземное владычество и память о древнемъ величіи родины), тотъ пессимизмъ, который господствовалъ въ Европъ конца XVIII и начала XIX въка, въ Италіи принимаетъ направленіе по премиуществу патріотическое. Отрицаніе итальянскихъ поэтовъ касается не столько сущности нашего бытія, нашихъ общихъ жизненныхъ задачъ, сколько тъхъ временныхъ историческихъ отношеній, въ которыя поставлено ихъ отечество, которыя давятъ ихъ націю. Мъсто несостоятельнаго общаго пессимизма заступаєтъ частный, имъющій свои основанія въ дъйствительности, а именно бъдствія страны и народа. Къ ръшенію этихъ націопальных вопросовъ обращены всъ стремленія, всъ умствованія передовыхъ дъятелей Италіи, и влопо-

лучная судьба ихъ родины отвлекаетъ ихъ отъ отвлеченнаго критическаго анализа, отъ тревожной теоретической вертеровской работы, которая, правда, истощаетъ цёлыя покольнія, но вмість съ тымъ ведетъ къ болье свытлому будущему, къ полному освобожденію человыческой мысли отъ оковъ преданія, къ разрышенію мучительныхъ минорныхъ диссонансовъ въ спокойные мажорные аккорды новаго положительнаго міровозарынія.

Пока мы оставимъ Вертера и перейдемъ къ другимъ общественнымъ и литературнымъ явленіямъ періода бурь и стремленій. Но неразъ еще придется намъ возвращаться къ этому замъчательному юношескому созданію Гёте, при выясненіи, освъщеніи и оцънкъ послъдующихъ произведеній мысли и творчества новаго времени.

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМАЯ.

Якоби и Лафатеръ.

Мистики XVIII въка. — Аналогія въ эпохъ раздоженія древняго міра. — Якоби. — Его отношенія къ Спиновъ. Лессингъ. — «Алльвияль». — Лафатеръ. — Отношеніе къ нимъ Гёте.

Я уже говориль вамъ, какъ сложны и разнообразны были общественныя и литературныя явленія періода бурныхъ стремленій и какъ различно переработывались въ немъ, какъ оригинально развътвлялись одни и тъже теоретическія начала.

Мы разсмотръли Вертера. Хотя мною и было указано на нъкоторыя непривлекательныя бользненныя черты въ направленіи этого романа,—въ концѣ концовъ онъ является для насъ все-таки выразителемъ критической, прогрессивной стороны общественнаго движенія того времени. Правда, въ Вертерѣ борьба между старыми и новыми представленіями разрѣшается не полною побѣдою новыхъ. Для этого еще не наступило время; эти новыя представленія не настолько сильны, чтобъ окончательно утвердиться. Но мы видѣли, какъ безвозвратно утрачены Вертеромъ старые идеалы, какъ исчезла для него всякая возможность вернуться къ нимъ и на нихъ успокоиться. Не-

смотря на крайнюю сентиментальность, на восторженные порывы Вертера, это одинъ изъ интеллигентныхъ типовъ новаго времени. Онъ—предшественникъ Фауста.

Но для того, чтобъ эпоха бурныхъ стремленій представилась вамъ съ возможно большей живостью и во всемъ разнообразіи своихъ формъ, я долженъ указать на другую ея струю, на другой циклъ ея дѣятелей, также запечатлѣнныхъ типичностью, но повернувшихъ назадъ, превратно понявшихъ вопросы своего времени. Многія изъ этихъ личностей въ нестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ вращались въ кружкахъ дикихъ геніевъ, раздѣляли интересы этихъ кружковъ, но они увлечены были главнымъ образомъ крайностями, односторонностями общественнаго и литературнаго движенія того времени, склонялись къ такимъ вопросамъ и принимались за такія задачи, которыя необходимо должны были отдалить ихъ отъ прежнихъ товарищей и привести ихъ къ мистикъ и обскурантизму.

Я буду говорить о двухъ пріятеляхъ молодаго Гёте, о Фридрихъ Генрихъ Ямон и о Лафатеръ, которые важны для насъ не по однимъ близкимъ отношеніямъ своимъ къ великому поэту, не по одному значенію, которое они имъли для развитія его личности, но и потому, что эти два лица соединяютъ въ себъ черты цълой группы литературныхъ и общественныхъ дъятелей того времени; они являются для насъ представителями мистическаго направленія XVIII въка.

При изучени XVIII стольтія, его разнородныхъ стремленій и тенденцій, невольно приходить въ голову и напрашивается на сравненіе интересная эпоха разложенія древняго міра, эпоха, которая только въ недавнее время сдѣлалась предметомъ серьезныхъ научныхъ изслѣдованій. Изученіе этой эпохи важно не только само по себѣ, не только потому, что оно знакомить насъ съ временемъ, въ которомъ коренятся основы нашей новоевропейской цивилизаціи, но и потому, что она предлагаетъ любопытные и рѣдкіе примѣры и комбинаціи историческихъ факторовъ, потому, что на ней можно слѣдить за самыми оригинальными столкновеніями важныхъ культорно-историческихъ силъ.

Въ міровозгрѣніи этого періода мы замѣчаемъ два явленія, которыя съ перваго взгляда поражаютъ насъ своимъ сходствомъ съ явленіями XVIII столѣтія.

1) Разнообразіе общихъ философскихъ теорій и отсутствіе всякой

стройной системы, всякаго законченнаго міросозерцанія, на которомъ можно было бы успокоиться, опочить. Всъ общія понятія расшатаны-Страшная путаница въ теоретическихъ и практическихъ отношеніяхъ... На каждомъ шагу такъ и бросаются въ глаза самыя непримиримыя прогиворъчія. Старыя миоологическія върованія потеряли кредить, философскія доктрины борятся другь съ другомъ и сами теряются, блуждають въ своихъ заключеніяхъ. Человъкъ ищеть покоя и нигдъ не можеть его найти. Не помогаеть ни стоициамъ, предлагающій ему безучастно смотръть на мірь и пробавляться своей внутренней силой, ни эпикурейство, предписывавшее спокойное наслаждение жизнью среди всеобщаго смятенія понятій и отношеній. Скептики твердять, что никто ничего не можеть познать съ достовърностью, но этимъ разумъется и себя не могуть утъщить. И воть мы замъчаемь въ античномъ обществъ той эпохи нъчто подобное нашей міровой скорби, постоянныя мучительныя колебанія и сомивнія. Наука, строгая положительная наука была еще въ колыбели; для того, чтобъ сдълаться общественной силой, ей нужно было книгопечатание и ведикія открытія и изобрътенія новаго времени. Не въ ней могли искать спасенія люди послъднихъ въковъ древняго міра.

2) Эта тревога. эта скорбь, это утомление ведеть къ умственному изнеможенію и къ нервной экзальтаціи. Перепробовали всякія теоріи, не находили нигдъ желаннаго успокоснія. И воть — параллельно съ самымъ отчаяннымъ спептициямомъ мы замъчаемъ распространеніе мистики, ученія неоплатониковъ, магіи, въры въ волшебство. Человъкъ отчанися въ своихъ разумных силахъ, пришелъ къ убъжденію въ недостаточности знанія, и его привлекають тъ доктрины, которыя отрицають знаніе и учать о непосредственномъ сношеніи и редигіозномъ единеніи съ божествомъ. Въ нервномъ экстазъ, въ восторженныхъ порывахъ разстроенной натуры видять средство приблизиться въ божеству. Въ такомъ состояни — говорять неоплатоники-исчезаеть самосознание и вмъстъ съ нимъ всякая граница между божествомъ и человъкомъ; ихъ учитель Плотинъ свидътельствуетъ, что въ течение своей жизни онъ только четыре раза доходиль до подобнаго состоянія. Вмісті съ тімь развивается ученіе о демонахь, о носредникахъ между божествомъ и человакомъ, и такъ называемая неоплатоническая теорія эманаціи.

Возвращаясь къ ХУІІІ стольтію, мы также находимъ въ немъ

тревожныя колебанія мысли и сильное развитіе скептицизма. Но вамътимъ очень важную разницу: этотъ скептицизмъ XVIII въка опирается не на праздную діалектику, а на научныя данныя; переживши періодъ мучительныхъ колебаній, передовые представители новаго времени, вооруженные новымъ скептицизмомъ, приходятъ не къ отрицанію своихъ умственныхъ силъ, а въ ихъ разумному и необходимому ограничению; оно ведеть къ опредълению и изследованию той области явленій, которыя подлежать оцінкі нашего разума, и заставляеть нась покинуть безполезныя умствованія о такихъ предметахъ, которые лежатъ вит сферы нашего въдънія. Съ этимъ критическимъ направленіемъ скептицизма, которое очистило почву для положительнаго міровозэрвнія, мы познакомимся при изученіи Канта. Затвив-въ параллель къ той мистикъ первыхъ въковъ нашего лътосчисленія, въ XVIII стольтіи мы встрычаемся съ распространеніемъ редигіозной мечтательности и фантастики, которая стоить въ тесной связи съ масонствомъ и католическими тенденціями романтики. Это- та самая почва, на которой выростали извъстные чудодъи прошлаго въка — Каліостро, St. Germain, Гаснеръ, и которая давала возможность развиваться самому безцеремонному шарлатанству.

Такимъ образомъ переходъ юноши бурнаго генія, если онъ только вообще обладалъ натурой восторженной и некритической, къ мистицизму представляется весьма естественнымъ. Изъ тревожной области колебаній и сомнѣній онъ спасается въ сферу непосредственнаго чувства и восторженныхъ порывовъ. Возвратиться къ положительной религіи, къ опредѣленной догмѣ онъ не можетъ: онъ навсегда отрѣшился отъ нея, поскольку онъ былъ бурнымъ геніемъ; догма не говоритъ его чувству, она для него безжизненна и суха. Онъ успокоивается на религіозной фантастикъ, на мистическихъ мечтаніяхъ, на символическихъ образахъ религіи, на культь чувства. Изъ него выходитъ такимъ образомъ философъ чувства (Gefühlsphilosoph), въ которомъ обозначаются зародыши будущихъ романтическихъ теорій, или салонный пророкъ, или членъ масонской ложи.

Послѣ этихъ общихъ предварительныхъ замѣчаній, цѣлью которыхъ было познакомить васъ съ процессомъ развитія мистиковъ въ XVIII столѣтіи, я обращаюсь къ Якоби.

Фридрихъ Генрихъ Якоби былъ шестью годами старше Гёте. Онъ обладалъ до крайности нервной, болъзненной натурой. Въ Женевъ,

гдѣ онъ провелъ годы своей юности, вращаясь между друзьями Руссо, эти сентиментальныя наклонности его природы получили еще большее развитіе. Эмиль Руссо сдѣлался евангеліемъ для Якоби, и ученіе Руссо о глубокомъ, безотчетномъ, непосредственномъ религіозномъ чувствѣ имѣло рѣшающее значеніе для образованія его міровоззрѣнія.

Самъ Якоби оставилъ намъ любопытныя подробности о своемъ психическомъ развитіи. Онъ вскрывають передъ нами эту интересную натуру, которая такъ жадно всасывала принципы мечтательной чувствительности и религіозной мистики. Якоби разсказываеть, какъ однажды на восьмомъ или девятомъ году въ немъ внезапно возникло представление о вычности и о безконечнома, непрерывномъ существованіи. Это представленіе такъ поразило его, что онъ громко закричалъ и упалъ въ обморокъ. Послъ этого онъ нъсколько разъ вызываль ту же мысль, и всякій разь она повергала его въ отчаяніе. Для него было нестернимо представление о впиности, и точно также онъ не могь выпосить перспективы исчезновенія. Эти тревожныя мучительныя грезы возобновились въ немъ, когда онъ уже сдълался юношей. Оть нихъ нельзя было найти спасенія въ разумѣ или наукѣ; трезвое логическое мышленіе не было доступно такому фантастическому, больному субъекту. Онъ знакомится съ различными философскими системами и видитъ, что если относиться къ этимъ верховнымъ вопросамъ исключительно съ точки эрвнія логики, то единственнымъ состоятельнымъ ученіемъ можеть быть система Спинозы, которая объясняетъ весь міръ изъ него самого, въ отръщенім отъ сверхъ-чувственныхъ понятій. Но такого рода объясненіе не только не можеть его удовлетворить, но и возбуждает в нему ужасу. И воть своей главной жизненной задачей онъ ставить доказательство следующихъ положеній. Путемъ размышленія мы никогда не можемъ выйти за предълы конечнаго, никогда не можемъ дойти до понятій о богъ и о свободъ. Якоби пускаеть въ ходъ все свое красноръчіе, чтобъ изобразить ужасъ и тренетъ, въ который повергають его эти результаты философіи. Для того, чтобъ избавиться отъ этихъ мукъ, нужно, по его мивнію, перейти изъ сферы отвлеченной мысли въ сверхъ-чувственную область вёры, отъ логики къ чувству. Но при этомъ Якоби никакъ не является защитникомъ положительной религи; онъврагъ всякаго догматизма, на это онъ-бурный геній; онъ проповъдуеть религію сердца, религіозную чувствительность и мистическое

одущевленіе. Въ этомъ безотчетномъ чувствѣ, въ этомъ мечтательномъ экстазѣ Якоби искалъ прибѣжища отъ своихъ сомиѣній.

Лѣтомъ 1774 года Гёте сблизился съ Якоби, который познакомилъ молодаго поэта съ философіей Спинозы. Но изученіе великаго мыслителя произвело на Гёте совершенно другое дѣйствіе. Ученіе Спинозы объ единство всей природы, о необходимости всѣхъ явленій міра, объ ихъ строгой взаимной связи и о всеобщемъ господствѣ закона естественной причинности, находило отголосокъ въ міровозурѣніи самого Гёте. Этика Спинозы, какъ признавался Гёте впослѣдствіи, была та книга, которая ближе всего подходила къ его собственнымъ философскимъ воззрѣніямъ. Такимъ образомъ, Якоби изучалъ Спинозу для того, чтобъ укрѣпляться въ своемъ отрицаніи всякой философіи, для того, чтобъ черезъ сочиненія Спинозы придти къ убѣжденію о невозможности удовлетвориться однимъ мышленіемъ. Гёте напротивъ восхищался еврейскимъ философомъ ХУП вѣка и питался его положительной стороной.

Въ 1780 году Якоби прівхаль къ Лессингу и завель съ нимъ беседу по поводу Спиновы. Эта беседа представляетъ сравнительную характеристику двухъ умственныхъ типовъ ХУШ стольтія — логика прогрессиста, какимъ является Лессингъ, и фантастика-реакціонера— Якоби. — Изученіе Спиновы и собственныя критическія работы привели Лессинга отъ дуалистическаго міровоззрѣнія къ признанію принципа единства духа и матеріи, общей необходимости міровыхъ законовъ и къ отрицанію свободной воли человѣка. «Что термемъ мы», пишетъ Лессингъ въ 1776 году, «отрицая свободу воли? Ибчто такое, въ чемъ мы не нуждаемся ни для нашей земной дъятельности, ни для нашего будущаго блаженства. Обладание этимъ нъчто должно было бы причинять намъ несравненно больше безпокойствъ и заботъ. чъмъ его отсутствіе. Необходимость поступать такъ, а не иначе, желаниве для меня той бъдной возможности поступать при техъ же условіяхъ то такъ, то сякъ». Лессингъ благодаритъ божество за то, что оно подчиняетъ дъйствія людскія извъстной законности и не предоставляеть людей на произволь слепой случайности. Мы видели между тъмъ, что Якоби испугался заключеній Спинозы. Въ разговоръ съ Лессингомъ онъ утверждаетъ, что философія Спинозы не подаетъ намънеобходимаго утъшенія, что она отрицаеть нашу свободу, признаніе которой составляеть такую глубокую потребность для нашего чувства. Всякая последовательная философія, по мненію Якоби, ведеть въ фатализму, а потому, чтобъ освободиться отъ ея выводовъ, онъ прибътаеть по собственному выраженію къ salto mortale, къ отчаянному рискованному скачку въ область чувства и просто, непосредственно, принимаетъ на въру то, что не можетъ быть догически выяснено. Лессингъ съ своей стороны замъчаетъ защитнику непосредственнаго чувства, что его не пугаютъ заключенія Спиновы, что онъ не требуетъ свободной воли и что это только человъческій предразсудокъ придавать мысли, духу какое-то первенствующее значеніе въ ряду прочихъ явленій, что на самомъ дёлё и мысль, и протяженіе — различныя проявленія одніхъ и тіхъ же силь, однихъ и тъхъ же общихъ началъ. Якоби указываетъ Лессингу на Гётева Прометея, проникнутаго пантеизмомъ Спинозы, и Лессингъ признается, что поэма эта ему очень нравится и что онъ разделяетъ точку зренія ея автора. — Такъ расходились въ своихъ взглядахъ двъ противоположныя, воспитанныя тёмъ же самымъ временемъ натуры, изъ которыхъ одна опиралась на логическую мысль, другая искала убъжища въ неопредъленномъ чувствъ, одна стояла на сторонъ разума и знанія, другая уносилась въ страну неясныхъ, мистическихъ мечтаній и отрицала естественный ходъ мышленія для того, чтобъ успоконться въ призрачной области туманныхъ представленій, говорившихъ ея чувству.

Подъ вліяніемъ Вертера Якоби написалъ въ 1776 году романъ Алльвилль. Онъ стремился изобразить свободнаго, природнаго человіка, въ которомъ главнымъ образомъ развита сторона чувства. Это своего рода индивидуализмъ, но въ изображаемомъ лицѣ на первомъ планѣ является не мысль, не критика дѣйствительности, а какіе-то инстинкты и неясныя ощущенія, руководствуясь которыми оно предается произвольнымъ необузданнымъ поступкамъ; во имя этихъ сумасбродныхъ инстинктовъ оно отрицательно относится къ жизни. Объ этомъ направленіи лучше всего свидѣтельствуетъ письмо Якоби къ Гёте, въ которомъ онъ говоритъ слѣдующимъ образомъ о самомъ себѣ: «я слушаюсь единственно внушеній моего сердца; и вся мудрость моя заключается въ томъ, чтобъ къ нимъ прислушиваться, ихъ различать и понимать, вся моя добродѣтель—въ томъ, чтобъ имъ мужественно слѣдовать». Однимъ словомъ, возня съ личными бреднями. Такъ же слабъ и несостоятеленъ второй романъ Якоби Вольдемаръ.

«Ни психологическаго анализа,» говоритъ Геттнеръ, «ни художественной техники! Безконечная чувствительная болтовня, болъзненная раздражительность, коветливое самообожаніе.» *)

Перейдемъ къ пророку того времени, къ Лафатеру, съ которымъ въ половинъ семидесятыхъ годовъ находились въ близкихъ отношеніяхъ и Гёте, и Гердеръ. Отрицаніе мертвящаго догматизма и культъ чувствительности-вотъ та общая почва, которая ихъ соединяла съ человъкомъ, позже окончательно перешедшимъ на сторону самаго врайняго мистицизма. Къ Лафатеру можно приложить то же замъчание, воторое я высказаль по поводу Ленца. Не таланть, не личныя природныя дарованія и богатства доставили ему въ свое время значеніе и выдвинули его изъ толцы, а то обстоятельство, что его природныя данныя и наклонности отвёчали извёстнымъ тенденціямъ той эпохи. Всякій историческій періодъ благопріятствуєть развитію изв'ястныхъ специфическихъ натуръ и придаетъ имъ интересъ. Въ наше время личность Лафатера промедькнула бы въроятно незамътно въ толпъ магнетизеровъ, шардатановъ-спиритовъ и фантастовъ; кругъ ея деятельности не вышель бы за предълы темных общественных закоулковъ. Но во второй половинъ XVIII въка, благодаря обозначенной мною мистической тенденціи въ обществъ, Лафатеръ съ компаніей всявихъ Каліостро и Месмеровъ одно время привлекаль на себя вниманіе нѣкоторыхъ общественныхъ кружковъ, имъвшихъ извъстное значеніе и в извъстное положение въ литературномъ міръ. Даже люди совершенно различные съ нимъ по направленію интересовались имъ и вопросительно относились въ личности, которая въ наше время, въ нашихъ интеллигентныхъ кружкахъ была бы интересна только съ точки зрънія физіолога или психіатра.

Лафатеръ быль исполненъ мистическаго върованія въ непосредственное сношеніе съ божествомъ, въры въ то, что откровеніе божества и доселѣ можеть сообщаться людямъ. Онъ искалъ какого-то физическаго очевиднаго сближенія съ Богомъ и въ своихъ убѣжденіяхъ о божественномъ вмѣшательствѣ доходилъ до самыхъ странныхъ крайностей. Лафатеръ самъ разсказываеть, какъ однажды еще въ школѣ, подавши учителю сочиненіе, онъ вспомнилъ объ одной ошибкѣ, закравшейся въ это сочиненіе; онъ тотчасъ обратился съ молитвой къ Богу

^{*)} Cpara. Zeller, Gesch. der deutschen Philosophie, p. 559-561.

исправить эту опибку, и мелитва его была будто-бы услышана. Разсказывають, будто однажды Лафатерь, гуляя съ другомъ своимъ Пфеннингеромъ по берегу Цюрихскаго озера, сталъ молиться о томъ, чтобъ гора Альбисъ передвинулась на другую сторону озера. Послѣ этого оба они пришли къ убъжденію, что въра ихъ еще не достаточно сильна для того, чтобъ двигать горы. Лафатеръ увърялъ въ томъ, что онъ встрѣчается съ апостоломъ Іоанномъ, который будто-бы является ему въ разныхъ видахъ. Въ жизни онъ постоянно искалъ чудесъ, и эта манія къ чудесамъ привела его къ сношеніямъ съ извѣстными обманщиками того времени. Онъ писалъ письма къ католическому священнику Гаснеру, который занимался изгоняніемъ злыхъ духовъ въ швейцарскихъ кантонахъ; Лафатеръ искренно спрашивалъ его о подробностяхъ его дѣятельности.

Въ связи съ этими мистическими тенденціями стояли занятія Лафатера физіономикой. Въ теченіе многихъ дъть онъ собираль изображенія и портреты самыхъ разнородныхъ зичностей, производилъ собственныя наблюденія надъ разными лицами и старался на основаніи вившнихъ признаковъ лица делать заключенія объ его характере. Но при этомъ собираніи онъ главнымъ образомъ имълъ въ виду фантастическія задачи: при изученій каждаго лица онъ пытался разгадать, насколько въ немъ отражалось божественное начало. - Вмъстъ съ этимъ Лафатеръ постоянно настаиваеть на индивидуализмъ: по его мнънію, у каждаго человъка должна быть не только своя особенная внъшность, свой особенный духъ, чувствование и воля, но и свое особенное индивидуальное мышленіе. «Заставлять человъка думать и чувствовать такъ, вакъ я самъ думаю и чувствую, - все равно, что навязывать ему свой носъ и свой лобъ; каждый человъкъ подобно дереву имъетъ свой особенный плодъ, свободенъ только въ своей области».... Это еще образчикъ того, какія причудливыя формы принимала въ то время идея индивидуализма.

И съ этимъ то человѣкомъ Гёте въ семидесятыхъ годахъ быль короткимъ прінтелемъ, былъ съ нимъ на ты. Впослѣдетвіи они совсѣмъ разоплись по различнымъ направленіямъ, но тогда они сходились на оригипальничань к и на модномъ сентиментализмѣ; нужно къ этому орибавить обпорожительное внѣшнее обращеніе съ людьми Лафатера, поторое подъйствовало даже на рѣзкаго Мерка. Швейцарскій мистикъ нее болье и болѣе углублялся въ свои фантастическія мечтанія и, побуждаемый природнымъ тщеславіемъ, все чаще и чаще надъвалъ личину пророка, искалъ подобострастнаго поклоненія со стороны другихъ и пропагандировалъ свое мистическое христіанство. Онъ написалъ эпическую поэму о Мессіи и какія-то чудовищныя бредни подъ заглавіемъ «Понтія Пилата». Разумъется при такихъ условіяхъ не могли продолжаться сношенія его съ Гёте. Но для насъ важно ужъ то, что подобная личность могла быть одно время въ близкихъ отношеніяхъ къ великому поэту.

При изученіи отношеній Гёте въ его пріятелямъ особенно любопытны его разсказы въ Wahrheit und Dichtung. Въ высшей степени живо и рельефно его описаніе путешествія по Рейну съ Лафатеромъ и Базедовомъ въ 1774 году. Предлагаю вамъ познакомиться съ этимъ мастерскимъ разсказомъ, находящимся въ 14 книгъ «Правды и Поэзіи».

Многосторонняя натура Гёте заставляла его интересоваться самыми разнообразными личностями, взглядами и мнѣніями. Собственно ни мистикъ Лафатеръ, ни грубый Базедовъ не подходили къ Гёте по своимъ натурамъ и убѣжденіямъ. Но они занимали его, какъ любопытныя личности, онъ наблюдалъ надъ ними, изучалъ ихъ, изрѣдка подсмѣивался надъ тѣмъ и другимъ и бросилъ ихъ, когда они ему надоѣли. Его забавляли какъ фантастическія бредни Лафатера, такъ и неуклюжія нападки Базедова на христіанскую догматику; самъ онъ не склонялся ни на чью сторону, не поддавался ни подъ чье вліяніе, и въ то же время воспринималъ впечатлѣнія для своихъ будущихъ созданій. Направо и налѣво отъ него пророки, которыхъ онъ наблюдаетъ, какъ человѣкъ мірской, какъ истинный поэть:

Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitte.

И вмѣстѣ съ тѣмъ, что за характеристическая картина изъ періода бурныхъ стремленій, даже изъ всего ХУІН столѣтія, — этотъ разсказъ Гёте о путешествіи по берегамъ Рейна. Въ одномъ экипажѣ ѣдутъ поэтъ Гёте, будущій авторъ Фауста, будущій великій естествоиспытатель, съ нимъ — мистическій пророкъ Лафатеръ и педагогъ, поклонникъ Эмиля Базедовъ, который при всякомъ удобномъ случаѣ издѣвается надъ догматомъ Троицы и доказываетъ неразумность крещенія дѣтей въ купѣли. Наглядно представляется намъ это время великихъ контрастовъ, которые вытекали изъ одного источника и въ сущ-

ности были только различными формами однихъ и тёхъ же стремленій. То великое общее начало, которое лежало въ основъ всъхъ этихъ стремленій, было разложеніе въковаго міровозгрънія, обнаружившаяся несостоятельность господствовавшей теоріи и практики. Отрицая дъйствительность, одни принимались за книги, учились, мыслили, наблюдали, объясняли современникамъ окружающую дъйствительность; ихъ оправдало будущее. Другіе искали обновленія въ непосредственномъ чувствъ и закрывали глаза передъ міромъ фактовъ; они предавались мистическому экставу, уходили въ масонскія ложи, мечтали о философскомъ камиъ, вздыхали о цъльности и гармоніи утраченнаго средневъковаго міровозарънія; ихъ мечты устремлялись къ прошедшему, и имъ не суждено было осуществиться. Историкъ общества не долженъ пренебрегать и этой группой дъятелей, изучение которой можетъ пролить яркій свъть на нъкоторыя крупныя явленія XVIII въка. Но изученіе этихъ обскурантныхъ тенденцій и этихъ отдёльныхъ проявленій мистицизма въ XVIII стольтіи все-таки не ослабить въ насъ общаго представленія объ этой эпохѣ, какъ о вѣкѣ, которому по праву принадлежить эпитеть просоптительного. Темпый человъкъ того времени — Бартоло въ пьесъ Бомарше — противъ собственнаго желанія оцъниль его по заслугамь. «Notre siècle, qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? Sottises de toute espèce; la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquina. l'Encyclopédie et les drames.... *) Не довольно ли уже одного этого, мм. гг., для славы ХУІІІ въка? Не довольно ли ужъ одного этого, чтобъ примириться съ его темными сторонами?

лекція девятая.

Гёте въ половинъ семидесятыхъ годовъ.

«Прометей».—Дикіе годы въ Веймарй.—Значеніе Веймара, какъ литературнаго центра.

Знакомство съ Лафатеромъ и Якоби и изученіе Спинозы навели Гёте на занятіе религіозными вопросами, и эти занятія отразились

^{*) «}Нашъ въкъ, что произвель онъ достойнаго похвады? Глупости всякаго рода: свободу мысли, химическое сродство, электричество, толерантность, оспопрививаніе, хину, энциклопедію и драмы»... (Пер. Чудинова).

на его произведеніяхъ того времени. Онъ пишетъ сатирическія шутки «Патеръ Брей» и «Сатиръ», которыя относятся критически къраспространеннымъ въ то время моднымъ и неправильнымъ религіознымъ представленіямъ. Къ этому же періоду относятся планы драмы Магометъ и эпопеи Въчный Жидъ, которые не были осуществлены; были написаны только отрывки. Гёте особенно интересуется вопросомъ о происхожденіи религіозныхъ ученій; именно этотъ вопросъ предполагаль онъ разработать въ своемъ Магометъ. Но гораздо важнѣе для насъ его драматическій фрагментъ — Прометей.

Интересно замътить, какъ любятъ возвращаться поэты новаго времени къ греческому сказанію о Прометев *). Ихъ представленіямъ объ индивидуализмъ, о могучей силъ человъческой личности, о безграничныхъ стремленіяхъ и задачахъ человіческаго духа вториль греческій миоъ о титанъ, который похитилъ у Зевса божественный огонь, сообщиль этоть огонь людямь на ихъ благо и быль за это приковань Гефестомъ къ скалъ по приказанію громовержца. Прометей является для новыхъ поэтовъ самоотверженнымъ борцемъ за человъчество и его цивилизацію; его сопротивленіе Зевсу представляется для нихъ благородной святой дерзостью и отвагой; они благогов'ю съ передъ нимъ. какъ передъ неустрашимымъ отрицателемъ и критикомъ, какъ передъ мужественнымъ апостоломъ гуманности античнаго міра. Въ литературъ конца XVIII и начала XIX въка Прометей быль такъ же понуляренъ, какъ вообще и всякіе другіе образы протестантова, созданные поэтическими сказаніями прошедшаго (ср. Сатану). «Я восторгался Прометеемъ Эсхила еще будучи мальчикомъ», нишетъ Байронъ къ Мюррею. «это была одна изъ тъхъ греческихъ драмъ, которыя мы читали въ Harrow трижды въ годъ; въ самомъ дёлё Прометей, Медея, да еще Семь противъ Оивъ были тъми греческими пьесами, которыя мит всегда очень нравились. Прометей не выходилъ у меня изъ головы; и я допускаю его вліяніе на все, что я когда либо писалъ» (Poet. Works, р. 192). Прометею Байронъ посвятилъ прекрасное стихотвореніе, въ которомъ онъ обращается къ нему, какъ иъ представителю самыхъ благородныхъ и возвышенныхъ стремленій ченовъческаго духа. Другой даровитый англійскій поэтъ-пантеистъ

^{*)} Журналь *Prometheus*, издав. въ Вънъ Лео фонъ Секендорфомъ и Штоллемъ. Въ немъ помъщена была Гётева Пандора, 1807.

Шелли, такъ рано погибшій пріятель Байрона, написаль на эту тему цілую лирическую драму, въ которой греческій герой является съ родни самымъ смізымъ и отважнымъ отрицателямъ новаго времени *).

Прометей въ фрагментъ Гёте также самобытный, дерзкій титанъ, который съ помощью Минервы, невависимо отъ Зевса, творитъ людей и помогаетъ имъ устроиться на землъ. Грозно звучитъ его заключительный монологъ противъ Зевса: «Мнъ, почитать тебя? За что это? Облегчилъ ли ты кому-нибудь страданія, осущилъ ли ты когда-либо слевы скорбящаго? А меня не сотворило ли мужемъ всемогущее время и въчная судьба — мои и твои владыки? — Или ты воображаль, что я возненавижу жизнь и убъгу въ пустыню оттого, что не осуществляются всъ радужныя сновидьнія? — Здъсь сижу я, создаю людей по моему образу, — покольніе, которое подобно мив будеть страдать и плакать, наслаждаться жизнью и радоваться, которое подобно мит не будеть чтить тебя. > Во фрагментъ Гёте, проникнутомъ неукротимымъ титанизмомъ, сквозитъ влінніе Спинозы. Прометей не подчиняется богамъ, потому что онъ признаетъ высшее начало, высшую силу, которой повинуется и отъ которой зависить все существующее. Когда Меркурій упрекаетъ его въ неповиновении богамъ. Прометей говоритъ ему о нихъ: «вы-бевконечные? вы-всемогущіе? А что можете вы? Можете вы все небо и всю землю сжать мит въ кулакъ? Или разлучить меня съ самимъ собой, или расширить меня въ цёлый міръ? > Онъ склоняется передъ необходимыми міровыми законами, которыхъ не можеть изменить ни онъ самъ, ни Зевсъ, которыхъ вечное течение не можеть быть нарушено прихотливой волей какого-нибудь Меркурія, которымъ безусловно должно подчиняться всякое явленіе, всякая тварь. всякое отдъльное бытіе. Прометей творить свой мірь, и въ его отношеніяхъ къ этому міру опять обнаруживается вліяніе пантеизма Спи нозы: «вотъ мой міръ, мое все! Въ этомъ я чувствую самого себя; адъсь всъ мон желанія воплотились въ телесные образы. Здъсь мой духъ, имъ проникнуто мое дорогое потомство». Таково было представленіе Гете о божествъ, наполнявшемъ и проникавшемъ природу. Но Прометей Гёте имъетъ еще одну сторону, которая обозначена въ немъ

^{· *)} См. о Прометев Эскила *Patin*, Etudes sur les tragiques grecs. Eschyle, p. 250—305; литература мотива: p. 303—305. О миев — *Preller*, Griech. Mythologie, 1, 71—79.

ръзче, чъмъ въ аналогическихъ ему произведеніяхъ. Онъ-художникъ, онъ наслаждается процессомъ своего творчества, формами, которыя онъ сообщаеть своимъ созданіямъ, онъ погруженъ въ художественное воспроизведение своего подобія, своихъ идей -если хотите. Этой стороной онъ еще ближе подходить къ самому Гёте, который самъ объясняетъ происхождение «Прометея» отчасти тъмъ страстнымъ желаниемъ «творить», тъмъ стремленіемъ къ художественному созиданію, которымъ онъ былъ въ то время охваченъ и которому онъ предавался вполить самостоятельно, расчитывая на свои собственныя дарованія п отклоняя внъщнюю помощь. -- Къ моему быстрому обзору «Прометея» Гёте я долженъ еще присоединить указаніе на то, какъ вплетены во второе дъйствіе фрагмента модныя въ то время иден объ естественномъ быть человька. Гёте между прочимь затрогиваеть вопрось о собственности. Устами Прометея онъ признаетъ принципъ личной собственности, которая является результатомъ личного труда. Одинъ изъ первобытныхъ людей, созданныхъ Прометеемъ, по его указаніямъ строитъ себъ хижину и потомъ спращиваетъ у своего творца, всъ ли его братья имъютъ право въ ней жить. Нътъ, отвъчаетъ Прометей, ты ее выстроиль для себя, и она твоя; ты можень разделить ее съ къмъ хочешь. Кто хочеть обитать подъ кровомъ - пусть строить самъ для себя. Та же мысль получаеть дальнейшее развитие въ следующей сцене.

«Прометей» Гете быль написань осенью 1774 года, значить въ скоромъ времени послъ свиданія его съ Якоби и на первыхъ порахъ его изученія Спинозы. Уже не разъ случалось мит говорить вамъ, что философія Спинозы имъла на Гёте значительное вліяніе. Мит кажется, что ей, по врайней мъръ отчасти, онъ обязанъ своимъ примиреніемъ съ жизнью посят пережитой имъ умственной тревоги; разумтется еще большую роль играла въ этомъ сама натура Гёте, и я уже говорилъ вамъ о постоянномъ стремленіи его природы къ равновъсію, о свойственной Гёте «разсудительности». Но какъ бы то ни было, фи- лософія Спинозы способствовала во многомъ его душевному успокоенію; она дала готовыя формы для его философскихъ воззрвній, и этимъ самымъ сообщила имъ стройность, закръпила ихъ. Въ Спинозъпишеть Эккерманъ-Гёте находиль самого себя, и такимъ образомъ ему легко было на немъ обосноваться. Съ этого времени, съ 1774-75 года начинають стихать юношескіе порывы Гёте. Правда, еще впереди остается нъсколько бурныхъ годовъ веймарской жизни, но въ эти первые годы пребыванія Гёте въ Веймарѣ если онъ и предается вмѣстѣ съ молодымъ герцогомъ необузданнымъ шуткамъ и выходкамъ дикаго генія,—уже незамѣтпа та меданходическая сентиментальность, которая находила на него въ 1872—73 году, уже прошла та вертеровская лихорадка, которая въ то время подчасъ наводила его даже на мысльо самоубійствѣ.

Осенью 1775 года Гёте принимаетъ приглашение герцога Саксенъ-Веймарскаго и переселяется въ Веймаръ, который съ этихъ поръ становится его постояннымъ мъстопребываниемъ. Подробности относительно веймарскаго быта вы пайдете въ 4 книгъ Льюиса и въ интересномъ сочинении Ад. Штара Weimar und Iena.

Веймаръ въ концъ прошлаго и началъ нынъшняго въка слылъ германскими Авинами. Это быль самый крупный литературный центръ того времени. Веймарскій дворъ быль средоточіемь, около котораго въ последнихъ годахъ нрошлаго столетія сошлись все литературныя светила того времени: Гёте, Шиллеръ, Гердеръ, Виландъ, и многіе другіе писатели втораго и третьяго порядка. Другія литературныя извъстности, ученые, художники, посъщали Веймаръ и паходили благосклонный пріемъ со стороны тамошняго герцога. Въ первое время жизни Гёте въ Веймаръ, этотъ городъ сдъдался какъ бы резиденціей всъхъ бурныхъ геніевъ, которые стекались къ своему вождю-Гёте и къ его высокопоставленному покровителю — Карлу Августу, который также быль увлеченъ моднымъ геніальничаньемъ, быль на ты съ молодымъ поэтомъ и заодно съ нимъ предавался самымъ дикимъ шалостямъ. Въ Веймарт перебывали Клингеръ, Ленцъ, братья Штольберги.... Первое время Гёте, охваченный новой обстановкой, кружился въ вихръ шумныхъ, бурныхъ развлеченій, руководилъ устройствомъ всякихъ празднествъ и придворныхъ торжествъ, игралъ на театръ любителей, участвоваль въ маскарадахъ, придумывалъ веселыя экскурсін въ окрестности и увлекалъ за собой вибств съ герцогомъ всвхъ окружающихъ въ свои затъи и геніальныя выходки. «На всъхъ парусахъ несусь я теперь по волнамъ свъта», импеть Гёте Лафатеру, «съ твердой ръшимостью развъдывать, познавать, бороться, състь на мель или взлетъть на воздухъ со всъмъ грузомъ». Гёте пьетъ жадными глотками чару жизни; какъ истинный поэтъ, онъ долженъ самъ на себъ познакомиться съ ея сложными и разнообразными явленіями. «Эта пестрота, этотъ круговоротъ бытія доставляеть мив истинное наслажденіе. Досады, надежда, любовь, трудъ, нужда, привлюченія, скука, ненависть, дурачества, глупости, радости, неожиданности и нечаянности, мелочи и глубина, притомъ — какъ попало, въ перемежку съ праздниками, танцами, погремушками, шелкомъ и блестками, —все это презанятная вещь!». Къ этому присоединяется новая страсть и самая продолжительная страсть Гёте, его любовь къ madame de Stein.... Но бурное препровожденіе времени не мѣшаетъ Гёте группировать и анализировать свои впечатлѣнія; его увлекаютъ не столько сами развлеченія, сколько постоянная смѣна ощущеній, сколько картины, образы этихъ бурныхъ сценъ, въ которыхъ онъ принимаетъ участіе. Онъ наслаждается и вмѣстѣ наблюдаетъ, обобщаетъ пережитое.

И эти бурные порывы удеглись. Гёте скоро успокоился, а между тъмъ воспринятыя за это время впечатлънія отливались по-немногу въ художественные образы. Вообще, начиная съ 1776 года для самого Гёте начинаетъ проходить періодъ бурныхъ стремленій. Мы видёли, что онъ уже до этого освободился отъ вертеровской меланхолін, и въ этомъ номогло ему изучение Спинозы. Теперь, въ первые годы веймарской жизни Гёте вообще прощается съ своей юностью; онъ перебъсился и сдълался зрълымъ мужемъ. Виъстъ съ тъмъ окончательно утихають его мучительныя колебанія, его душевный разладь. Разумъется, его не повидають глубокія сомньнія, которыя коренились во всемъ міровозэрѣніи той эпохи, но къ этимъ верховнымъ задачамъ онъ относится болье объективно, болье критически, спокойные, холоднъе. Такъ, его Фаустъ коренится на темахъ періода бурныхъ стремленій, но личное отношеніе его къ этимъ самымъ темамъ стало безстрастиве, спокойнве, и потому то въ результать получилось такое глубокообдуманное созданіе, какъ Фаустъ. Теперь онъ долго лельеть свои поэтическіе замыслы, долго возится съ Ифигеніей, съ Вильгельмомъ Мейстеромъ и дольше всего съ Фаустомъ; онъ все обработываеть, передълываеть, передумываеть. Для Гёте настають годы полной зръдости.

Итакъ Спиноза способствовалъ примиренію Гёте съ жизнью; отчасти тому же Спинозѣ онъ обязанъ своей возрастающей любовью къ природѣ и къ естественнымъ наукамъ. Къ 80-мъ годамъ относятся первые естественнонаучные труды Гёте, о которыхъ я буду говорить впослѣдствіи, и въ 1780 г. написана имъ подъ заглавіемъ «Природа», краснорѣчивая статья, вся проникнутая спинозизмомъ. Покончивши съ исторіей внутренняго развитія Гёте до 80-хъ годовъ прошлаго въка, перехожу къ Веймару, который служиль ему мъстопребываніемъ съ 1775 г. до 1832 г., до самой его смерти. Какъ я уже сказалъ, Веймаръ является для насъ важнымъ литературнымъ центромъ Германіи того времени. Скажемъ нъсколько словъ объ этихъ германскихъ Абинахъ и объ ихъ значеніи для послъдующей дъятельности Гёте и другихъ тамошнихъ поэтовъ.

Въ исторіи обыкновенно мы встрічаемся съ литературными цент рами, которые совпадають съ центрами политической и общественной жизни. Это естественный порядокъ вещей. Литературное движеніе можеть успъшно развиватьсятамъ, гдъ общественныя силы имъють наибольшее значеніе, гдъ сталкиваются различные общіе интересы, гдъ сама жизнь представляетъ наибольшее разнообразіе въ своихъ отправленіяхъ, начобольшее богатство въ своихъ формахъ. Возникновение литературныхъ произведений подчиняется закону спроса и предложения. Тамъ, гдъ сосрепоточиваются силы націй, гдъ концентрируются и кипять ихъ подвижные и культурные элементы, тамъ находитъ и поэтъ матеріалы, необходимые для своихъ созданій и вибств съ темъ потребителей для своего товара, публику, которая нарасхвать разбираеть провивію литературнаго рынка. Такова была роль Абинъ въ У въкъ, роль Рима во времена Августа, роль Парижа для Франціи въ теченіе трехъ последнихъ въковъ. — Въ Германіи конца прошлаго и начала нынъш--вати вы заправния в при турных в изтописяхь. Она не только не имбла политической жизни. но и вообще имшена была политического центра, развитой общественной живии и сложныхъ общественныхъ интересовъ. Мы встръчаемся съ развитиемъ искусственных литературныхъ очаговъ подъ покровительствомъ отдельныхъ дворовъ и не имеющихъ тесныхъ связей съ жизнью всей націй потому именно, что сама нація была разобщена, раздреблена на мелкія политическія тыла.

Такимъ искусственнымъ литературнымъ очагомъ является для насъ Веймаръ. Сюда притекали въ изобили литературныя силы того времени, привлекаемый митературнымъ дилеттантизмомъ двора, личностью повато инвисикато мейената. Карла Августа. Въ небольшомъ городкъ, не имъвшенъ ни подитической жизни, ни торговли, ни даже университетъ столинлись великае таланты того времени, въ этомъ городкъ, въ которомъ все, что представляло какой-либо интересъ, быль деоръ,

и о которомъ такъ върно замътила парижанка madame de Staël: "еймаръ — не маленькій городъ, а большой замокъ. — Эти мъстныя словія должны были необходимо отразиться на литературной дъя, гельности веймарскихъ свътилъ.

Меценатъ-герцогъ обезпечивалъ сообразно съ своими, впрочемъ очень незначительными, средствами матеріальное положеніе веймарскихъ писателей, которые такимъ образомъ были предохранены отъ участи литературныхъ поденщиковъ. У нихъ былъ досугъ и уединеніе, — последняго сколько душе угодно. Но эти условія только въ незначительной степени могли благопріятно дійствовать на ихъ литературную діятельность: имъ дана была возможность спокойно продумывать и обработывать свои сочиненія. Подобный образъ жизни хорошъ для кабинетнаго ученаго, для математика и естествоиспытателя, и мы увидимъ, какъ благотворно вліяла мирная веймарская обстановка на ученыя занятія Гёте. Но для поэта нужно кое-что другое, чего не давалъ Веймаръ: для него неебходимы самыя близкія и самыя разнообразныя столкновенія съ дійствительностью; онъ долженъ изучать жизнь своей націи, своего общества. Этого не могь дать Веймаръ, который предлагалъ только жалкіе образчики провинціальнаго быта, да исключительно нравы небольшаго нъмецкаго двора. Постоянное прозябание въ однихъ и тъхъ же замкнутыхъ кружкахъ, постоянное треніе въ тесныхъ сферахъ местной придворной обстановки съуживало кругозоръ писателя, который противъ воли былъ вовлекаемъ въ мелочи, дрязги и сплетни провинціальнаго захолустья, пріучался смотръть на весь міръ черезъ душную атмосферу нъмецкаго городка и становился близорувимъ по отношенію въ шировимъ историческимъ задачамъ своего времени. — Итакъ одно изъ слъдствій жизни въ Веймаръ для писателя было отдаленіе, отчужденіе от міра общей дъйствительности. Это печальное положение, которое, какъ мы видъли, обусловливается отчасти всъмъ строемъ общественной жизни Германіи прошлаго в'яка, сильно ощущали и Шиллеръ, и самъ Гёте. «Я чувствую потребность», пишеть Шиллерь въ 1804 г. после того, какъ онъ побывалъ въ Берлинъ, «пожить въ большомъ городъ. Мое назначеніе — писать для большаго круга; мои драматическія сочиненія должны действовать на міръ, а здёсь я нахожусь въ такихъ узкихъ и тъсныхъ отношеніяхъ, что представляется какимъ-то чудомъ даже и то, что я еще могу творить что-нибудь для міра». Тотъ же Шил-

леръ нишетъ въ 1788 году, какъ пичтожны и жалки представляются ему нъмецкія гражданскія и политическія отношенія сравнительно съ великими міровыми интересами. «Въ сущности, въ нашей Гермакіч ведемъ мы жалкую изолированную жизнь», говаривалъ Гёте. Онъ завидуеть французамъ, у которыхъ есть Парижъ, гдъ сходятся въ одномъ пунктъ лучшіе умы большаго государства, и упражняють свои силы въ постоянной взаимной конкурренціи; гдѣ выставлено все лучшее изъ встхъ областей природы и искусства, гдт каждый мостъ и каждая площадь напоминають великія событія и каждая улица связана съ какимъ-нибудь отрывкомъ изъ исторіи; Парижъ, гдѣ въ теченіе трехъ покольній личностями, какъ Мольеръ, Дидро, Вольтеръ, было пущено въ обращение столько остроумия, сколько не наидется ни въ одномъ центръ нашего міра. Въ Парижъ сынъ бъднаго портнаго, дитя народа, самоучка Беранже могъ привлечь на себя удивленные взоры всей Франціи и образованной Европы; а вырости подобное деревцо въ Іенъ пли Веймаръ, оно зачахло бы въ своемъ развитіи.

Веймарскіе писатели группировались около двора, имѣли опредѣденныя должности при дворъ или получали отъ него субсидіи. Это ставило ихъ поневодъ въ тъсную связь съ дворомъ. Припомните досаду Карамзина, когда онъ прівхаль въ Веймаръ. «Насмный слуга», пишетъ авторъ Писемъ русскаго путешественника, «пемедленно былъ отправленъ мною къ Виланду, спросить, дома ли онъ. — Нътъ, онъ во дворцъ. — Дома ди Гердеръ? — Нътъ, онъ во дворцъ. — Дома ди Гёте? — Нътъ, онъ во дворцъ». Многія изъ произведеній веймарскихъ писателей. можно сказать даже-большинство этихъ произведеній написано не для общества и публики, а для придворнаго литературнаго кружка, который является ихъ критикомъ и потребителемъ. Веймарскій театръ, на которомъ давались пьесы Гёте и Шиллера, посъщался опредъленнымъ кружкомъ записныхъ зрителей, т. е. тъми же придворными и литераторами. Единственнымъ живымъ освѣжающимъ элементомъ въ этой театральной публикъ являлись студенты, приходившіе иногда изъ leны. Шиллеръ былъ въ высшей степени удивленъ, когда послѣ представленія его Мессинской нев'єсты при выход'є изъ театра столпившаяся публика привътствовала его восторженными криками; это обстоятельство выходило изъ ряда обыкновенныхъ. Но это не были жители Веймара, а тъ же јенскіе студенты, молодой пародъ, еще не

опошлившійся въ филистерской будничной обстановкѣ бюргерскаго быта. Какой рѣзкій контрасть между этимъ жалкимъ образчикомъ литературныхъ и сценическихъ отношеній съ блестящей народной оваціей, которой удостоился въ Парижѣ въ 1778 году старикъ Вольтеръ!—Такимъ образомъ это—второе неблагопріятное вліяніе веймарскаго меценатства—тисная связь литераторовъ съ задачами и интересами исключительнаго кружка.

Третье. Мы видёли, что въ Веймарё столпилось много талантовъ. Всё они дёйствовали въ тёсной сферё придворнаго круга. Еслибъ имъ была предоставлена болёе широкая арена для дёятельности, какой-нибудь міровой городъ, еслибъ они могли расчитывать на обширную публику, то всё они, и преимущественно второстепенные таланты, получили бы болёе нормальное, болёе правильное развитіе. Открылось бы болёе интересовъ, представилось бы болёе задачъ, и каждый былъ бы въ состояніи выбирать темы, болёе подходящія къ его дарованіямъ, каждый могъ бы дёйствовать на опредёленный общественный слой, могъ бы удовлетворять требованіямъ извёстной части публики. Здёсь въ Веймарё свётила первой величины—Гёте и Шиллеръ давили остальныхъ и самой силой своихъ дарованій не давали хода другимъ менёе самобытнымъ дёятелямъ. Между прочимъ, это соперничество — одна изъ причинъ постепенно усиливавшагося раздраженія Гердера.

Наконецъ, въ четвертыхъ, великіе веймарскіе поэты, отчужденные отъ дъйствительности, отъ созерцанія крупныхъ, общественныхъ интересовъ и вмъстъ съ тъмъ вынуждаемые на творчество своими художественными силами, которыя искали выхода, искали приложенія, — великіе веймарскіе поэты постепенно сосредоточиваютъ всъ свои старанія, всъ свои стремленія на обработки поэтической формы. Содержаніе имъ не дается, и они имъ пренебрегаютъ; они отвыкаютъ отъ него и тъмъ съ большимъ рвеніемъ воздълываютъ внѣшнюю форму, художественную технику. Это въ высшей степени важное и любопытное явленіе — художественный формализмъ Гёте и Шиллера будетъ мною подробнье выясненъ впослъдствіи.

Возвращаясь къ Гете, необходимо замътить, что переселеніе въ Веймаръ дёлить жизнь его на двѣ половины. Въ первую половину, въ эпоху юности, онъ сильнѣе всего воспринималъ впечатлѣнія, болѣе всего терся съ жизнью, ближе стоялъ къ дѣйствительности. Оттого-то въ эту эпоху имъ и написано такое въ высшей степени реальное

произведеніе, какъ Вертеръ, оттого-то къ этой эпохъ, къ періоду бурныхъ стремленій относится и планъ величайшаго его созданія—Фауста. 1 Темы Фауста принадлежатъ Sturm · und Drangperiode; въ Веймаръ онъ были передуманы и переработаны. Между тъмъ во вторую, веймарскую эпоху своей жизни, которая длилась 57 лёть, Гёте является главнымъ образомъ редакторомъ своихъ впечатленій, мыслителемъ, теоретикомъ, и, мм. гг., еще одно-что очень важно-ученымъ, естествоиспытателемъ. Естественныя науки оживляють его теоретическую дъятельность... На научную дъятельность Гёте его пребывание въ Веймаръ имъло положительно благотворное вліяніе: оно доставляло ему необходимый для этого досугъ, уединеніе; наконецъ вспомогательныя средства-сношенія съ учеными, пользованіе нужными инструментами — были для него доступны, какъ для высокопоставленнаго лица. Что касается до поэтической дъятельности, то я болье склоняюсь къ тому, что веймарская обстановка дъйствовала на нее не особенно благодътельно: она разлучила Вольфганга Гёте съ жизнью, съ теми случайностями и столкновеніями, на которыя онъ натыкался во время пребыванія его на Рейнъ; она поставила его въ придворный кружокъ и отдалила его отъ живаго непосредственнаго общенія съ разнообразными общественными элементами; она преобразила юношу поэта въ тайнаго совътника и способствовала развитію въ немъ извъстнаго бюрократическаго формализма; она заразила его неприступностью и важностью государственнаго человъка....

Тъмъ болъе нужно удивляться великимъ природнымъ дарованіямъ Гёте и Шиллера, которыя давали имъ возможность, несмотря на окружавшую ихъ неблагопріятную атмосферу, создавать великія произведенія; эти произведенія для будущихъ покольній Германіи сдълались общей связью, общимъ національнымъ достояніемъ и сблизили между собой въ этой литературной области политически разобщенные элементы нъмецкой народности. Поэзія Гёте и Шиллера, столько же (если не больше) сколько труды нъмецкихъ ученыхъ способствовала развитію объединительныхъ тенденцій нъмецкаго народа.

Мы покончили съ Гёте—коношей. Я не касался нѣкоторыхъ второстепенныхъ его произведеній, какъ «Клавиго» и «Стелла», такъ какъ все, что нужно, вы найдете о нихъ у Льюиса и Геттнера. Теперь на нѣсколько времени намъ придется покинуть Гёте и обратиться къ другому великому дѣятелю 80-хъ годовъ прошлаго вѣка съ тѣмъ, чтобъ послѣ этого перейти прямо въ Фаусту. Зачатки Фауста, его первая концепція, какъ я уже говориль, принадлежить періоду бурныхъ стремленій, но для того, чтобъ это величайшее произведеніе новаго времени представилось для васъ съ большей ясностью, я считаю необходимымъ предпослать разсмотрѣнію Фауста обзоръ философскаго ученія Канта. «Критика чистаго разума» введетъ насъ въ самую глубь міровоззрѣнія того времени; при изученіи Канта мы увидимъ, до чего додумалась и договорилась отвлеченная метафизика того времени. Сътьми же вопросами мы встрѣтимся въ Фаустѣ, въ которомъ они будутъ воплощены въ живые образы и сведены къ конкретнымъ представленіямъ.

Разсмотрѣніе Фауста будеть сердцевиной, средоточіемъ моего курса. Его зачатки лежать въ мятежной эпохѣ бурь и стремленій, его обработка относится къ зрѣлымъ годамъ Гёте. Такимъ образомъ онъ является для насъ на срединѣ между юностью и старостью великаго поэта, на рубежѣ между XVIII и XIX вѣкомъ, на границахъ старыхъ и новыхъ понятій.

ЛЕКЦІЯ ДЕСЯТАЯ.

Эммануилъ Кантъ. *)

Жизнь Канта. — Критицивиъ. — Вліяніе Юма и принципъ причинности. — Формы соверцанія. — Категоріи.

Вившняя жизнь Эммануила Канта поражаеть насъ своимъ однообразіемъ. Онъ родился, прожилъ весь свой въкъ и умеръ въ Кенигс-

^{*)} Hettner. Literaturgeschichte des XVIII Iahrh. III, 3, 2.

Zeller. Geschichte der deutschen Philosophie.

Lange. Geschichte des Materialismus, 2 Th.

Zöllner. Ueber die Natur der Kometen, p. 426-482 (6iorp. Kahta).

Häckel. Natürliche Schöpfungsgeschichte.

Dühring. Krit. Geschichte der Philosophie.

Schubert. Immanuel Kant u. seine Stellung zur Politik. (Raumer's histor. Taschenbuch, IX, 1838, p. 527-628).

П. Г. Радкина. Ленція о философія Канта, читанныя въ Петербургскомъ Университетъ въ 1869—70 г.

бергъ и никогда въ теченіе своей восьмидесятильтней жизни не повидаль предъловь восточной Пруссіи. Канть не быль даже въ Данцигъ. Онъ постоянно стремился къ извъстному опредъленному монотонному образу жизни; не принимая выгодныхъ условій, которыя предлагали ему другіе университеты, онъ сидель себе въ своемъ родномъ городъ, ограничиваясь незначительнымъ жалованьемъ въ 400 талеровъ, всецьло отдавшись внутренней теоретической работь. Погруженный въ изследованіе отвлеченныхъ вопросовъ, Кантъ избегаль всякой резкой смѣны впечатлѣній и ощущеній, всякихъ внѣшнихъ безпокойствъ, которыя могли бы какъ-нибудь потревожить мёрный ровный ходъ его мысли, спокойное теченіе его умственной ділтельности. Это желаніе отръшиться отъ новыхъ сильныхъ впечатленій, эта исключительная наклонность къ абстрактной работъ и боязнь всего того, что можетъ отвлечь внимание отъ извъстныхъ теоретическихъ вопросовъ и хотя на время помутить сосредоточенное мышленіе, замічается и въ другихъ сильныхъ философскихъ умахъ. Въ примъръ можно привести Спинозу и Ог. Конта, который избъгалъ даже чтенія новыхъ сочиненій, углубившись въ обработку своего курса положительной философіи.

Предки Канта выбхали изъ Шотландіи. Онъ родился въ 1724 году и получилъ въ своей семь (отецъ его былъ шорникомъ) строгое религіозное воспитаніе, сліды котораго замітны на немъ въ теченіе всей его жизни. Будучи студентомъ университета, Кантъ занимался преимущественно математикой и философіей, и съ 1755 г. началъ читать лекціи по математик' и физик', постепенно расширяя область своихъ чтеній, которыя впослёдствін захватывали самые разнообразные теоретическіе вопросы и носили характеръ энциклопедическій. Кантъ былъ замъчательнымъ преподавателемъ своего времени. Онъ не ограничивался казеннымъ изложениемъ предмета, но постоянно возбуждаль своихь слушателей въ самостоятельному умственному труду. Нужно удивляться его напряженной дъятельности. Въ семидесятыхъ годахъ, въ то самое время, когда онъ готовилъ величайшее свое произведеніе, Кантъ читаль ежедневно по четыре лекцій; предметомъ его чтеній была философская энциклопедія, математика, физическая географія, антропологія, педагогика. Его слушали не одни студенты, но и чиновники, офицеры, частныя лица; случалось, что публика не находила мъста въ аудиторіи и толпилась у дверей. — Первымъ замьчательнымъ сочинениемъ Канта была его диссертація, которой онъ от-

крылъ свое академическое поприще въ 1755 году, именно «Всеобщая естественная исторія и теорія неба» (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels)—сочиненіе, которое лишь въ последнее время: было оценено по заслугамъ. Это былъ смелый опыть выяснить механически происхождение всей міровой системы изъ первобытнаго газообразнаго состоянія матеріи, которая, будучи приведена въ вращательное движеніе, разбивается на отдёльныя міровыя тёла вслёдствіе центробъжной силы съ одной стороны и центростремительной силы съ другой. Эта самая такъ называемая космологическая теорія газовъ Канта впоследствій была развита Лапласомъ и Гершелемъ и до сихъ поръ признается наукой, какъ единственная состоятельная и удачная гипотеза о происхождении міровой системы. Въ своей диссертаціи Кантъ указываетъ между прочимъ на то, что должны существовать планеты за Сатурномъ, - предположение, подтвержденное поздивишими открытіями. «Сопоставленіе результатовъ естественнонаучныхъ трудовъ Канта съ результатами точныхъ изследованій достаточно доказываеть, какъ умбетъ глубокій умъ утилизировать даже незначительный эмпирическій матеріаль и достигать стольтіемь раньше тыхь общихь выводовъ, которые принимаются впоследствіи точной наукой исходными нунктами для дальнъйшихъ изслъдованій». Такъ выразился недавно дейпцигскій профессоръ Цёлльнеръ, одинъ изъ замічательных современныхъ натурфилософовъ (въ серьёзномъ и почтенномъ смысть этого слова).

Въ небольшихъ метафизическихъ трактатахъ, которые были написаны Кантомъ въ первое время его ученой дѣятельности, онъ еще стоитъ на почвѣ признанной въ то время ученымъ цехомъ Вольфовой философіи. Но мы уже видѣли, какъ основательно занимался онъ естественнонаучными вопросами, которые не мало способствовали его умственному просвѣтлѣнію и развитію въ немъ самостоятельнаго отношенія къ метафизическимъ задачамъ. Къ этому нужно присоединить знакомство Канта съ сочиненіями шотландскаго философа прошлаго вѣка—Давида Юма, которое имѣло рѣшающее значеніе для его философскаго развитія. Юмъ первый прервалъ, выражаясь словами Канта, его догматическую дремоту и далъ его изслѣдованіямъ въ области спекулятивной философіи совершенно новое направленіе. Обстоятельная, систематическая борьба съ господствовавшей метафизикой была поднята Кантомъ гораздо позже, въ «Критикѣ чистаго разума», но уже ръзкіе полемическіе пріемы противъ современныхъ философастовъ мы встръчаемъ въ небольшомъ сочиненіи его, вышедшемъ въ 1766 г. подъ заглавіемъ «Сны духовидца, поясненные снами метафизика»; уже въ то время сложилась въ общихъ чертахъ критическая система Канта. Въ этой брошюръ кенигсбергскій философъ сравниваетъ видънія Сведенборга, извъстнаго фантаста того времени, съ бреднями схоластической философіи и уже здъсь заявляетъ, что метафизика должна быть наукой объ условіяхъ и границахъ человъческаго разума.

«Критика чистаго разума» появилась въ 1781 году. Канту было 57 лётъ, и сила его дарованій достигла высшей степени своего развитія. Дальше онъ уже не могъ идти, для него завершился періодъ умственной иниціативы, періодъ образованія и роста міросозерцанія, за которымъ для большинства теоретиковъ пепосредственно слѣдуетъ эпоха производительности, — выраженія сложившихся и пріобрѣтенныхъ взглядовъ въ произведеніяхъ. Въ теченіе 80-хъ и 90-хъ гг. Кантъ погруженъ въ напряженную и какую-то спѣшную литературную дѣятельность. Онъ уже доработался до опредѣленныхъ убѣжденій; оставалось — изложить ихъ на бумагѣ. За Критикой чистаго разума появляются, одно за другимъ, крупныя его произведенія: Критика практическаго разума, Критика силы сужденія, Метафизика нравовъ, Антропологія. — Кантъ умеръ въ 1804 г. отъ дряхлости и умственнаго изнеможенія. — Остановимся на его «Критикъ чистаго разума».

Самъ Кантъ называетъ свою философскую систему притической и свой критическій методъ противопоставляетъ догматическому методу старыхъ метафизиковъ. Въ этомъ новомъ методѣ онъ видитъ всю свою заслугу и сопоставляетъ свое новое ученіе съ открытіемъ Коперника. Подобно тому какъ Коперникъ перевернулъ въ свое время господствовавшія представленія о нашей солнечной системѣ, такъ и Кантъ измѣнилъ самую точку зрѣнія метафизики, самое отношеніе къ метафизическимъ вопросамъ. Задачей метафизики было изслѣдованіе, разъясненіе, рѣшеніе вопросовъ о сверхъ-чувственныхъ предметахъ, т. е. о такихъ, которые лежатъ внѣ нашего чувственныхъ предметахъ, безсмертіе души, человѣческая свобода). Метафизики принимали на себя смѣлость путемъ отвлеченныхъ умствованій толковать о такихъ безусловныхъ, абсолютныхъ, трансцендентныхъ—по выраженію Канта—предметахъ. Они не опирались на опытныя данныя и предавались нескончаемымъ разсужденіямъ, не имѣвшимъ никакихъ прочныхъ осно-

ваній. Такимъ представителемъ догматизма для Канта былъ Вольфъ, система котораго господствовала въ то время въ намецкихъ школахъ. Догматизмъ, по мивнію Канта, могь быть очень систематиченъ въ своихъ предълахъ; Вольфъ въ высшей степени последовательно развиваль известныя положенія, доказываль ихъ последствія, приводиль ихъ въ связь; но сами положенія оставались непровъренными. Прежде чёмъ приниматься за изслёдованіе вопросовъ о сверхчувственныхъ предметахъ, прежде чъмъ приниматься за какую бы то ни было метафизику и философію, должна, по мивнію Канта, быть предварительно подвергнута изследованію сама познавательная способность человъка, его разумъ. Системъ, доктринъ, догмъ, должна предшествовать критика. Нужно провърить силы нашего разума, нужно отвътить на вопросъ, какіе предметы подлежать нашему изследованію, насколько доступно для нашего разума познаніе предметовъ вообще и сверхчувственныхъ предметовъ въ особенности. Такого рода направленіе называеть Канть критическиму. Такова его система, которая изследуеть силы человеческого разума и область предметовъ, находящихся въ его въдъніи. Но въ прошедшемъ исторіи философіи было еще, кроит догматического, другое -- скептическое направление англійских в мыслителей — Локка и Юма. Къ нимъ отпосится Кантъ съ большимъ уваженіемъ, но и съ ними онъ расходится въ выводахъ. Въ Локкъ и Юмъ онъ находитъ слишкомъ мало положительнаго; они высвазывають недовъріе въ нашимъ представленіямъ о сверхчувственныхъ предметахъ, не подвергая однако строгому изслъдованию нашу познавательную способность. Скептицизмъ, по митнію Канта, -- приготовительная ступень для критицизма, и Юмъ, какъ мы видели, въ самомъ Кантъ пробудилъ критическое направление. Въ самомъ дълъ, существуетъ довольно тесная связь между англійскимъ мыслителемъ пропілаго въка и нъмецкимъ философомъ. Я разсмотрю эту связь, укажу подробите на вліяніе Юма на Канта, и этимъ самымъ постараюсь незаметно ввести васъ въ «Критику чистаго разума».

О вліяніи Юма на развитіє своей системы Кантъ говорить въ «Предисловіи ко всякой будущей метафизикъ» (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik), — небольшомъ сочиненіи, вышедшемъ въ 1783 году и поясняющемъ общіє пріемы автора «Критики чистаго разума». Ръшительный толчокъ философскимъ воззръніямъ Канта дало ученіе Юма о принципъ причинности.

). 2

Въ то время, какъ старая догматическая метафизика, исходя изъ непроверенных общих понятій, изощрялась въ діалектическом развиваніи этихъ понятій и забавдялась тонкими искусственными выводами изъ своихъ предвзятыхъ положеній, Локкъ и Юмъ обратились въ критикъ самихъ понятій, къ вопросу объ ихъ происхожденіи. Они отвергли теорію о прирожденных идеяхъ, насажденныхъ въ человъкъ мистическою силою, - теорію, которою такъ легко и вместе съ темъ такъ ненаучно могли разръшаться всякія общія недоразумьнія. Какая либо идея, содержание которой не могло быть тотчасъ разъяснено действительностью или съ которой особенно крвпко сжились предразсудки, заносилась ленивою мыслью въ разрядъ «прирожденныхъ» и считалась самостоятельнымъ независимымъ факторомъ въ сферт отправленій человъческаго мышленія. Передъ такого рода легкомыслейными прісмами не останавливался даже Декартъ, обзываемый отцомъ новой философіи, не говоря уже о массъ схоластиковъ и философастовъ, которые свободно, не стесняясь, изобретали во множестве и при каждомъ удобномъ случат основныя, по ихъ митнію, силы въ природъ и прирожденныя понятія въ человъкъ. За наивнымъ перечисленіемъ подобныхъ силь, за слепымъ признаніемъ какой-нибудь боязни пустоты въ природъ (horreur du vide), они съ невозмутимымъ спокойствіемъ ставили точку, не считая нужнымъ разъяснять, откуда же взялись эти безчисленныя силы и идеи, дъйствують ли он'; только въ данномъ случат или заявляють о себт и въ общей экономін міра, какая связь этихъ силъ и идей съ другими, каковы ихъ взаимныя отношенія. Принципъ причинности раздізляль общую участь множества другихъ представленій: онъ имълъ высшее происхожденіе и могь прилагаться за предълы человъческого опыта. Противъ общаго вагляда метафизиковъ Юмъ выставиль свое собственное діаметральнопротивоположное воззрѣніе, которое имѣло такое рѣшительное значеніе для Канта.

Я долженъ пояснить вамъ смыслъ этого выраженія—принципъ причинности. Для того, чтобъ понять окружающія его явленія, человъкъ стремится привести ихъ въ извъстную связь, опредълить причину каждаго факта, поставить этотъ фактъ въ зависимость отъ другаго. Это свойство человъческаго ума приводить въ связь окружающія явленія, отыскивать ихъ причинныя отношенія, мы и назовемъ принципомъ причинности. Другое дъло, какт человъкъ понимаетъ

взаимную связь явленій; онъ можеть представлять себ'в совершенно ложную связь, неоправдываемую научнымъ изследованіемъ. Въ силу этого принципа причинности дикарь объясняеть раскаты грома повадомъ небожителей, бурю - гитвнымъ волненіемъ морскихъ владыкъ, бользнь человыка — зложелательствомъ какихъ-нибудь мионческихъ существъ, сестеръ трясавицъ. Такимъ образомъ этотъ общій принципг причинности, при помощи котораго человъкъ соединяетъ навъстныя . представленія, уясняеть себъ понятія, который ему даеть возможность связать и сгруппировать окружающія явленія, не нужно см'вшивать сътемъ началомъ естественной реальной причинности, который получилъ такую силу съ развитіемъ современнаго научнаго міровозартнія. Когда мы говоримъ объ общемъ принципт причинности, мы разумбемъ такъ сказать элементарныя стремленія привести въ какую бы то ни было *связь* окружающія явленія; безь этой связи челов'якь не только не можетъ доработаться до какого бы то ни было міровозарвнія, до какой бы то ни было науки, но и до простаго пониманія предметовъ. Это — условіе нашего познанія. Совершенно другой характеръ имбетъ начало естественной причинности: для того, чтобъ опредълить реальное, основанное на опытъ, отношение явлений, для того, чтобъ привести въ связь грозу съ эдектричествомъ, звукъ-съ колебаніями матеріи, нужны продолжительныя научныя изслідованія, долгіе опыты и наблюденія. Въ основаніи этихъ сложныхъ опытовъ должна уже находиться возможность связывать и группировать явленія вообше.

Юмъ говорилъ, что понятіе о причинности 1) не насаждено въ насъ сверхъестественной силой, а выработывается изъ опыта и 2) что оно не можетъ быть приложено къ области сверхъопытныхъ явленій. Ученіе Локка и Юма въ своемъ отрицаніи прежней метафизики было великимъ шагомъ впередъ. Оно замѣнило произвольное толкованіе понятій разумнымъ, естественнымъ объясненіемъ; изъ области неопредѣленныхъ туманныхъ представленій о прирожденныхъ въ насъ идеяхъ вопросъ былъ перенесенъ на почву научную; факты излагались просто и ясно, мыслители не опирались на предвзятыя положенія. Извѣстно, что Локкъ сравниваетъ познавательную способность съ листомъ бѣлоп неисписанной бумаги; впечатлѣнія, получаемыя нами изъ опыта, каждый разъ оставляютъ слѣды въ нашемъ духѣ, какъ бы постепенно исписываютъ эту бумагу;—такъ образуются понятія. По пятамъ Локка

Юмъ говоритъ относительно принципа причинности, что воспринятыя нами впечатлѣнія группируются и соединяются въ насъ по психологическому закону ассоціаціи представленій; отсюда возникаетъ призычка, которая заставляетъ насъ приводить въ причинную связь и группировать представленія. Но и Локкъ и Юмъ упустили изъ виду другую сторону вопроса: сравнивая человѣческій духъ съ листомъ бѣлой бумаги, они обратили все вниманіе на черты и пятна, которыя оставляють на этой бумагѣ опытныя впечатлѣнія; но вѣдь любопытенъ и самъ листъ, сама почва, которая воспринимаетъ впечатлѣнія, самъ разумъ. Къ изслѣдованію самого разума, всей познавательной способности вообще, ея объема и ея границъ обратился Кантъ, воз бужденный ученіемъ Юма, которое послужило для него стимуломъ для дальнѣйшихъ разысканій.

Воть къ какому выводу пришелъ Кантъ относительно принципа причинности: этотъ принципъ—основное естественное понятіе нашего разума и предшествуетъ всякому опыту; онъ имѣетъ безграничное приложеніе въ самой области опыта, но никакого значенія за его предълами. Оставляя въ неприкосновенности вторую половину положенія, можно, согласно съ современнымъ способомъ выраженія, слѣдующимъ образомъ измѣнить первую: «принципъ причинности основывается на нашей организаціи, и, какъ способность, предшествуетъ всякому опыту». Одинъ изъ новѣйшихъ критиковъ Канта предполагаетъ, что можетъ быть современемъ основы принципа причинности будутъ найдены въ механизмѣ движенія рефлексовъ.

Такимъ образомъ мы видѣли, какъ пришелъ Кантъ къ критикъ чистаго разума, мы видѣли, въ какой тѣсной связи стоитъ его ученая дѣятельность съ трудами англійской скептической школы, какъ частный вопросъ, поставленный Юмомъ относительно принципа причинности, въ изслѣдованіи Канта является обобщеннымъ и принимаетъ форму,—насколько возможны вообще апріорныя независимыя отъ опыта понятія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видѣли, какъ Кантъ разошелся съ своимъ предшественникомъ въ рѣшеніи этого вопроса: то начало, которое Юмъ производилъ изъ опыта, Кантъ возводитъ на степень апріорнаго. По мнѣнію Канта, уже для того, чтобъ возможенъ былъ какой-либо опытъ, необходимо имѣть способность соединять подлежащее со сказуемымъ, субъектъ съ предикатомъ, причину со слѣдствіемъ. Въ другомъ вопросѣ—какова область приложенія нашихъ по-

патій— Кантъ сошелся съ Юмомъ и гораздо обширнъе, гораздо обстоятельнъе Юма развилъ свои положенія. Сущность отвъта у нихъ была общая: понятія наши могутъ прилагаться только въ области явленій опытныхъ.

Перейду теперь къ краткому обзору самой критики.

Всѣ предметы, которыми занимается человъческое познаніе, Кантъ дѣлитъ на чувственные и сверхчувственные, т. е. на такіе, которые могутъ быть воспринимаемы нашими внѣшними или внутренними чувствами, зрѣпіемъ, слухомъ, сознаніемъ и т. д., и на такіе, которые нашими чувствами не воспринимаются, напр. объектъ Бога, котораго нельзя наглядно созерцать, который не можетъ быть данъ нашимъ чувственнымъ воспріятіемъ; такіе же предметы—душа и міръ, которые въ единствѣ и цѣльности никъмъ не могутъ быть восприняты.

Представляются два вопроса: что можемъ мы познать о тъхъ н о другихъ предметахъ. — Мы можемъ познать всв чувственные предметы, но лишь такими, какими мы ихъ воспринимаемъ нашими чувствами. Эти предметы даются мий моимъ личнымъ чувственнымъ воспріятіемъ, а потому я и могу ихъ познавать только такъ, какъ они мнъ представляются, т. е. субъективно; но я не имъю права утверждать, чтобъ эти предметы были на самомъ дёлё, въ мірё дёйствительности, такими, какими они являются мнв при носредствъ моихъ чувствъ. Такимъ образомъ въ сферт окружающихъ насъ и подлежащихъ нашему опыту, нашей чувственности предметовъ мы познаемъ не вещи сами по себъ, а только явленія вещей. Объ этомъ знаменитомъ положеніи подробите будетъ мною сказано позже. — Что касается до сверхчувственныхъ предметовъ, то Кантъ говоритъ, что о нихъ мы собственно ничего не можемъ знать: они для насъ непознаваемы, ибо они не даны намъ ни вибшнимъ, ни внутреннимъ чувствомъ. Этимъ самымъ Кантъ не отрицаеть ихъ возможность; онъ только утверждаеть, что путемъ теоретическаго мышленія, путемъ научныхъ доказательствъ нельзя придти ни къ какому заключенію о сверхчувственныхъ предметахъ; (они лежатъ внъ области нашего теоретическаго въдънія. Эти верховные вопросы о сверхъопытныхъ предметахъ Кантъ удаляетъ изъ критики чистаго разума и ръщаетъ ихъ въ критикъ разума практическаго.

Таковы общія задачи, разсматриваемыя въ «Критикъ чистаго разума», такова ея программа. Сочиненіе распадается на три главныя части (для большей простоты я опускаю другія подраздъленія): на трансценден-

тальную (т. е. чистую, независимую отъ опыта) эстетику, аналитику и діалектику. Въ эстетикъ разсматривается первая ступень нашей познавательной способности—чувственность, насколько она можетъ давать независимыя отъ опыта представленія, въ аналитикъ—разсудокъ, насколько онъ содержить въ себъ элементарныя, предшествующія всякому опыту понятія, въ діалектикъ—разумъ, какъ снособность, регулирующая, приводящая въ единство понятія и сужденія и вмъсть съ тъмъ какъ способность, не производящая сама по себъ новыхъ самостоятельныхъ познаній.

Такимъ образомъ въ эстетикъ и аналитикъ разсматриваются условія нашего познанія чувственныхъ предметовъ, въ діалектикъ доказывается невозможность теоретическаго познанія предметовъ, лежащихъ за предълами чувствъ и опыта.

Итакъ въ трансцендентальной эстетикъ разсматривается чувственность, способность, посредствомъ которой предметы даются нашимъ чувствамъ, чувственное созерцаніе — первое непосредственное отношеніе нашей познавательной способности къ извъстному предмету. Подъ соверцаніемъ Кантъ разумъеть непосредственное представленіе предмета въ его единичности и отдъльности, какъ единицы; представление вслъдствіе дійствія отдільнаго единичнаго предмета на наши чувства; это прямое, непосредственное представление объ единичномъ предметъ, который намъ дается внъшнимъ или внутреннимъ чувствомъ. Можно созерцать этот столь, насколько онь единичный предметь; можно созерцать свою мысль въ ея отдельности и единичности. Напротивъ того-понятіе есть также представленіе, но посредственное и обчиее; для образованія понятія нашъ разсудокъ собираеть множество представленій и соединяеть признаки частныхъ единичныхъ представленій въ одно общее. Этотъ столь, эта мысль-предметы созерцанія. Столъ вообще, мысль вообще-предметы понятій. Такимъ образомъ созерцаніе — первая и необходимая ступень для понятія, которое на немъ основывается, познавать ны можемъ только тв предметы, которые произвели на насъ ощущенія, которые даны намъ чувственностью, созерцаніемъ. Только о томъ, что мы созерцаемъ, мы можемъ образовать понятія, и такимъ образомъ всякое наше пониманіе и познаніе должны начинаться съ опыта. Но если всякое познаніе и начинается съ опыта, то -говоритъ Кантъ-это не значитъ, что оно исключительно вытекаетъ изъ опыта, что всю его элементы даются опытома. Задача Канта отыскать, какіе элементы нашего познанія присущи самой нашей познавательной способности, какіе элементы нашего познанія *апріорны*, а не извлечены изъ опыта. Съ этой точки врёнія эстетика разсматриваеть чувственное созерцаніе и подвергаеть изследованію, существують ли апріорныя, независимыя отъ опыта условія созерцанія.

Предметъ всякаго чувственнаго созерцанія мы называемъ явленіемъ. Въ каждомъ явленім мы различаемъ: 1) его содержаніе, матерію, то, что соотвътствуеть нашему ощущенію, что дъйствуеть на нашу способность представленія, что аффицируеть нашу чувственность, и 2) форму, то, что делаетъ возможнымъ созерцать эти ощущенія, что приводить ихъ въ извістный порядокъ. Содержаніе дается намъ ощущеніемъ, но форма, по Канту (и въ этомъ онъ можетъ быть ошибается), уже не можетъ быть ощущениемъ; это то, что предшествуеть опыту, что делаеть его возможнымъ, что лежить готовымъ въ нашемъ умъ, что опредъляетъ извъстныя рамки, въ которыхъ необходимо должно представляться извъстное явленіе. Содержаніе явленія дается намъ изъ опыта—а posteriori; формы, въ которыхъ мы его созерцаемъ, присущи нашей повнавательной способности; онъ находятся въ насъ а priori, до опыта, онъ - условія нашего опыта. Эти формы, которыя Кантъ называетъ также чистыми созерцаніями, носять характеръ всеобщности и необходимости; онъ постоянно однъ и тъже, и если ощущенія безпрестанно мъняются, то формы, подъ которыми мы ихъ воспринимаемъ, остаются одиб и тб же. Эти формы, какъ бы законы нашего созерцанія, суть пространство и время. Вст предметы вит насъ соверцаются нами въ пространствт, вст предметы вообще и внъ и внутри насъ созерцаются нами во времени.

Такимъ образомъ мы созерцаемъ всѣ предметы въ пространствѣ и времени. Эти формы нашего созерцанія должны предшествовать всякому опредѣленному созерцанію; онѣ—его условія. Но, если пространство и время—апріорныя, присущія намъ формы нашего созерцанія, при посредствѣ которыхъ воспринимаются всѣ наши представленія,—онѣ никакъ не прирожденныя понятія: онѣ—единичны, ибо для насъ существуетъ только одно пространство, заключающее въ себѣ всѣ отдѣльныя пространства, какъ свои части, и одно время; между тѣмъ понятіе—результатъ многихъ единичныхъ представленій. Слѣдовательно нужно помнить, что пространство и время—не понятія, а созерщамія, или лучше присущія нашей организаціи формы соверцанія.

Эти формы для насъ необходимы и всеобщи. Потому, что онъ необходимы и всеобщи, потому что онъ - данныя въ насъ апріорныя условія всего нашего познанія, — возможны, Кантъ, чистыя математическія аксіомы, которыя даются томъ, а созерцаніемъ. Возьмемъ положеніе — прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. Это положеніе необходимо и всеобще; оно для насъ безусловно; сомнаваться въ истина такого положенія, высказать предположеніе, что кратчайшее разстояніе между двумя точками есть кривая — будеть отрицаніемъ всего нашего мышленія. Для насъ невозможно представленіе, чтобъ когда-либо въ области опыта явился случай, противоръчащій этому положенію, и именно потому, что самъ опытъ обусловливается такого рода апріорными представленіями, они ему предшествують. Это положеніе доопытное. Но какимъ образомъ-спрашиваетъ Кантъ-соединяемъ мы между собой оба представленія—о прямой линіи и о кратчайшемъ разстояніи между двумя точками. Мы должны для этого созерцательно, наглядно представить себъ прямую линію, превратить отвлеченное понятіе о прямой линіи въ конкретное представленіе, построить нонятіе — провести линію. Такого рода построеніе невозможно безъ представленія о пространствъ. Безъ присущей намъ формы пространства мы не могли бы представить себъ прямой линіи, не получили бы аксіомы, что прямая есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. Такимъ образомъ – говоритъ Кантъ – присущая намъ форма пространства дёлаетъ возможными чистыя геометрическія аксіомы.

Ариометика, какъ наука о числовыхъ величинахъ и отношеніяхъ, возможна только подъ условіемъ времени, какъ даннаго въ насъ чистаго соверцанія. Мы образуємъ 7+5=12, послѣдовательно присоединяя одну единицу къ другой, одну единицу послю другой; всякое такое послѣдовательное отношеніе между предметами есть отношеніе ихъ во времени, и всякое счисленіе непремѣнно предполагаетъ время, какъ данное до опыта, до самаго счисленія, какъ чистую форму созерцанія, которая и есть условіе ариометики и алгебры.

Для понятія о движеніи необходимы—говорить Кантъ—предшествующія представленія о времени и о пространствъ; безъ этого оно было бы невозможно. Апріорность времени и пространства дають возможность положеніямъ чистой механики.

Такимъ образомъ чистыя формы нашего созерцанія---пространство

и время—одинъ изъ аттрибутовъ нашей познавательной способности, одно изъ условій самого опыта. Имъ посвящена эстетика, которая у Канта имъетъ значеніе науки о чувственномъ воспріятіи (отъ греческаго слова «айстезисъ»). Слово эстетика онъ не употребляетъ въ общепринятомъ смыслѣ теоріи прекраснаго.

Въ аналитикъ Кантъ переходитъ къ разсмотрънію основныхъ поиятій. Явленія даются намъ чувственностью, схватываются нами подъ опредъленными формами пространства и времени, но для познанія необходимо сверхъ этого соединеніе, связь между явленіями и представленіями, которая дала бы возможность образовать понятія и сужденія. Все мышленіе, всв логическія отправленія разсудка состоять именно въ группировкъ явленій въ опредъленныя соединенія, въ представленіяхъ этой связи. Необходимымъ условіемъ для этого соединенія является, по Канту, единство самосознанія, наше личное я, къ которому подводятся всв разнообразныя созерцанія и представленія при посредствъ извъстныхъ формъ нашего мышленія. Въ аналитикъ Канть разлагаетъ, анализируетъ все множество понятій и сужденій и сводить ихъ въ простымъ элементарнымъ понятіямъ, въ чистымъ принципамъ мышленія. Эти принципы Кантъ, по примъру Аристотеля, называетъ категоріями. Онъ принимаеть 12 формъ сужденія и сводить ихъ къ 12 категоріямъ-основнымъ понятіямъ: единство, множество, все (категоріи количества); положеніе, отрицаніе, ограниченіе (категоріи качества); субстанція, причинность, взаимодъйствіе (категоріи отношеній); возможность и невозможность, бытіе и небытіе, необходимость и случайность (категоріи модальности). Несмотря на то, что Кантъ придавалъ своимъ категоріямъ громадное значеніе и ставилъ себѣ въ особую заслугу открытіе таблицы категорій, эта часть «Критики чистаго разума» оказывается довольно несостоятельной. На ней чувствуются следы старыхъ схоластическихъ произвольныхъ подразделеній. Для того, чтобъ вывести свои 12 общихъ принциповъ мышленія, Кантъ принялъ на слово, безъ провърки, какъ общепризнанную истину 12 формъ сужденія и, считая эти якобы первобытныя формы доказанными, свелъ уже ихъ къ основнымъ понятіямъ. Какъ бы то ни было, нужно удивляться остроумію Канта въ приложеніи категорій къ дальнійшему развитію его доктрины и признать вполнъ справедливымъ его стремление разслъдовать и систематизировать логическія отправленія нашего разсудка.

Не подлежить сомнению то, что вся окружающая насъ действи-

тельность дается намъ подъ извъстными субъективными условіями нашей повнавательной способности, по Канту-подъ извъстными формами нашей чувственности и нашего разсудка. Міръ фактовъ мы познаемъ не абсолютно, не безусловно, какъ учила старая метафизика, а относительно. Всякій предметь, по ученію Канта, можеть быть воспринять нами только черезъ посредство опредъленныхъ формъ нашего созерцанія — во времени и въ пространствъ — можетъ быть понять черезъ посредство извъстныхъ отправленій нашего имышленія. Это лежить въ нашей организаціи, въ физіологическихъ условіяхъ нашихъ способностей. Къ въдънію этихъ способностей относится опредъленный кругъ предметовъ, именно такихъ, которые даются намъ опытомъ, которые дъйствуютъ на наши ощущенія, укладываются въ формы нашего созерцанія и связываются логикой нашего разсудка, а именно-міръ явленій-феноменова. Вещь сама по себъ-das Ding an sich, т. е. сущность вещей, ихъ абсолютное значеніе, кантовскіе нумены--- не доступны для нашихъ умственныхъ силъ, не подлежать нашей оценкь, находятся вне условій нашей познавательной способности, чужды для насъ, а потому и безъинтересны. Обращаясь къ разследованію этихъ нуменовъ, мы употребляемъ неправильно наши умственныя способности, мы необходимо приходимъ къ ложнымъ выводамъ, перенося наши субъективныя и относительныя представленія, нашу людскую мысль на объекты иной природы и иныхъ свойствъ.

Въ слъдующій разъ-о феноменахъ и нуменахъ.

ЛЕКЦІЯ ОДИННАДЦАТАЯ.

Кантъ. (Продолжение).

Феномены и нумены.—Діалектика Канта.—Научное вначеніе его системы.— Культурно-историческое положеніе его ученія.

Идея зависимости нашихъ представленій о мірѣ отъ нашихъ органовъ, отъ нашей познавательной способности, эта идея, которая лежитъ въ основѣ ученія Канта о феноменахъ и нуменахъ, не составляетъ исключительной принадлежности его философской системы. Кёнигсбергскій философъ далъ ей только широкое развитіе, сдѣлалъ ее средоточіемъ своего міросозерцанія.

Не подлежить сомнению, что Канть обязань основнымь возореніемъ своимъ отчасти Локку и Юму. Въ окружающихъ насъ предметахъ Локкъ отличаетъ два порядка свойствъ. Первобытными или примарными онъ называеть тъ свойства тъль, которыя остаются при нихъ, которыя присущи имъ несмотря на всевозможныя измѣненія, которымъ сами тъла подвергаются: такія первобытныя особенности, по мивнію Локка, суть протяженіе, непроницаемость, извъстная форма. Это - реальная, действительная сторона предметовъ, объективная сторона нашего познанія. Другія качества, какъ цвъть, звукъ, запахъ, вкусь, Локкъ считаетъ второстепенными, секундарными; они существують не въ самихъ тълахъ, а только въ нашихъ ощущеніяхъ; наша чувственность неправильно приписываеть эти особенности самимъ тёламъ, между тёмъ какъ онё-только продукты нашихъ личныхъ впечатленій. Это — субъективный элементъ нашего познанія. Юмъ призналъ всъ качества предметовъ за второстепенныя въ смыслъ Локка. Объективнымъ, реальнымъ, дъйствительно существующимъ виъ насъ осталось для него одно неопредъленное иточто, одно бытіе, какой-то неясный центръ и фокусъ, въ которомъ соединяются всв кажущіяся черты предмета. Это неопределенное инчипо стало перво. образомъ кантовскаго нумена, вещи самой по себъ.

Какъ я уже сказалъ въ прошлый разъ, мы можемъ, по Канту, познавать предметы только подъ опредъленными условіями нашей познавательной способности. Если содержаніе ихъ дается намъ изъ опыта, то форма, подъ которой мы созерцаемъ и мыслимъ ихъ, присуща намъ самимъ, нашей организаціи. Мы необходимо должны созерцать предметы въ пространствъ и во времени, и только къ этимъ предметамъ, даннымъ чувственностью, мы можемъ прилагать формы нашего мышленія, наши основныя понятія. Такимъ образомъ мы познаемъ предметъ, какъ явленіе, какъ феноменъ. Вещь сама по себъ — das Ding an sich — нуменъ, то, что присуще предмету самому по себъ, безъ отношенія къ нашей познавательной способности, безъ отношень къторома предмета, которая недоступна нашей учраственному созерцанію, она непозна

ваема для насъ, какъ всякій сверхчувственный предметь. Предметъ самь по себъ для насъ не болбе, какъ неизвъстное, какъ иксъ, который лежить въ основъ всъхъ явленій, но о которомъ мы ничего не можемъ знать. Въ понятіи о предметь самомъ по себъ не содержится ничего положительнаго; объ нуменахъ мы ничего не можеть заключить; мы ихъ противопоставляемъ только извъстнымъ намъ феноменамъ, они начинаются для насъ за границей нашей чувственности, нашего созерцанія, нашего опыта. Понятіе о нумень, такъ сказать, пограничное (Grenzbegriff); въ немъ отрицается феноменъ. То, что не явленіе, не можеть быть предметомъ опыта; разсудокъ не можеть перескочить за предълы нашей чувственности, въ области которой намъ даются предметы, не можетъ изследовать нумены. Науки съ гордымъ названіемъ онтологіи, науки о бытіи вещей вообще, объ изследованіи этого бытія, которое не дается намъ опытомъ — такой науки существовать не можетъ. Ее должна замънить, по мнънію Канта, аналитика, анализъ нашего разсудка и основныхъ формъ нашего мышленія. Въ концъ своей аналитики, т. е. окончивъ изслъдованіе вопроса объ условіяхъ познанія чувственныхъ предметовъ и переходя къ діадектикъ, къ доказательствамъ о невозможности познаванія сверхчувственнаго, Кантъ следующимъ образомъ характеризуетъ сферу нашей познавательной способности: «Теперь мы не только объёхали область чистаго разсудка, не только осмотрительно развъдали всъ предълы, но и измърили ихъ и опредълили мъсто каждому предмету этой области. Но это страна-только островъ, и самой природой заключена въ неизмънныя границы. Это страна истины (чудное слово!), омываемая обширнымъ и бурнымъ океаномъ, мъстопребываниемъ призраковъ, на которомъ видивющіеся въ туманахъ мели и льды принимаютъ для насъ обманчивыя формы новыхъ береговъ; эти призраки безпрестанно вселяють пустыя надежды въ мореплавателя, мечтающаго о новыхъ открытіяхъ, увлекаютъ его въ приключенія, отъ которыхъ онъ не въ сидахъ отстать и съ которыми онъ не можетъ покончить». Эта страна туманныхъ фантастическихъ образовъ и была спеціальнымъ предметомъ изследованія догматической метафизики. Въ трансцендентальной діалектикъ Кантъ разсматриваетъ объекты метафизиковъ, предметы ихъ умствованій и толкованій и доказываеть невозможность научнаго и теоретическаго изследованія этихъ предметовъ.

Въ эстетикъ разсматривалось чувственное созерцаніе, въ аналитикъ-

разсудокъ и его понятія, въ діалектикъ — разумъ и его идеи. Отдъльныя представленія, чувственныя созерцанія служать основой понятіямь и сужденіямъ; разумъ стремится къ идеямъ, къ умозавлюченіямъ изъ самихъ понятій и сужденій; онъ стремится приводить наши понятія къ высшему единству, обобщать ихъ, объединять наши познанія, отысвивать безусловное. Это стремление нашего разума въ безусловному. стремленіе, направленное на совокупность явленій, на ихъ единство и систему, вполив естественно, какъ говоритъ Кантъ. Но оно и должно оставаться стремленіемь: идея должна насъ побуждать отъ каждаго обусловленнаго предмета переходить къ его условіямъ, отъ условій низшаго порядка, къ условіямъ высшаго; но она не должна насъ обманывать. не должна насъ обольщать тъмъ, что въ этой цъпи нашего изследованія мы будто бы наконецъ пришли къ последнему звену, что мы окончили, прошли весь рядъ условій и достигли до безусловнаго. Какое бы то ни было познаніе безусловнаго для насъ невозможно. Припомните, что для познанія предметь должень быть дань намь опытомь, онь должень быть воспринять чувственнымъ созерцаніемъ и связанъ разсудкомъ въ понятіе. Созерцать мы можемъ только подъ опредёленными формами пространства и времени, следовательно одни явленія. Безусловное сокрыто для насъ. Потому и разумъ не долженъ выходить изъ своей роли регулятивной способности, т. е. такой, которая приводить въ порядокъ. приводить къ единству наши сужденія, которая заставляеть нась въ нашихъ изследованіяхъ предметовъ идти все дальше и дальше, отъ одного условія къ другому, отъ одной причины къ другой. Но разумъ, по Канту, не есть способность конститутивная, т. е. не можетъ создавать самостоятельных в познаній объ абсолютномъ, не можетъ вскрыть для насъ, объяснить намъ безусловное. А между темъ мы обыкновенно подвергаемся совершенно естественному обману: то безусловное, которое должно для насъ играть роль никогда педостижимой цели. дожно представляется для насъ данныма, и мы начинаемъ прилагать къ нему наши субъективныя понятія; тъ сужденія, которыя могутъ только относиться къ обусловленному, къ предметамъ чувственнымъ, къ сферк нашего опыта, мы переносимъ въ область абсолютнаго, лежащаго вив нашего опыта, вив нашего теоретическаго въдънія. Задача кантовой діалектики — разоблачить это естественное заблужденіс нашей познавательной способности и доказать, что о предметахъ, находящихся впѣ пашего чувственнаго опыта, объ объектахъ нашихъ

идей мы не можемъ имъть никакихъ познаній. Въ кантовой діалектикъ обнаруживается несостоятельность призрачныхъ положеній старой метафизики. Въ діалектикъ Кантъ разбираетъ три порядка идей: идеи психологическія, космологическія и теологическія; ихъ предметы—душа, вселенная, божество. Эти предметы разсматривались метафизиками въ чистой, т. е. независимой отъ опыта, апріористической психологіи, чистой космологіи и чистомъ богословіи. Кантъ доказываетъ невозможность подобныхъ изслъдованій въ научномъ теоретическомъ отношеніи.

Чистая психологія—говорить Канть—выходила изъ положенія я мыслю, и изъ этого положенія приходила къ выводамъ о душть, какъ о существъ единомъ, простомъ, безтълесномъ и въчномъ. То я, которое въ положения мыслю, играетъ только роль подлежащаго, я, которое само по себъ не есть понятіе, а только связь, подъ которую необходимо подводятся всв наши познанія, точка, въ которой сходятся воспринимаемыя нами впечатабнія, - это я она разсматривада, какъ предметъ самъ по себъ и предавалась софистическимъ заключеніямъ объ его свойствахъ. Еслибъ-говорить Кантъ-мы подвергли наблюденіямъ игру нашихъ мыслей, еслибъ мы обратились къ естественнымъ условіямъ нашего мышленія, то мы получили бы нѣчто подобное физіодогіи внутренняго чувства, и можеть быть тогда, путемъ опыта, мы бы могли разследовать его проявленія; но въ такомъ случав это не было бы чистой психологіей. Чистая психологія, которая средствами отвлеченного мышленія, помимо опыта, добивается придти въ заключеніямъ о мыслящемъ существъ, невозможна.

Чистая космологія или чистая физика разсматривала независимо оть опыта вселенную. Для того, чтобъ показать невозможность придти такимъ путемъ къ какимъ бы то ни было заключеніямъ о вселенной, Кантъ приводить два ряда положеній, которыя другъ другу противорѣчать и которыя поэтому онъ называеть антиноміями. Онъ доказываеть истину и того и другаго ряда, онъ доказываеть напр. метафизически, что вселенная имѣла начало во времени и ограниченна въ пространствѣ и тутъ же приводить доказательства противоположнаго положенія. Общій выводъ тотъ, что оба заключенія — ложны, что они софизмы нашего разума, которому предметь вселенной, разумая подъ ней совокупность не однихъ явленій, но и вещей самихъ по себѣ, не можеть быть данъ, а потому и не доступенъ. Разсуждать

мы можемъ только о мірѣ явленій, къ которому прилагаются наши условныя представленія; въ этомъ мірѣ явленій мы можемъ вскрывать опредѣленные законы и соотношенія, которыхъ однако мы не имѣемъ никакого права прилагать къ вещамъ самимъ по себѣ. Разъ какъ мы вышли изъ нашихъ границъ, мы предоставляемъ нашему мышленію поле для самыхъ произвольныхъ умствованій и софизмовъ; въ этом сферѣ мы можемъ приходить къ самымъ противорѣчащимъ выводамъ, потому что для такихъ изслѣдованій у насъ не можетъ быть ни провѣрки, ни критерія.

Въ чистой теологіи метафизики дерзали, опираясь на софизмы нашего человъческаго мышленія, умствовать о свойствахъ абсолютнаго существа, о божествъ. Я долженъ замътить при этомъ, что Канть быль человъкъ религіозный; его въра въ Божество засвидътельствована имъ особенно выразительно въ «Критикъ практическаго разума». Бытіе Божіе для Канта-необходимый постулать, необходимое требованіе нашего практическаго разума, нашей воли, необходимое условіе морали. Богъ для Канта-высшая интеллигенція, источникъ нашего блаженства, существо, которое устанавливаетъ равновъсіе между міромъ нравственнымъ и міромъ необходимости; оно необходимо для нашихъ личныхъ потребностей, для нашей практической дъятельности, для нашей нравственности. Вооруженный этой върой, Кантъ повазываетъ несостоятельность метафизическихъ умствованій о божествъ, недоступность теоретического спекулятивного познанія о Богъ. Къ верховнымъ вопросамъ о безсмертін души, о свобод'в челов'вческой воли, о бытін Бога, Кантъ обращается въ «Критикъ практическаго разума» и доказываетъ эти положенія, основываясь на доопытныхъ, апріористическихъ, присущихъ человъку требованіяхъ нравственныхъ, на идеъ долга и морали. Но разсуждать объ этихъ самыхъ предметахъ съ точки зрънія чистаго, теоретическаго разума онъ отказывается и признаеть за нашей познавательной способностью невозможность спекулятивно добиваться ръшенія вопросовъ о какихъ бы то ни было предметахъ сверхчувственныхъ. Такъ напр. въ учени о свободной волъ Кантъ въ «Критивъ чистаго разума» высказывается въ пользу всеобщей необходимости. Всв явленія нашего міра подчинены причинной связи; одно обусловливается другимъ, другое третъимъ; признать въ этомъ міръ явленій начало свободы значить нарушить ціпь взаимных отношеній явленій, значить -- отказаться отъ попытки разумнаго объясненія

міровых законовъ. Для нашего міра, какъ мы его понимаемъ, естественная причинность имъетъ всеобщее приложеніе, и человъкъ, насколько онъ явленіе, въ своихъ дъйствіяхъ подлежитъ этому общему началу. Но въ «Критикъ практическаго разума» Кантъ признаетъ въ человъкъ правственное, независимое отъ опыта начало, идею долга. Правда, что свобода воли непонятна, но если ее нътъ, то, по миънію Канта, нътъ и нравственности; потому—заключаетъ онъ—свобода должна существовать. Онъ примиряетъ свое новое положеніе съ взглядомъ, высказаннымъ въ «Критикъ чистаго разума», тъмъ, что, отрицая свободу въ явленіяхъ, онъ признаетъ возможность ее въ вещахъ самихъ по себъ; онъ требуетъ ее въ человъкъ.

Я остановился на «Критикѣ чистаго разума», какъ на самомъ крупномъ произведеніи отвлеченной мысли конца прошлаго вѣка. Въ немъ Кантъ разрушиль положенія старой метафизики и пришелъ къ выводу о невозможности теоретическаго познанія, переходящаго за предѣлы нашего опыта. Онъ призналъ полную несостоятельность чистаго разума въ вопросахъ о сверхчувственныхъ и безусловныхъ предметахъ и опредѣлилъ такимъ образомъ границы нашей познавательной способности. Онъ указалъ на тѣсную зависимость предметовъ нашего познанія отъ нашихъ субъективныхъ условій и своей строгой критикой вскрылъ и осудилъ неудачныя поползновенія человѣка проникнуть въ чуждую его умственнымъ дарованіямъ, въ недоступную для его теоретическихъ изслѣдованій область метафизическихъ призраковъ.

Періодъ исторіи нѣмецкой философіи, обнимающій первую треть XIX вѣка и ознаменованный дѣятельностью Шеллинга и Гегеля, можно назвать временемъ реакціи старыхъ метафизическихъ представленій, которая совпадаетъ съ реакціей въ сферѣ политической и съ господствомъ обскурантныхъ литературныхъ теорій романтизма. Новые самостоятельные и свѣжіе элементы міровоззрѣнія вносятся въ это время не отвлеченной философіей, а болѣе спеціальными учеными трудами, преимущественно историко-критическими, которые подготовляютъ почву для новаго міросозерцанія и затѣмъ уступаютъ первенствующую роль направленію естественнонаучному. Въ настоящее время новѣйшіе нѣмецкіе натуралисты возвращаются къ Канту, какъ къ великому основателю критицизма, и своими точными изслѣдованіями подтверждаютъ нѣкоторыя изъ его главныхъ основоположеній.

Нужно обратить вниманіе на то, что Кантъ, этотъ смедый отри-

цатель метафизики, тъмъ не менъе находился отъ нея въ извъстной зависимости, которая особенно сильно обнаружилась на формъ, на томъ витшнемъ повроб, который онъ придавалъ своимъ сочиненіямъ, на казенных сходастических подразделеніях, въ которыя онъ заковывалъ свое изложение. Но съ другой стороны это самое обстоятельство способствовало распространению его теоріи въ ученомъ цехъ того времени, потому что ученыя корпораціи всегда и вездъ заражены извъстнымъ формализмомъ и отступление отъ вибшнихъ оффиціальныхъ пріемовъ принимаютъ за отсутствие научности, положительности, за признакъ ученаго легкомыслія. Философія Канта въ вонцѣ прошлаго вѣка пріобрела значительную популярность въ Германіи. Къ сожаленію, последующія историческія условія, въ которыя поставлена была Германія и Западная Европа вообще, не позволили широко развиваться строго-научнымъ, раціональнымъ сторонамъ кантова ученія и напротивъ того благопріятствовали росту и распространенію его односторонностей или уродливымъ толкованіямъ, каррикатурнымъ подражаніямъ его непонятыхъ положеній. Истиннаго последователя нашель Кантъ въ первую треть XIX въка только въ лицъ Артура Шопенгауера, котораго труды, долго пренебрегаемые, долго находившіеся въ опаль, благодаря распространенію и процебтанію реставраціонных философскихъ системъ, лишь въ последнее время обратили на себя вииманіе нъмецкихъ мыслителей. Новая наука, опираясь на новыя данныя, подтвердила ту апріорность, доопытность принципа причинности, которую проповъдовали и Кантъ и Шопенгауеръ; особенно послъдній развиль въ этомъ отношении учение Канта и, возбужденный системой кёнигсберскаго философа, предвосхитиль, такъ сказать, выводы современныхъ натуралистовъ.

Первал безсознательная дѣятельность разсудка состоитъ, по ученію новыхъ естествоиспытателей, въ томъ, что ощущеніе, получаемое отъ какого-либо возбужденія, она воспринимаетъ, какъ результатъ извѣстной причины и эту причину признаетъ за объектъ внѣшняго міра. То же отношеніе, которое такимъ образомъ эта дѣятельность разсудка устанавливаетъ между нашимъ тѣлеснымъ ощущеніемъ и внѣшнимъ міромъ, она переноситъ и на измѣненія, совершающіяся въ самыхъ объектахъ. Связь, въ которую мы приводимъ наше ощущеніе съ в̀нѣшнимъ мотивомъ къ этому ощущенію, мы необходимо усматриваемъ и во взаимныхъ отношеніяхъ двухъ точекъ, перемѣняю-

щихъ свое положеніе. Ощущеніе само по себѣ только данное для нашего разсудка; разсудовъ, въ силу присущей ему способности, соединяетъ это данное съ представленіемъ о внѣшней причинѣ, и только такимъ образомъ приходитъ къ познаванію внѣшняго міра, обращая наше субъективное ощущеніе въ представленіе объ объективномъ предметѣ-Такимъ образомъ этотъ принципъ причинности, дающій намъ возможность всякаго опыта, всякаго познанія внѣшняго міра, присущъ намъ до опыта и составляетъ необходимую принадлежность нашей органи заціи. Это необходимый логическій законъ, которымъ самъ опытъ обусловливается и который поэтому никогда никакимъ опытомъ не можетъ быть опровергнутъ. — Эти выводы Шопенгауера, обоснованные на изученіи Канта, совершенно согласны съ заключеніями извѣстнаго берлинскаго профессора Гельмгольца, который пришелъ къ нимъ въ недавнее время въ своей «Физіологіи оптики».

Но «Вритика чистаго разума» важна для насъ не по одному научному своему значенію. Она является для насъ высшимъ и самымъ ръзкимъ выражениемъ тъхъ иден о субъективности, объ относительности нашихъ познаній, которыя въ XVIII въкъ носились въ воздухъ. Кантъ является для насъ поборникомъ этихъ идей въ области отвле. ченной философіи. Французскіе энциклопедисты (Даламберъ) сомнівались въ возможности познать истинные предметы. Нъмецкій математикъ, физикъ и витстт съ тъмъ литераторъ того времени Лихтенбергъ ръзко высказываетъ, что человъкъ не можетъ отръшиться отъ субъективныхъ условій своей познавательной способности: «Когда мы думаемъ, что видимъ предметы», говоритъ онъ, «мы видимъ только самихъ себя. Все, что мы можемъ познать въ міръ, --- это насъ самихъ и въ насъ происходящія измененія. Если нечто оказываеть на насъ свое дъйствіе, то это дъйствіе зависить не только отъ предмета дъйствующаго, но и отъ того, на котораго онъ дъйствуетъ». Мы увидимъ, какъ эти самыя идеи войдутъ въ Фауста, какъ колко будетъ трунить Мефистофель — этогь выразитель отрицательных в тенденцій самого Гёте-надъ неуклюжими пріемами, надъ праздными заключеніями метафизики. На запросы Фауста, на его стремленія познать сущность вещей, источники жизни, вызванный имъ земной духъ холодно отвътить ему: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir! > - «Не мит подобенъ ты, а тому духу, котораго ты постигаешь!» Это - грозное указаніе на границы, въ которыя заключены

силы человъческаго познаванія, на невозможность для насъ отръшиться отъ нашей субъективности. Въ сущности это знаетъ и самъ Фаустъ; только онъ не можетъ ужиться съ мыслью о своей ограниченности, онъ не можетъ свыкнуться съ необходимыми рамками своего бытія. Онъ самъ указываетъ на тотъ же принципъ субъективности нашихъ познаній, когда тупоумный Вагнеръ говоритъ о наслажденіи переноситься въ духъ извъстнаго времени:

> «Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; Was ihr den Geist der Zeiten heisst, Das ist im Grund der Herren eigener Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln».

(Мой другъ, прошедшее — для насъ книга о семи печатяхъ; то, что вы называете духомъ временъ, не болъе какъ собственный духъ господъ ученыхъ, въ которомъ отражаются времена).

Эта тирада вовсе не направлена, какъ полагаютъ нъкоторые комментаторы, исключительно противъ тъхъ историковъ-фантазеровъ, которые въ угоду своему воображенію искажають въ своемъ ложномъ воспроизведенім историческій матеріаль; смысль ея коренится глубже: это выражение общей идеи нашей субъективности. Гёте говаривалъ на старости Эккерману: «Я писалъ морфологію растеній, когда еще ничего не зналь о Кантъ, но тъмъ не менъе она вся въ духъ его ученія. Различение субъекта отъ объекта и то возаръние, что всякая тварь существуетъ сама по себъ, и что пробковое дерево произрастаетъ не для того, чтобъ намъ было чемъ закупоривать бутылку, - эти взгляды я разделяю съ Кантомъ и радуюсь, что мы съ нимъ сопілись». Такимъ образомъ эта идея о разграниченіи объективнаго и субъективнаго, эти представленія объ относительности нашихъ познаній жадно вбираются эпохой, развиваются въ философской системъ Канта, въ великой поэмъ Гете. На самоувъренныя притязанія человъка обнять духомъ своимъ всю сущность бытія, проникнуть въ бездонныя пропасти и взобраться на поднебесныя высоты мірозданія, и на тотъ вопль отчаянія, который вырывается изъ его груди при видъ невозможности осуществить подобные замыслы, эпоха можетъ прошипъть ему ироническое слово Мефистофеля:

• Du bist am Ende — was du bist.
Setz' dir Perrücken auf von Millionen Locken,

Setz' deinen Fuss auf ellenhohe Socken, Du bleibst doch immer, wast du bist.*).

Въ парадлель къ идеямъ о субъективности, объ относительности нашихъ повнаній; должно было необходимо развиться болѣе мягкое, болѣе гуманное отношеніе къ человѣческимъ заблужденіямъ, которыхъ просвѣщенный умъ не могъ уже слѣпо заносить въ разрядъ преступленій, за которыя онъ отказывался безапелляціонно осуждать людей.

Мы застаемъ развите идеи свободы убъжденій и терпимости, которая получила полное выраженіе въ нъмецкой литературт, въ «Натанъ» Лессинга. «Еслибъ Богъ», говоритъ Лессингъ, «этотъ великій борецъ за правду, въ правой рукт держалъ заключенной всю истину, а въ лъвой — только въчное, дъятельное стремленіе къ ней, хотя бы даже съ дополнительнымъ условіемъ втчно заблуждаться, и сказалъ бы мнт: выбирай! я смиренно припалъ бы къ его лъвой рукт и сказалъ бы: Ее подай мнт, въдь чистая истина только Тебъ одному доступна!» Это краснортчивое признаніе Лессинга имтетъ глубовій смыслъ, тотъ самый смыслъ, мм. гг., которымъ исполнена «Критива чистаго разума»: абсолютная, безусловная истина, сущность міра и бытія — недоступны для нашего повнаванія; сосредоточимъ же вст наши силы на томъ, что намъ людямъ доступно, выберемъ и признаемъ истину относительную, истину міра явленій, другими словами, истину человтческую, маучную.

лекція двънадцатая.

Натанъ Мудрый.

Теомогическія занятія Лессинга.—Идея «Натана». Притча. — Типы жидовъ въ средніе въка, въ XVI въкъ. Натанъ—жидъ XVIII въка.—Художественное и образовательное значеніе пьесы (сравненіе съ «Гёцемъ»).

Въ послъдніе годы своей жизни Лессингъ сосредоточилъ свои занятія на вопросахъ философскихъ и религіозныхъ. Задачи литератур-

(Пер. Павлова.)

^{*) «}Ты то, чёмъ созданъ ты, другъ мой! Кудрявыми украсься паривами, На длинныя ходули стань ногами, — Ты будешь всё самимъ собой!»

ной критики отощли для него на задній планъ, и вибсть съ темъ открылась новая арена для его пытливости, для его благороднаго полемическаго задора. Мы уже видели, какъ привлечено было его вниманіе философской системой Спиневы, возбудившей въ нёмецкомъ критикъ самое живое сочувствіе. Съ другой стороны онъ погрузился въ изучение истории христіанства, священнаго писанія, отцовъ церкви, и такимъ образомъ необходимо долженъ былъ придти въ столкновеніе съ современнымъ ему религіознымъ догматизмомъ. Теоретическимъ изученіемъ, знаніемъ для знанія, завлекательней личной работой въ тиши и замкнутости кабинета Лессингъ не могъ удовлетвориться; это быль истинный литераторь, который всегда искаль распространенія выработанныхъ имъ взглядовъ, приложенія ихъ къ практическимъ нуждамъ общества; не въ его натуръ было исключительное, жреческое служение чистымъ интересамъ науки: въ безкорыстной работъ на общую пользу, въ дъятельной пропагандъ просвътительныхъ идей. въ упорной борьбъ съ общественнымъ предразсудкомъ -- его дарованія обнаруживались съ особенной силой и распускались во всемъ своемъ блескъ.

Съ 1774 года Лессингъ началъ издавать отрывки изъ посмертнаго сочиненія гамбургскаго профессора Реймаруса, которое носило заглавіе «Апологія разумныхъ почитателей божества», и сопровождаль эти отрывки своими собственными примъчаніями и объясненіями. Реймарусъ стояль на точкъ врънія англійскихь деистовь, на сторонъ защитниковъ свободной мысли противъ традиціи и авторитетовъ, на сторонъ терпимости противъ фанатизма и догматической исключительности, Его взгляды раздъляль и издатель фрагментовъ. Не въ преданіи и не въ догит, по митнію Лессинга, заключается сущность христіанства, а въ его духѣ, въ принципѣ дъятельной любей и гуманности, самое широкое приложение котораго должно составлять задачу человека. Противъ издателя фрагментовъ вооружился гамбургскій пасторъ Гёце, котораго мы уже встрътили въ числъ противниковъ Вертера. Съ нимъ завязалась у Лессинга самая ожесточенная полемика, которая окончилась блестящей литературной побъдой нъмецкаго критика, но виъстъ съ темъ поставила его въ очень затруднительныя практическія отношенія. Гёце не ограничивался литературной ареной; онъ ругался надъ противникомъ съ каоедры, въ окружныхъ посланіяхъ и обращался противъ него съ возяваніями къ правительству и консисторіямъ, указывая

на Лессинга, какъ на дерзкаго нарушителя общественнаго спокойствія, который стремится поколебать основы священной римской имперіи. Угрозы его подъйствовали, и мъстныя власти въ Саксоніи и Брауншвейгь наложили запрещение на фрагменты и запретили Лессингу писать чтобы то ни было о религіозных вопросах без разрешенія начальства. Разумъется такого рода мъры возбудили въ обществъ еще большій интересъ къ преследуемымъ фрагментамъ. Но при этомъ Лессингъ былъ стъсненъ въ своей публицистической дъятельности и сверхъ того долженъ быль подумывать о своихъ матеріальныхъ обстоятельствахъ, которыя находились далеко не въ блестящемъ положеніи. Благодаря ожесточенной травле, которой онъ подвергался со стороны обскурантовъ, Лессингъ легко могъ лишиться своего мъста библіотекаря, и такимъ образомъ ему на старости лътъ представлялась печальная перспектива скитальчества и нищеты. Какъ бы то ни было, онъ ръшился продолжать борьбу, но избраль теперь другія средства, едва ли не болье энергическія и действительныя. Свои идеи, свой полемическій матеріаль онъ слиль съ содержаниемъ художественнаго произведения и создаль такимъ образомъ въ «Натанъ Мудромъ» превосходный образецъ тенденцюзной драмы. «Натанъ» появился въ печати въ 1779 году.

Показать, что величайшее требование нравственности, величайшая добродътель состоитъ въ дъятельной любви къ ближнимъ, что эта добродътель независима отъ опредъленнаго въроисповъданія и не обусловливается признаніемъ извъстной догмы, что такимъ образомъ она можетъ быть удъломъ и еврея, и магометанина, и что все величіе дъйствительнаго ученія Христа заключается въ томъ, что духъ его проникнутъ этимъ принципомъ, -- такова задача драмы Лессинга. Вся дъятельность человъка должна сводиться къ этой любви къ ближнему, къ этому сознанію солидарности нашихъ личныхъ и общихъ интересовъ и къ распространению этого совнания въ большинствъ; такова основа гуманности, такъ сказать-естественной, всеобщей религіи. Такимъ образомъ проводится идея нравственной практической даятельности и отрицанія догмативма. Съ нею стоить въ тесной связи идея терпимости къ различнымъ вероисповеданіямъ, такъ какъ, говорить Лоссингъ, всв частныя ученія только историческія формы всеобщей естественной религін, которая выражается въ нашихъ нравственныхъ стремленіяхъ. Религіозный фанатизмъ и исполненное нетерпимости сектаторство невовможны съ признаніемъ относительнаго, а не абсолютнаго, значенія различных в в роученій, такъ какъ они основываются на слѣпой увѣренности въ исключительное превосходство опредѣленной догиы. Это—
излюбленныя иден XVIII в в ка, которыя распространяли англійскіе
деисты, за которыя ратовалъ старикъ Аруэ (Вольтеръ), въ теченіе
всей своей жизни не выпуская знамени съ рѣзкимъ девизомъ «écrasez
l'infame», т. е. фанатизмъ. Лессингъ далъ имъ въ своей драмѣ полное
выраженіе и ею нанесъ глубокую рану тому тупому мертвящему формализму и раболѣпству передъ буквой, которыми былъ проникнутъ нѣмецкій протестантизмъ XVII— XVIII вѣка. «Натанъ» сдѣлался нѣмецкой
національной драмой; его иден срослись съ нѣмецкой національностью.

Средоточіемъ драмы можно назвать ту знаменитую притчу, которую въ третьемъ дъйствіи еврей Натанъ разсказываетъ султану Саладину на его запросъ, какая изъ трехъ религій истинная. Остовъ этого разсказа Лессингъ заимствовалъ у Боккачіо и далъ ему въ драмъ самостоятельную обработку. Задавъ свой вопросъ, Саладинъ даетъ Натану время на размышленіе. Оставшись наединъ, Натанъ, которому задача была предложена совершенно неожиданно, сначала не можетъ придти въ себя отъ изумленія. Категорическій отвътъ на подобный вопросъ, на вопросъ объ истичню, кажется ему невоаможнымъ.

Nathan. «Hm! Hm! — Wunderlich! — Wie ist
Mir denn? — Was will der Sultan? Was? — Ich bin
Auf Geld gefasst, und er will — Wahrheit, Wahrheit!
Und will sie so — so baar, so blank — als ob
Die Wahrheit Münze wäre! — Ja, wenn noch
Uralte Münze, die gewogen ward! —
Das ginge noch! Allein so neue Münze,
Die nur der Stempel macht, die man auf's Bret
Nur zählen darf, das ist sie doch nun nicht!
Wie Geld in Sack, so strich man in Kopf
Auch Wahrheit ein?» *)

^{*) «}Гм! Гм!.... Чудно́
Но какъ же это? Но чего же кочетъ
Султанъ? Я ждалъ, что спроситъ денегъ. Онъ же...
Онъ правды требуетъ, онъ кочетъ правды!
Притомъ наличной, ясной, какъ монета.
Еще добро-бы старан монета,
Которую по въсу оцъняли;
Но это новая, что выдается
По счету; новая, которой цъну
Мы только по чекану увнаемъ!
Такой монетой правда не бываетъ.
Какъ волото въ мъщокъ, онъ кочетъ разомъ
И правду загребатъ себъ въ разсудокъ».
(Перев. Крыкова, Въстн. Евр. 1868, 10—11).

Въ этихъ строкахъ такъ и сквозитъ взглядъ самого Лессинга. Истина-не то, что пятави: отсчиталь, да и положиль въ мъщокъ! Ее нельзя преподнести готовой на тарелев, ее нельзя отсыпать по фунтамъ въ чужую голову. Каждый человъкъ только самостоятельно, только своимъ собственнымъ трудомъ можетъ доработаться до извъстныхъ убъжденій, можетъ дойти до признанія извъстныхъ относительныхъ истинъ, и этимъ трудомъ, этой работой обусловливается для него ихъ кръпость и состоятельность. Еще другое обстоятельство: воть Натанъ, онъ много думалъ, много кажется поработалъ головой, если судить по его складнымъ ръчамъ. А между тъмъ категорическій, ръщительный отвътъ и онъ отказывается дать. Ему задаютъ вопросъ, касающійся до абсолютной истины. Такую задачу онъ не ръшаеть. Мы увидимъ, что заданную тему онъ пояснитъ и витстт съ темъ ограничить; отвёть прозвучить относительный, а не категорическій.— Султанъ возвращается, и Натанъ повъряетъ ему свое личное убъжденіе, за которое онъ готовъ лечь костьми. Онъ разсказываетъ исторійку. Давнымъ давно жилъ нікій человікь, обладавшій чудеснымъ . кольцомъ; свойство этого волшебнаго кольца было таково, что тотъ, который носиль его, быль любезень Богу и людямь. Обладатель завъщаль его любимъйшему изъ сыновей своихъ, и такъ передавалось оно въ теченіе долгихъ лёть оть отца къ сыну, при чемъ носившій кольцо быль всегда угодень Богу, пріятень людямь, и притомь быль главою всей семьи. Наконецъ оно досталось отцу трехъ сыновей, которому вст три были одинаково послушны, которыхъ онъ встхъ трехъ равно любилъ. Когда пришло для него время умирать, не желая осворбить двухъ сыновей, онъ ваказалъ художнику два другія кольца, совершенно подобныя завътному. Они сдъланы были такъ искусно, что ихъ нельзя было отличить отъ настоящаго. Отецъ, смъщавши кольца, подзываеть поодиночит сыновей и важдому изъ нихъ даеть по кольцу. По смерти его, каждый предполагаеть, что именно онь обладаеть завътнымъ вольцомъ, и хочетъ стать во главъ семьи. Пошли пререканія и споры, но нельзя было определить, какое именно кольцо — волшебное... «почти такъ же», прибавляеть Натанъ, «какъ и теперь для насъ нельзя определить, какое вероисповедание истинно». Въ основахъ религійговорить онъ- нътъ раздичія; всь онь основаны на исторіи, на устномъ и письменномъ преданіи, которое мы получаемъ отъ нашей семьи, отъ нашего племени, которое тесно связано со всемъ прошедшимъ нашихъ

предковъ, со всей нашей національностью. Въроисповъдный вопросъ прикръпленъ къ нашимъ семейнымъ и національнымъ отношеніямъ; внъ преданія для него нътъ критерія. Такимъ образомъ въ этой части разсказа Лессингъ приходитъ къ выводу объ относительномъ значеніи въроисповъданій, о несущественности догматической стороны дъла. Вторая часть аллегорической исторіи отвъчаетъ на вопросъ: въ чемъ же именно дъло, къ чему должны быть направлены наши стремленія?

Сыновья отправились на судъ. Судья, опираясь на свойство истиннаго кольца, спрашиваетъ, кто же изъ нихъ наиболее любимъ двумя другими, такъ какъ это было бы признакомъ обладателя завещаннаго сокровища. На молчаніе братьевъ, судья приходитъ къ заключенію, что всё три кольца поддёльны, а неподдёльное потеряно; потерянное отецъ замёнилъ тремя ему подобными. Таково promenie судьи, но къ нему онъ присоединяетъ совтота: если каждый изъ васъ, говорилъ онъ, получилъ свое кольцо отъ отца, то пусть онъ считаетъ именно свое кольцо настоящимъ.

«Отецъ, быть можеть, думаль уничтожить Въ своей семъв то право старшинства, Которое вольцомъ пріобраталось. Выть можеть, вась отець дюбиль всёхь равно, И не котвиъ двоихъ ивъ васъ обидеть, Давая предпочтенье одному. Такой дюбви пусть важдый соревнуеть: Любви безг предразсудковь, неподкупной; Пусть выкажеть одинь передъ другимь Всю силу своего кольца; пусть въ жизни-И миролюбіемъ ее проявить, И кротостью, и добрыми делами, И искреннею преданностью Вогу,-И ежели вліянье вашихъ колецъ Въ потоиствъ вашемъ скажется, то снова-Чрезъ сотию тысячъ летъ - я васъ вову. Тогда другой судья сидеть вдёсь будеть На этомъ стуль, - онъ мудръй меня,-И онъ отвътить вамъ. Ступайте».

Таким в образом в в нравственной практической двятельности сявдуеть искать оценки наших убежденій; передь нею, передь принципомь гуманности, передь сознаніем в взаимной гармоніи интересов доджна стушевываться всякая догматика, всякій катехизись; въ ней критерій доброкачественности человека. Къ этим идеям постоянно возвращается авторь драмы и даеть имь самое разнообразное освещеніе. В вроиспов в различія бладивноть для Лессинга передъ общечелов в ческими интересами: племенныя, государственныя, церковныя связи должны сглаживаться, по его мивнію, въ общечелов в ческом в союз в, въ масонств в высшаго порядка — без в мистических в бредней и фантастических затай, въ масонств в, проникнутом чистым пламенем в взаимной любви и солидарности интересов в и стремленіем в къ объединенію челов в ческой семьи во имя общих в задач в образованія и гуманизма.

Когда Саладинъ мечтаетъ о перемиріи съ крестоносцами, о возможности родственныхъ связей между его семьей и ихъ вождями, сестра его Зитта изображаетъ брату христіанскую нетерпимость:

«Ты христіанъ не внасшь, Не хочешь внать. Ихъ гордость въ томъ, чтобъ только Выть христіанами, а не людьми. И даже то, что отъ Христа осталось Имъ человъчнаго въ ихъ суевъръи, Они выпобили не за человъчность, А потому, что такъ Христосъ училь ихъ, Такъ поступалъ Христосъ. И благо имъ, Что быль еще онь добрымь человъкомъ И что его слова и добродътель Они на въру могуть ваять. Да что! Каная добродътель - имя! имя Его должно распространяться всюду, Должно уничтожать, должно поворить Всв имена другихъ людей хорошихъ. Объ имени, въдь, только и хлопочутъ».

Въ противоположность фанатизму храмовниковъ и крестоносцевъ магометанинъ Саладинъ отличается широкою терпимостью. Вмёстё съ Натаномъ онъ является выразителемъ авторскихъ мнёній и проникнутъ сознаніемъ несущественности догматизма. «Ты бы остался здёсь у меня?» говорить онъ Конраду. «Какъ христіанинъ или мусульманинъ—

Мнів все равно. Въ твоемъ плащів съ крестомъ — Иль въ нашемъ платьї, въ шляпів ли, въ чалмів ли, Какъ хочешь — все равно! Я никогда Не требоваль, чтобъ всів деревья всюду Росли бы съ одинаковой корой».

Съ одной стороны стоятъ Натанъ и Саладинъ— представители идей терпимости и гуманности, отръшенной отъ догматики. Съ другой — јерусалимскій патріархъ, изображая котораго Лессингъ имълъ въ виду личность своего

противника Гёце, — представитель узкаго исключительнаго формализма, фанатическій ревнитель своего в'троиспов'тданія, для котораго понятіе объ иновърцъ сливается съ понятіемъ о еретикъ и невольно комбинируется съ любезными его душъ представленіями о преслъдованіяхъ, ныткахъ и кострахъ; ръчи патріарха обличають казуиста, который для достиженія своихъ темныхъ цёлей попираетъ всякую нравственность и имъетъ всегда наготовъ софизмъ для того, чтобъ внъшнимъ образомъ замирить вопіющія внутреннія противорьчія; однимъ словомъ-- Лессинговъ патріархъ принадлежить къ той обширной семь в общественныхъ и литературныхъ типовъ, во главъ которыхъ стоитъ Мольеровъ Тартюфъ. — Живущая въ домъ Натана христіанка Дайа представляетъ образчикъ слабыхъ, простодушныхъ и недалекихъ натуръ, зараженныхъ внъшнимъ догматизмомъ за умственною неспособностью идти дальше буквы, что бы то ни было осмыслить, овладъть обобщеніемъ; это---личность, постоянно повторяющаяся въ толить, едва-ли не преобладающій женскій типъ въ средъ върующихъ массъ. Герой драмы, витсть съ тъмъ — лицо, выражающее полнъе всего возарънія самого Лессинга еврей Натанъ.

Европейская литература довольно богата типами жидовъ. Художникъ, возсоздавая въ своемъ произведеніи образъ еврея, всякій разъналагаетъ на него печать своей эпохи и въ своихъ отношеніяхъ къ воспроизводимой личности всегда стоитъ въ извѣстной зависимости отъвоззрѣній современниковъ. Такимъ образомъ, прослѣдить возникающіе въ литературѣ еврейскіе типы значить ознакомиться съ общей исторіей взаимныхъ отношеній евреевъ и общества. Я, вкратцѣ и не вдаваясь въ подробности, укажу на нѣкоторыя характеристическія черты этой общей исторіи.

Въ средневъковыхъ пъсняхъ и росказняхъ жидъ является, согласно съ общими воззръніями этой эпохи, отверженнымъ существомъ, пенавистнымъ Богу и христіанскому міру. Источники враждебныхъ отношеній массъ къ евреямъ въ средніе въка, какъ извъстно, слъдуетъ искать съ одной стороны въ тъхъ суевърныхъ представленіяхъ о проклятомъ и равсъянномъ по лицу земли племени, которыя распространялись и поддерживались каноническими авторитетами, съ другой — въ коммерческихъ и промышленныхъ оборотахъ самого еврейства, въ его занятіяхъ денежными операціями и ростовщичествомъ. Въ какомънибудь XII — XIII въкъ почти весь христіанскій міръ, отъ королей и

до виллановъ, состоялъ въ долгу у жидовъ, которые, соразмъряя всегда возможность наживы съ рискомъ потерять всю ссуду, требовали обыкновенно на выдаваемыя деньги самые чудовищные проценты и слыли общественными вампирами. На жидовъ смотрели, какъ на общественную язву, и народная ненависть въ эксплуататорамъ подавала руку самымъ нелъпымъ суевъріямъ книжнаго происхожденія, давала возможность распространяться самымъ безсмысленнымъ баснямъ насчетъ жидовъ. Всёмъ извёстны разсказы о безчеловёчныхъ преследованіяхъ евреевъ въ средніе въка, о періодическихъ избіеніяхъ, о поголовной р твит, о сожженияхъ огудомъ евреевъ, за которое принималось христіанское населеніе въ минуты фанатическаго одушевленія, въ самый разгаръ религіозныхъ восторговъ. Въ литературь, въ этомъ зеркаль общественных возврвній, отражаются взгляды на жидовъ, господствовавшіе въ обществъ. Предразсудки дають обильный матеріаль пъснямь и легендамь, которыя разсказывають о жидовскихъ козняхъ и преступленіяхъ, о томъ напр., какъ они похищаютъ и приносять въ жертву на своихъ празднествахъ младенцевъ, отравляютъ колодцы и т. п. Сатирическія пов'єсти любять останавливаться на т'яхъ далеко не невинныхъ шуткахъ, жертвой которыхъ были жиды. До насъ дошла очень характеристическая риомованная исторія о Людовикъ Святомъ, объ этомъ типическомъ выразителъ многихъ средневъковыхъ тенденцій, объ этомъ добромъ король, который важаль и въ Палестину и вообще отдичался благочестіемъ. Извъстный парижскій жидъ попаль какъ-то въ субботній день въ городской стокъ нечистотъ. Соплеменники хотели его вытащить, но жидъ самъ напомнилъ имъ объ завътномъ диъ и, чтобъ не нарушать закона Моисеева, предписывающаго покой въ субботу, просилъ ихъ оставить его въ ямъ до слъдующаго дня. Объ этомъ донесли доброму королю, который приказалъ въ воскресенье препятствовать вооруженною силой жидамъ вытащить несчастного изъ клоаки. «Онъ вспомниль о своей субботь, пускай соблюдаеть и наше воскресенье», прибавиль остроумный король. Поступили, какъ было приказано; жидъ не дождался понедъльника и умеръ въ вонючей ямъ, на забаву добрымъ людямъ.

Когда въ концъ XVI въка великіе англійскіе поэты взялись за еврейскіе типы, положеніе дѣлъ во многомъ измѣнилось. Въ воздухѣ носились другія идеи, чувствовалось вѣяніе новаго періода. Но всетаки душный запахъ міра католическаго и феодальнаго еще далеко не

выдохся. Этотъ двойной слой общественной атмосферы охватываль и еврейскій вопросъ. Эта двойственность воззрвній отражается и въ драм'в Марло «Мальтійскій жидъ» и въ «Венеціанскомъ купцѣ» Шекспира. Въ созданіяхъ Марло и Шекспира мы встръчаемся съ сознательной и опредъленной попыткой вскрыть тв печальныя общественныя условія, которыя тяготым надъ еврейскимъ населеніемъ, и разъяснить черезъ ихъ посредство нравственный характеръ жида, сложившійся подъ вдіяніемъ этихъ условій. Въ уста Шейлока Шекспиръ вложилъ исполненныя неумолямой логики тирады противъ христіанской нетерпимости, противъ того позора, тъхъ униженій и преследованій, которымъ подвергались средневъковые евреи и которыми мотивируется ненависть Шейлока къ христіанамъ. Злоба еврея, его скрытность и изворотливость объясняются такимъ образомъ догически и исторически. «Развъ у жида нътъ глазъ? », говоритъ Шейлокъ. «Развъ у него нътъ рукъ нътъ органовъ, нътъ тъла, чувствъ, симпатій и страстей? Развъ онъ не питается той же пищей, развъ ему не причиняютъ ранъ тъ же орудія, развіз онъ не подверженъ тімь же болізнямь, не излічивается теми же средствами, какъ и христіанинъ, разве его не согреваетъ лъто, развъ онъ не зябнетъ зимой? Развъ мы не чувствуемъ укола, развъ мы не смъемся отъ щекотанья, развъ мы не умираемъ, если вы насъ отравляете? И неужели мы не должны мстить, если вы насъ оскорбляете? Если мы подобны вамъ въ остальномъ, то мы и въ этомъ будемъ стараться походить на васъ. Если жидъ оскорбляетъ христіанина, къ чему ведетъ смиреніе последняго? къ мести. Если христіанинъ оскорбляетъ жида, что же? по примъру христіанина, его терпъніе должно обратиться въ месть». Извъстно, что драма разръшается осужденіемъ жида. Дочь Шейлока похищена христіаниномъ, его имущество конфисковано, его самого подъ страхомъ смерти заставляють принять христіанство, враги Шейлока—тв благонамвренные. добродътельные люди, которые надъ нимъ издъвались, которые похитили его дочь, не выплатили ему долга и лишили его состоянія, торжествують. «Доволень ли ты, жидь, решеніемь суда?», спращиваеть у Шейлока импровизированный адвокать Порція. «Ну, что скажещь ты?». — «Я доволенъ. Прошу васъ, дайте мнъ позволение уйти отсюда. Мнъ нездоровится. Пришлите актъ ко миъ, я подпишу его». Какой-то глубокій трагизмъ звучить въ этихъ послёднихъ словахъ жида, выслушавшаго решеніе суда; это-слова человека, сраженнаго обстоятельствами, который не видить возможности какого бы то ни было протеста при внутреннемъ сознаніи своей правоты; общественная несправедливость представляется ему какой-то роковой необходимостью; мѣра его страданій переполнилась, и онъ дълается равнодушнымъ, апатичнымъ въ понесеннымъ осворбленіямъ. Кругомъ все поврыто тьмою, выхода нетъ, Шейлокъ точно каменетъ. - Такимъ образомъ, съ одной стороны Шекспиръ рисуетъ передъ нами мастерскую характеристику, вскрываетъ побужденія лица, мотивируетъ его действія, возбуждаетъ въ насъ въ этому лицу сочувствіе, — и потомъ вдругъ категорически осуждаеть его, удаляеть его со сцены, перестаеть имъ заниматься, и, видимо склоняясь на сторону противниковъ Шейлока, тъщится изображеніемъ веселой развязки пьесы, распутываетъ нити интриги, которал далеко не представляетъ того глубокаго интереса, какъ исторія самого Шейлока. Въ 5-мъ действіи о жиде забывають. Дочь его забавляется съ своимъ похитителемъ и любовникомъ.... Что бы ни говорили нъмецкіе комментаторы Шекспира, въ такого рода построеніи драмы есть глубокое противоръчіе, и на тъ требованія нравственнаго чувства, удовлетвореніе которыхъ они находять во всякой драмь Шексиира, въ «Венеціанскомъ купць» нътъ отвъта. -- Эту двойственность мотивовъ, эти колебанія самого Шекспира, ръшительно остановиться на какомълибо опредъленномъ воззръпіи на еврейскій вопросъ, нужно отнести на счеть эпохи, признать за черту историческую, за признакъ времени. Шекспиръ-говоритъ французскій изсладователь Мезьеръ-сдалалъ въ пользу жида все, что было возможно для просвъщеннаго человъка XVI въка. Онъ припомнилъ униженія Шейлока, оскорбительныя отношенія къ нему окружающихъ, онъ объяснилъ ненависть его къ христіанамъ несправедливостью самихъ христіанъ, онъ показалъ, какъ попраны были на его личности всв права человъческой природы, и какъ жажда мести должна была явиться въ Шейлокъ необходимымъ результатомъ постоянныхъ обидъ и наконецъ похищенія дочери. Эпоха не позволяла ему категорически оправдать жида, сделать изъ него привлекательную личность, приковать къ нему все сочувствіе зрителей. Не таковы были общественныя понятія: предразсудокъ заслоняль пробивавшуюся идею терпимости. За Шейлока заступился въ XIX въкъ его даровитый соплеменникъ Генрихъ Гейне; онъ показалъ нравственную несостоятельность прочихъ действующихъ лицъ драмы сравнительно съ жидомъ и превосходно охарактеризовалъ отношение

Шекспира къ своему сюжету: «Шекспиръ, можетъ быть, имѣлъ намѣреніе на забаву толпы изобразить метающагося оборотня, ненавистное сказочное существо, которое жаждетъ крови, и при этомъ не только теряетъ свои дукаты и свою дочь, но и въ концѣ концовъ оказывается въ дуракахъ. Но геній поэта, присущій ему міровой духъ, стоитъ всегда выше его личной воли, и вотъ произошло то, что въ «Венеціанскомъ купцѣ», несмотря на каррикатурныя формы Шейлока, онъ далъ оправданіе несчастной секты, которая какими-то невѣдомыми силами была обречена ненависти низшей и высшей черни и на эту ненависть не всегда желала отвѣчать любовью».

Вернемся къ «Натану»... Мы въ 1779 году, въ разгаръ XVIII въва. Жидъ, котораго въ теченіе среднихъ въковъ травило и попирало ногами все христіанство, который служилъ безсмѣнной цѣлью самыхъ грубыхъ шутокъ и самой изобрѣтательной жестокости, становится героемъ драмы. Въ XVIII въкѣ, въ столѣтіе свободы мысли, тернимости и гуманизма онъ получаетъ возмездіе за прежнее горе злочастіе. Представитель еврейства—Натанъ является представителемъ лучшихъ стремленій человѣчества, апостоломъ гуманности. Въ его уста влагаетъ великій нѣмецкій литераторъ свои этическія убѣжденія и рисуетъ въ немъ человѣка, ближе всего подходящаго къ его собственнымъ нравственнымъ идеаламъ.

Во время одного изъ періодическихъ избіеній палестинскихъ жидовъ христіане сожгли жену Натана и семерыхъ сыновей его. Въ воздаяніе за это Натанъ беретъ къ себв на воспитаніе христіанскаго ребенка, на которомъ сосредоточиваются всё его заботы, всё его попеченія. Когда онъ передаеть монастырскому служкі разсказь о своемъ прошедшемъ, послушникъ перебиваетъ его словами: «Nathan, Nathan! Ihr seid ein Christ! Bei Gott ihr seid ein Christ, ein besserer Christ war nie». Такимъ образомъ еврей въ силу своей практичесвой дъятельности, своихъ нравственныхъ стремленій и неуклоннаго сабдованія принципу деятельной любви, въ глазахъ послушника является истымъ христіаниномъ, т. е. такимъ, который ближе всего сообразуется съ духомъ ученія Христа. Буква, догматизмъ, - къ нимъ Натанъ индифферентенъ. Онъ выше всякаго формализма. Какъ Лессингъ, такъ и Натанъ проникнуты тъми космополитическими идеями ХУІІІ въка, передъ которыми для нихъ теряютъ всякое значеніе вопросы племенные и в роиспов в дные.

Натанъ. «Постойте! — Мы должны друзьями быть. Народъ мой презирайте, какъ котите: Не мы себё народъ свой выбирали, И мы еще народъ не составляемъ. Да что народъ? — Въдъ люди остаются Людьми и въ кристіанствъ, и въ еврействъ. Акъ! — Если бы миъ въ васъ пришлось найти Котя однимъ бы человъкомъ больше, Которому довольно и того, Что носитъ онъ названье человъка».

Таковы основныя идеи драмы. Скажемъ нъсколько словъ о художественной техникъ и о воспроизведении еврейскаго типа въ «Натанъ». Идея, тенденція—главное въ Натанъ. Ей подчиняется все содержаніе, она тягответь надъ характерами и ихъ обусловливаеть. Лессингъ вовсе не стремился изобразить въ своей драмѣ бытовую картину; драматическая форма нужна была ему для пропаганды, и потому его занимала главнымъ образомъ не художественная отдълка, не эстетическія частности и подробности, а популяризація опредёленнаго воззрвнія Когда я говориль вамъ о «Гецъ», я указываль вамъ на идею, которую можно проследить въ драме Гете. Но въ этомъ отношении между «Гецемъ» и «Натаномъ» глубовая разница. «Гёцъ» прежде всего бытовая картина; такова была главная задача его автора. Гёте имълъ опредъленныя воззрънія на средніе въка, выработаль себъ извъстныя отношенія къ среднев ковой жизни, которыя должны были отразиться на его изображеніи; онъ на самомъ ділів представляль себів XVI віжь такимъ, какимъ его изобразилъ, онъ старался изучить мъстныя и бытовыя особенности, входиль въ художественныя детали, стремился дать живые образы, и если они вышли у него несогласны съ средневъковой действительностью, если личность Геца явилась въ его драмъ идеализированной, то это произошло не вследствіе исключительнаго нампренія во что бы то ни стало, coûte que coûte, провести на его образъ тенденцію; для Гёте главное быль самь образъ, на которомъ необходимо должны были отразиться представленія той эпохи, въ которой жиль поэть, идеи того кружка, въ которомъ онъ вращался. Однимъ словомъ — Гёте въ своей драмѣ воспроизвелъ XVI столѣтіе такимъ, какимъ онъ себъ его представлялъ; мы видъли, каково было это представленіе, какова была поэтому тенденція Гёте. Какъ бы то ни было, Гёте воспроизвелт извъстную эпоху, воспроизвель разумвется согласно съ своими личными возарѣніями.

Что касается до «Натана», то Лессингъ имель въ виду главнымъ образомъ не художественное воспроизведение эпохи, а защиму, распространеніе опредпленных возэрпній. «Если скажуть», говорить Лессингь, «что пьеса съ такой оригинальной тенденціей не достаточно богата художественной красотой, то я смолчу, но стыдиться не буду. Цъль, къ которой я сознательно стремлюсь, такова, что она одна все-таки должна принести миъ честь». Такимъ образомъ великій критикъ руководствовался сознательной, преднамъренной задачей создать тенденціозное произведеніе, різко выражающее извістныя идеи. которымъ онъ и подчинилъ все содержание пьесы. Онъ стремился въ «Натанъ» не въ изображенію средневъвоваго быта, не въ созданію исторически върныхъ типическихъ образовъ. Это было для него дъломъ. второстепеннымъ, которое теряло для него всякое серьезное значеніе въ виду пропаганды этическихъ, нравственно-практическихъ воззрѣній. Оттого—въ «Гёцъ» мы получили въ результать живую картину, яркіе психологические образы, хотя они и отступали отъ строгой исторической действительности. Въ «Натане» весь центръ тяжести пьесы въ проводимыхъ авторомъ идеяхъ; въ нихъ вся суть драмы. Дъйствующія лица, обстановка, интрига играють роль кадра, рамки для этихъ идей, рамки, въ которую эти идеи преднамъренно, сознательно введены, такъ сказать-втиснуты. Итакъ-въ «Гёцъ» на первомъ планъ эпоха, картина и образы дъйствительности, на которыхъ лежитъ печать субъективныхъ возарвній автора и его кружка. Въ «Натанв» на первомъ планъ — воззръніе, которому подчинены драматическіе мотивы. Первое произведение поэтическое, что называется — свободное, второе — преимущественно популярно философское, дидактическое. И то, и другое — произведенія литературныя, отражающія общіс интересы, общія задачи, общіе элементы міровоззрінія своего времени.

Потому—та эпоха, къ которой Лессингъ прикръпиль свои идеи,—
эпоха крестовыхъ походовъ, получила сама по себъ въ его произведеніи самое неполное выраженіе; мы видъли, что не въ ней лежала
для него суть дъла. Въ XII—XIII въкъ дъйствующія лица говорять
объ идеяхъ XVIII въка, о терпимости и гуманности. Личность Натана
велика для насъ по идеямъ, носительницей которыхъ она является;
но чтобъ такая личность жида дъйствительно могла существовать въ
Палестинъ, въ эпоху крестоносцевъ, — это болъе чъмъ сомнительно.
Въ драмъ вышелъ еврей идеализированный. Въ Натанъ нътъ ничего

мъстнаго, ничего историческаго, ничего этнографическаго. Это такой еврей, который могъ существовать только въ головахъ просвътителей XVIII въка: это полная противоположность жида по средневъковымъ воззръніямъ, въ немъ такъ сказать воплощается реакція средневъковому предразсудку противъ еврейства, но вмъстъ съ тъмъ это такая абстрактная фигура, которая вовсе не соотвътствуеть жиду дъйствительному. Ръчи Натана можно было услыхать въ либеральныхъ кружкахъ прошлаго въка, его мысли можно встрътить въ сочиненіяхъ. въ перепискъ парижскихъ и берлинскихъ вольнодумпевъ; это—просоттитель въ смыслъ XVIII стольтія, bel esprit эпохи Фридриха Великаго и посланій Вольтера. Но воображеніе отказывается перенести такое лицо въ въкъ Филиппа Августа и Ричарда, въ узкія іерусалимскія улицы, и вложить красноръчивыя тирады Натана въ уста дъйствительнаго палестинскаго жида, выросшаго подъ сънью мъстной синагоги. Натанъ — жидъ à la XVIII siècle.

Драматическая техника пьесы страдаеть многими недостатками; извъстно напр., что влюбленные храмовникъ и Реха оказываются при развязкъ братомъ и сестрой и такимъ образомъ, къ великому горю нъмецкихъ эстетиковъ, любовь ихъ не можетъ увънчаться желаннымъ исходомъ.

Въ заключение снова напомию, что великое значение драмы Лессинга заключается не въ созданныхъ ея авторомъ художественныхъ образахъ, а въ просвётительныхъ идеяхъ, лежащихъ въ ея основъ. Если вслъдствие этого философскаго своего значения драма Лессинга развънчивается эстетик и и историками искусства, то напротивъ того—въ глазахъ истърика литературы, который внимательно слъдитъ за развитиемъ и распространениемъ въ обществъ образовательныхъ идей, она обладаетъ неотъемлемымъ правомъ на почетное мъсто въ ряду самыхъ крупныхъ произведений человъческаго духа и стоитъ неизмъримо выше тъхъ продуктовъ чистаго художества, которые изяществомъ формы прикрываютъ нищету мысли, которые подъ выработаннымъ ритмомъ, подъ звонкимъ стихомъ, цвътистой тирадой и кудрявыми эпитетами таятъ внутреннюю безсодержательность—признакъ умственной немощи и отсутствия истинныхъ творческихъ способностей въ ихъ авторахъ.

Я обозрълъ «Критику чистаго разума», какъ высшее проявленіе отвлеченной мысли разсматриваемаго нами періода. Натанъ—выраженіе

его нравственныхъ, практическихъ тенденцій *). Теперь я перехожу къ общей поэтической энциклопедіи того времени, къ высшему литературному выраженію возэрёній этой порубежной эпохи,—къ Фаусту Гёте.

ЛЕКЦІЯ ТРИНАДЦАТАЯ.

Предисловіе къ Фаусту.

Фаустъ — тема новой исторіи. — Историческая личность Фауста. — Пов'єсть Шписа. — Драма Marlowe. — Саги о Донъ Жуан'я и Твардовскомъ. — Фаустъ въ XVIII в'як'я. — Фаустъ Лессинга, Мюллера и Клингера. — Исторія Гётева Фауста.

На порогъ новой исторіи, въ концъ XV и началь XVI въка, мы встръчаемся съ первыми зародышами народнаго сказанія о докторъ Фаустъ. Въ теченіе XVI въка оно развивается, осложняется разнообразными мотивами, обставляется поэтическими подробностями и въ концъ стольтія въ первый разъ получаеть литературную обработку. Повъсть жадно читается современниками и быстро перепосится въ чужія страны; ея поэтическія темы облекаются въ форму риомованныхъ разсказовъ и балладъ, становятся сюжетомъ искусственной драмы, дають содержаніе представленіямь странствующихь актеровь. Мотивы повъсти въ ХУП и ХУШ въкахъ живутъ въ народныхъ массахъ, а во второй половинъ ХУШ столътія привлекають вниманіе образованныхъ и литературныхъ кружковъ. За художественную обработку сказаній о Фаустъ принимаются передовые литераторы мього времени; ихъ произведенія затмеваются величественнымъ созданіемъ Гёте, въ которомъ народная легенда отлилась въ философскую поэму и въ новомъ своемъ образъ получила значение универсальное, общечеловъческое.

^{*)} Ср. изъ письма Георга Форстера въ Якоби (о притчъ въ Натанъ):

«Die Schuppen sind mir von den Augen gefallen. Wie wünschte ich, mein Bester, nun einmal mit meiner reiferen Ueberlegung und Erfahrung vor Ihren Richterstuhl treten zu dürfen und zu erfahren, nicht welcher Ring der ächte oder ob ein ächter überhaupt vorhanden ist, sondern ob es nicht Finger geben kann, auf welche der Ring, welcher es auch sei, gar nicht passt und ob der Finger darum nicht auch ein guter brauchbarer Finger sein könne». (Hettner, III, 8, 2, стр. 359).—Ср. также Дюнцеровское изданіе «Briefe an Herder von Lavater, Iacobi, Forster», стр. 398, 397, 400.—Форсотере—космополитическій типъ XVIII въва.

Такимъ образомъ сага о докторъ Фаустъ какъ бы открываетъ и закрываеть для нась тоть періодь человіческого развитія, который простирается приблизительно съ конца XV до начала XIX въка. Фаустъ герой всей новой исторіи, этихъ стольтій усиленнаго умственнаго труда человъчества и его тяжкихъ душевныхъ мученій. Эта эпоха начинается съ радостнаго, исполненнаго силъ пробужденія человъчества отъ средневъковой дремоты. Критическая мысль пробивается сквозь старыя освященныя временемъ преданія и сначала робко и несмъло пытается пошатнуть ветшающія жизненныя основы. Медленно, съ трудомъ производится расчистка залежавшагося средневъковаго мусора. Нельзя было заразъ порвать всв связи съ прошедшимъ, съ наивными представленіями и идеалами міра католическо-феодальнаго; нельзя было безъ оглядки удалиться отъ знакомыхъ образовъ, покинуть решительно отчій кровъ, домашній алтарь, своихъ ларовъ и пенатовъ. Между старымъ и новымъ начинаются торги и сдълки. Человъчество старается примирить непримиримое, сколотить жизненный челнъ изъ свъжихъ и гнилыхъ досокъ, въ одно и то же время пользоваться илодами зачинающейся науки и удержать за собой привычные, успокоительные призрави старинныхъ суевърій. Вся эпоха новой исторіи проникнута этимъ мучительнымъ принципомъ компромисса, сделки, торгашества-какъ въ наукъ, такъ и въ общественныхъ отношеніяхъ... Въ самомъ дълъ, во встхъ проявленіяхъ темной средневтковой жизни мы замтчаемъ извъстную цъльность, последовательность, извъстное равновъсіе. Люди безпрекословно склоняются передъ авторитетами, внемлють преданіямъ, слепо и глубоко верують. Ихъ не тревожать сомпенія, ихъ не мучать колебанія. На всякій вопрось готовь отвіть, вполні удовлетворяющій неприхотіивую любознательность среднев вковаго, эпическаго человъка. «Такъ гласитъ вульгата», «это сказалъ папа,» «такъ поетсл въ народной пъснъ», «таковъ обычай старины»... И въ это безмятежное затишье пробудившаяся мысль вносить враждебное начало; она нарушаетъ цельность, стройность, если хотите-гармонію средневъковаго мірововартнія. Эту стоячую воду средневъковой силоамской купъли словно возмутилъ своей рукой ангелъ-новый ангелъ крити. ческой мысли... Начинается броженіе, которое длится въ теченіе всей новой исторіи; въ XVIII въкъ борьба стараго и новаго дълается ожесточенной, не на животь, а на смерть; вскрывается ръзкій, непримиримый разладъ объихъ противоположностей, двойственность обнаруживается со всей очевидностью: идти назадь — нельзя; согласить старину съ новымъ—тоже нельзя; остановиться на новыхъ началахъ, отдаться имъ всецъло, сосредоточить всё свои упованія на зародыпахъ новаго міровозврѣнія, прозрѣть въ нихъ грядущую мощь его, —
па это не у всякаго хватаетъ знанія и силъ. И вотъ, въ концѣ XVIII столѣтія и въ началѣ XIX, когда разладъ достигаетъ такъ сказать кульминаціоннаго пункта, падаютъ одна за другою его жертвы, жертвы міровой скорби... Это агонія, предсмертныя судороги отживающаго періода.

Со всей этой эпохой раздиоснія, отъ ся ростковъ въ концѣ XV вѣка и до ся захожденія въ первой половинѣ XIX, сжились саги о Фаустѣ. И подобно тому, какъ на рубежѣ XVIII и XIX вѣка метафизическое «нестросніе» и душевныя муки достигли въ своемъ развитіи высшей степени, такъ и сказаніе о докторѣ Фаустѣ въ это именно время получило высшее литературное выраженіе въ грандіозной поэмѣ Гёте.

Съ именемъ Фауста мы встръчаемся въ историческихъ источникахъ, относящихся къ концу XV и началу XVI столътія. Фаусть быль родомь изъ Книттлингена въ Виртембергъ, жиль въ началъ XVI въка, прославился въ Германіи своими фокусами и чернокнижіемъ и умеръ незадолго до 1540 года. Объ немъ и о его чудодъяніяхъ упоминаетъ между прочимъ сподвижникъ Лютера — Меланктонъ. Народная фантазія овладёла этимъ историческимъ лицомъ, создала изъ него общій типъ вольнодумца-колдуна, перенесла на него легенды о другихъ средневъковыхъ волшебникахъ. Саги о Фаустъ, получившія въ ХУІ въкъ большую популярность, прикръплены были къ различнымъ мъстностямъ Германіи, преимущественно швабскимъ и саксонскимъ; но главнымъ средоточіемъ этихъ преданій сделался Виттенбергь—знаменитый въ XVI стольтіи очагь религіознаго броженія. Недаромъ Виттенбергъ сталъ тъмъ центромъ, съ которымъ связала народная память легенды о Фаустъ. Извъстна роль этого города и его университета въ эпоху реформаціи; адёсь профессорствоваль Лютеръ, адёсь въ 1517 году обнародоваль онъ свои знаменитые 95 тезисовъ. Слава Виттенберга, какъ города ученаго по преимуществу, гремъла не въ одной Германіи. Припомните, что Шекспировъ Гамлетъ — бывшій студенть Виттенбергскаго университета. Въ течение двухъ лъть читалъ адъсь лекціи итальянскій философъ Джордано Бруно и называеть этотъ

городъ германскими Абинами. Такимъ образомъ, съ одной стороны это центръ вольномыслія, протестантизма, отрицанія католическаго единства и средневѣковыхъ церковныхъ авторитетовъ; въ то же время съ другой стороны, здѣсь должны были особенно сильно корениться тѣ суевѣрія о договорахъ съ дьяволомъ, о его соблазнахъ и искушеніяхъ, которыя находили такое блистательное подтвержденіе во взглядахъ самого нѣмецкаго реформатора и освящены были въ его сочиненіяхъ и проповѣдяхъ. Потому именно въ Виттенбергѣ мѣстныя и историческія условія благопріятствовали росту и осложненію сказаній о вольнодумцѣ Фаустѣ и о его сношеніяхъ съ чортомъ.

Эти народныя саги получили въ первый разъ стройную литературную обработку въ «Повъсти о докторъ Іоганнъ Фаустъ», изданной въ 1587 году во Франкфуртъ на Майнъ книгопродавцемъ Шписомъ. Повъсть составляетъ главный источникъ для всъхъ последующихъ литературныхъ редакцій фаустовской саги и вибств съ твиъ представляеть характеристическій памятникь быта и міровозэрвнія XYI стольтія. Авторъ ея, по всьмъ признакамъ, протестантскій теологъ. который ставить себъ цълью предостеречь своимъ разсказомъ христіанъ отъ дьявольскихъ навожденій и соблазновъ; сообразно съ этой поучительной тенденціей были имъ обработаны наивныя народныя сказанія, которыя являются для насъ въ повъсти уже запечатльнными духомъ протестантскаго дидактизма. Въ повъсти подвергается брани и насмѣшкамъ католичество съ своими обрядами, напа обзывается антихристомъ и бъсноватымъ, монахи — слугами дьявола; духъ - искуситель предстаетъ Фаусту въ образъ инока. Но какъ бы то ни было въ этой первой литературной редакціи Шписа сохранилось много эпическихъ, первобытныхъ, безъискусственныхъ мотивовъ.

Фаустъ, разсказываетъ повъсть, былъ крестьянскій сынъ и получилъ воспитаніе у одного родственника въ Виттенбергъ. Обладая богатыми дарованіями, онъ быстро усвоилъ себъ научный матеріалъ того времени и получилъ степень доктора богословія. У него была надменная, задорная голова—говоритъ авторъ—и потому его всегда звали «умствователемъ» (er hatte einen thummen, unsinnigen und hoffertigen Kopf, wie man ihn denn allezeit den Speculirer genennet hat). Отъ богословія Фаустъ перешелъ къ медицинъ, потомъ къ астрологіи и математикъ; «на орлиныхъ крыльяхъ» хотълъ онъ воспарить въ своихъ познаніяхъ, развъдать сущность неба и

земли, и сталъ искать въ магіи удовлетворенія своихъ пытливыхъ стремленій. Фаустъ сталь изучать книги въщія: о волшебствъ и чародъйствъ, заклинанія, магическія формулы. Эта гордость ученаго доктора, его высокомърныя притязанія и самомнъніе и приведи его къ гибели, какъ предполагаетъ авторъ повъсти; онъ сравниваетъ своего героя съ «тъми исполинами, о которыхъ разсказываютъ поэты, какъ они громоздили горы на горы и хотъли воевать съ богомъ». Заклинаніями своими Фаусть вызываеть чорта и заключаеть съ нимъ договоръ, по которому онъ продаетъ ему свою душу, и требуетъ за это отъ чорта исполненія своихъ желаній. Духъ, который является Фаусту съ тъмъ, чтобы служить ему, обзывается Мефистофилемъ *). Заключивши союзъ съ чортомъ, Фаусть предается самымъ необузданнымъ выходкамъ, веселью, кутежу. Вина и кушанья духъ доставляетъ ему изъ погребовъ и столовыхъ герцоговъ и епископовъ; онъ же приносить ему ворованную одежду и обувь и назначаеть доктору 1300 кронъ жалованья. Фаустъ однако не удовлетворяется одними чувственными наслажденіями; онъ разспрашиваеть Мефистофеля о природъ духовъ, о гееннъ, о падшихъ ангелахъ. Бесъды эти наводятъ Фауста на тяжкое раздумье, на мысль о раскаяній; однажды послѣ такого разговора, онъ ложится на постель и горько плачеть; но отчаяніе уже настолько овладело Фаустомъ, что онъ не верить въ милость Божію. Притомъ, когда на него находитъ подобное раздумье. бъсъ является ему въ образъ прекрасныхъ женщинъ и заставляеть его такимъ образомъ покинуть помыслы о божественномъ. Фаустъ задаеть Мефистофелю интересный вопросъ, что сделаль бы онъ на его мъсть, еслибъ онъ-Мефистофель-быль человькомъ. Вотъ какой отвътъ даеть ему злой духъ, отвътъ, характеристическій для Мефистофеля XVI въка: «Господинъ мой Фаустъ, еслибъ я былъ созданъ человъкомъ, какъ ты, я склонялся бы передъ Богомъ, стремился бы не прогижвить его и соблюдаль бы слова его, заповъди и велънія въ полной увъренности получить за это въчное блаженство и славу по смерти. А ты этого не сделаль; напротивъ, ты отрекся отъ Бога,

^{*)} Словопроизводство до сихъ поръ неясно; въроятно греческое слово мефотофилест—врагъ свъта. Фаустъ одни считаютъ за латинское faustus—блаженный, другіе за нъмецкое нарицательное Faust — кулакъ, перешедшее въ собственное (аналогія: Maul, Zahn, Daum, Füssli, Zeh и пр.).

злоупотребиль силою своего разсудка; въ этомъ—виною твое самовольство». — «Да, это правда», сказалъ Фаустъ; «а желалъ бы ты, Мефистофель, быть человъкомъ на моемъ мъстъ?» — «Да», сказалъ со вздокомъ духъ, «хотя я и согръшилъ передъ Богомъ, но желалъ бы снова получить отъ него милость. Но для тебя теперь уже поздно; гнъвъ Божій надъ тобою...» Я обращаю ваше вниманіе на этотъ смиренный, задавленный тонъ Мефистофеля въ ХУІ въкъ и на робость самого Фауста. Это вполнъ согласно съ міровозаръніемъ того времени. Не такъ будутъ говорить отрицатели ХІХ въка—Мефистофель Гёте и особенно Люциферъ Байрона...

Растеть слава Фауста, какъ извъстнаго астролога, гадателя и предвъщателя. Онъ поучается у Мефистофеля, задаеть ему вопросы по части астрономіи я космологіи и посъщаеть преисподнюю. Затьмь, на крылатомъ конъ, въ котораго обернулся духъ, онъ объъзжаетъ различныя мъстности міра. Въ Римъ Фаустъ забавляется надъ папой; онъ невидимо присутствуетъ за папской трапезой и похищаетъ у него изъ подъ носа кушанья. Въ Константинополъ Фаустъ принимаетъ образъ Магомета и проводитъ нъсколько дней въ сералъ султана. Съ высотъ «острова Кавказа» онъ созерцаетъ рай, топографію котораго описываеть ему Мефистофель. - Третья часть повъсти разсказываеть, какъ въ Инсбрукъ Фаустъ вызываетъ для императора Карла У изъ подземнаго царства Александра Македонскаго и его жену, и затъмъ повъствуеть о разныхъ продълкахъ, которыя онъ совершаетъ своею. чудною силою: у одного мужика събдаеть цёлый возъ сёна вмёстё съ лошадью, надуваетъ жида, пьянствуетъ со студентами въ погребахъ зальцбургскаго епископа и т. п. Наконецъ, по его приказанію, Мефистофель вызываеть для него прекраснъйшую женщину въ міръ--греческую Елену, съ которой онъ и приживаеть сына Юстуса. — Когда приближается срокъ исполненія договора, т. е. истекають 24 года, выговоренные Фаустомъ у Мефистофеля для земныхъ наслажденій, герой пов'єсти назначаеть насл'єдникомъ своего имущества ученика своего Вагнера. Самъ онъ приходитъ постепенно въ мрачное, отчаянное настроеніе. Повъсть сообщаеть плачи и причитанія доктора и злыя насмъшки надъ нимъ Мефистофеля. Въ роковую ночь поднимается страшный вътеръ, студенты слышатъ въ комнать Фауста шипънье и свисть злыхъ духовъ и крики самого доктора. Фаустъ растерзанъ чертями... Повъсть заключается дидактическимъ обращеніемъ къ читателю, въ которомъ авторъ предостерегаетъ его отъ гордости, вольномыслія и безбожія.

Таково въ общихъ чертахъ содержание первой литературной редакціи народныхъ сказаній о Фаустъ. Главная тема ея: отреченіе отъ божества и договоръ съ чортомъ; къ этому отречению ведетъ Фауста съ одной стороны его вольнодумство, съ другой-стремление удовлетворить своимъ прихотямъ и чувственнымъ наслажденіямъ. Въ сознанін автора Фаусть является великимъ грашникомъ, пожинающимъ въ заключение заслуженные плоды своего высокомърія и распутства. Такъ относились люди XVI въка къ первымъ симптомамъ пробуждающейся мысли; зарождавшіяся въ обществъ критическія стремленія были уже настолько сильны, что сдёдались темою цёлаго цикла сказаній, стали общеннтереснымъ предметомъ, который завладёль и литературой, но сила традицій была еще такъ упорна и значительна, что представитель критическихъ отрицательныхъ тенденцій, выразитель воваго духа сомижнія, по общественнымъ понятіямъ того времени, могъ появиться только въ образъ гръщнаго, высокомърнаго сластолюбца, который подлежить категорическому осужденію. Такимъ обравомъ Фаустъ, въ повъсти XVI въка — человъкъ развращенный, безнравственный, отпітый въ глазахъ массь и образованнаго меньшинства. Согласно съ этимъ возарвніемъ авторъ повъсти любитъ останавливаться на приключеніяхъ Фауста, на его шалостяхъ, выдумкахъ и затъяхъ, любитъ описывать его безсмысленныя продълки и надувательства. Въ противоположность позднийшим воспроизведеніямъ той же саги, онъ не вдается въ подробности умственной борьбы Фауста, его жажды къ знанію, его пытливости, его научныхъ стремленій, и къ тому же всякій разъ клеймить эти стремленія, какъ гръховныя. Такова была эпоха, которая возводила сиблыхъ мыслью на костры инквизиціи и видъла въ пробивавшихся порывахъ пытливости преступныя поползновенія души, отвратившей лицо свое отъ Бога и попавшей въ вражьи съти злаго духа.

Повъсть о докторъ Фаустъ была переиздана нъсколько разъ въ теченіе послъдующихъ годовъ. Въ 1588 г. явилась риемованная обработка сказанія, а въ XVII въкъ сага появилась на сценъ народныхъ кукольныхъ театровъ Германіи и не сходила съ этой сцены до настоящаго времени. Въ 1598 г. повъсть была переведена Palma Cayet на французскій и еще раньше перенесена была въ Англію и дала мате-

ріаль для драмы одному изъ самыхъ крупныхъ поэтовъ времени Елизаветы — Марло. Црама Марло «Докторъ Фаустъ» была написана, по мивнію изследователей, уже въ 1588 г. Сравнительно съ немецкой повъстью мы находимъ въ ней попытку объяснить характеръ интереснаго героя, мотивировать его поступки, подвергнуть его личность психологическому анализу. Но во всёхъ основныхъ чертахъ содержанія драма согласна съ повъстью, а, судя по вступительнымъ и заключительнымъ словамъ хора, и въ общемъ воззрѣніи на изображаемую личность. Если Марло самъ, лично, и не раздёлялъ господствовавшихъ взглядовъ своего въка, то, какъ сценическій писатель, онъ необходимо долженъ быль подчиниться требованіямь публики и ея преобладающимь тенденціямъ. Поэтому и въ его драмъ Фаустъ является осужденныма гръшникома, развратникомъ и фантазеромъ, который тёшится исполненіемъ замысловатыхъ проектовъ. Впрочемъ драма относится мягче къ герою, чемъ повесть; иногда речи Фауста возбуждають въ зрителе даже глубокое сочувствие къ его личности, къ его страданіямъ, однимъ сдовомъ — драма человъчнъе. Но какъ бы то ни было, и повъсть, и драма — продукты ХУІ въка; личность смълаго изслъдователя и критика является въ нихъ гръховною; нътъ для нея оправданія. Разница въ томъ, что авторъ повъсти — писатель средней руки, теологъ, проникнутый духомъ протестантской нетерпимости; авторъ драмычеловъкъ свътскій, для своего времени терпимый, котораго пуритане даже обличали въ невъріи, притомъ сильный таланть, даровитый литературный дъятель. Такимъ образомъ-та двойственность воззръній ХУІ віка, на которую я указываль вамь въ Шейлокі, отражается и на Фаустъ Марло.

Первый монологъ Фауста, въ которомъ изображаются его теоретическія стремленія, въ которомъ онъ высказываетъ свое недовольство всёмъ кругомъ наукъ того времени, принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ пьесы. Въ немъ Марло развиваетъ тѣ мотивы о присущихъ Фаусту стремленіяхъ къ знанію, которыхъ только слегка касается первоначальная повѣсть. Философія и логика представляются для Фауста лишь орудіями діалектики, празднаго словопренія. Медицина ему хорошо извѣстна, но онъ отчаивается въ возможности когда-либо сдѣлать при ея помощи людей безсмертными или оживить мертвыхъ. Право, Юстиніановы институты, по его мнѣнію, могутъ удовлетворить только жалкаго наемника и промышленника. Наконецъ онъ обра-

щается къ теологіи. Передъ нимъ библія въ нереводъ Іеронима. «Смерть есть воздаяние за гръхи», ---чигаетъ опъ въ пей; «отрицая наши прегръшенія, мы обманываемъ самихъ себя, и неть истины въ насъ. Какъ же это», говоритъ Фаустъ, «мы должны гръшить, и несмотря на это, все-таки осуждены на смерть, на въчную смерть?» Онъ оставляеть теологію и обращается въ магіи. — Но этотъ монологь стоитъ довольно изолированно. Драма наполнена ребяческими выходками Фауста, который забавляется въ ней, какъ и въ повъсти, самыми безсмысленными продълками. Марловскій Фаустъ упивается своимъ могуществомъ, и научныя, отвлеченныя его тенденціи какъ-то стушевываются передъ дътскими шалостями ученаго доктора. Авторъ охотно рисуетъ разнообразныя приключенія своего героя при дворѣ папы, императора и высокопоставленныхъ лицъ, приводитъ разговоры и остроты клоуновъ; внутренняя борьба въ Фаустъ отступаетъ на задній планъ. Сравнительно съ мрачнымъ, исполненнымъ отчаянія образомъ Гётева Фауста, въ героъ Марло много младенческаго, наивнаго; его приводить въ восторгь возможность осуществить задуманныя имъ небылицы; его влекуть блага жизни, за эти блага онъ отдается чорту:

> «Мић эта мысль покоя не даетъ, Она меня приводить въ упоенье, Что могъ бы я духами управлять, Ихъ заставляя дълать безпрестанно, Все, все, что только пожелаю я. Загадки всв мнв будуть разрешимы, И нътъ такихъ безумныхъ предпріятій, Которыя, при помощи духовъ, Мив будуть невозможными казаться. Я захочу — и въ Индію тъ духи За волотомъ слетаютъ для меня; Я прикажу — переплывуть моря, Чтобъ мив доставить редкости Востока, Они проникнутъ смело въ новый светъ И явятся съ сладчайшими плодами И съ чудесами новыхъ, чудныхъ странъ. Раскрыть передъ собой я ихъ заставлю Всю глубину безвъстныхъ мудрыхъ внигъ, И тайны всёхъ властителей узнаю. По моему жеданью сонмъ духовъ Мгновенно ствну мвдную воздвигнетъ Вокругъ родной Германіи, и Рейномъ, Какъ лентою блестящей, опоящеть Мой милый Виттенбергъ.

Въ последней сцене описывается гибель героя. Последній монологъ Фауста изображаетъ муки гръшника передъ казнью. Въ Марловскомъ Фаустъ мы не находимъ того гордаго титанизма, которымъ проникнуты скептики XIX въка; ему далеко до Байроновскихъ героевъ, до какого-нибудь Манфреда, который умираеть съ ироніей на устахъ, до тъхъ демоническихъ натуръ, которыя до конца остаются върны самимъ себъ, своимъ убъжденіямъ, до конца пребываютъ непреклонными въ своемъ отрицаніи. Отрицаніе Марловскаго Фауста нельзя назвать чистымъ результатомъ мысли, умственнаго труда. 24 года, предоставленные ему Мефистофелемъ, онъ весело, припъваючи прожилъ на вемль, стараясь прогнать мысли о будущемъ. И вотъ, въ послъдней сцень, онъ является какимъ-то слабымъ, жалкимъ существомъ. молящимъ о пощадъ, взывающимъ то къ Богу, отъ котораго онъ нъкогда отрекся, то къ Люциферу, передъ которымъ онъ трепещетъ. «Сръзана вътвь», заключаетъ хоръ, «которая могла бы зацвъсти полнымъ цветомъ, сожженъ давровый венокъ Аполлона, некогда украшавшій этого ученаго. Фаустъ погибъ. Взирайте на его паденіе, и пускай его участь внушить мудрецу не проникать въ запрещенныя сферы, изучение которыхъ пагубно для души и не разръшено намъ свыше». То же предостережение высказываеть хоръ и въ прологъ, гдъ онъ указываетъ на Фауста, какъ на гордаго и себялюбиваго мужа, нытавшагося на восковыхъ крыдьяхъ вознестись въ недоступныя области въдънія и павшаго жертвою своего высокомърія.... Итакъ, въ общемъ итогъ Фаустъ представляется для насъ несчастною, заблуждающеюся личностью, обреченною на въчныя мученія. Марло обработаль свой сюжеть такъ, какъ понимало его то время. «Другое, болъе возвышенное отношение къ темъ», говоритъ совершенно справедливо Lewes, «гораздо менъе полюбилось бы его публикъ. Она не уравумъла бы поэму съ философскимъ вначеніемъ; она не захотъла бы повърить болъе благороднымъ тенденціямъ въ Фаустъ; и еслибъ поэть въ заключение спасъ своего героя, это было бы не только ошибкой противъ народной саги, но и противоръчило бы нравственнымъ понятіямъ зрителей». Потому въ драмъ Марло нельзя отыскивать, да и нельзя найти воплощенія философской идеи о внутренней борьбъ человъка; это просто - художественная и осмысленная обработка народной повъсти. Болъе глубокое, символическое освъщение этихъ темъ принадлежитъ XVIII - XIX въку.

Прежде, чвиъ перейти къ обработкамъ фаустовской саги въ XVIII и XIX стольтіяхь, я должень обратить ваше вниманіе на нъкоторыя родственныя этой сагъ сказанія ХУІ въка, также проникнутыя фаустическими мотивами. Колебанія, въ которыя приведень быль западноевропейскій міръ возрожденіемъ науки и искусствъ въ XV—XVI въкахъ-у разныхъ народностей, въ различныхъ странахъ принимали самыя разнообразныя формы. Цивилизація сошла съ избитой колен. Броженіе умовъ было повсемъстное. Въ старинъ начиналось разложеніе; по-немногу развинчивался въками скрыпленный аппарать преданій и в'трованій. И вм'тст'т съ тімъ, новыя чудныя картины и ар'тлища возставали передъ взорами пробуждающагося человъчества и вывывали въ немъ новыя идеи, новыя упованія и сомнѣнія. Трудами гуманистовъ совлеченъ былъ покровъ съ міра античнаго, произведенія котораго знакомили западную Европу съ иными понятіями и образами, съ иными идеалами, далеко расходившимися съ формами средневъковаго быта. А тутъ — книгопечатаніе, открытіе Америки, техническія усовершенствованія, реформація. Въ то время, какъ въ Германіи, въ пронивнутой абстрактными спекулятивными тенденціями нъмецкой народности, принципы отрицанія направляются въ теоретическую область религіозныхъ и метафизическихъ вопросовъ, и выставляють героями-церковнаго реформатора Лютера и чародъя-вольводумца Фауста; въ то время, какъ Франція съ королемъ своимъ во главъ помираетъ со смъху отъ острой сатиры Рабле, бевнощадно глумящейся надъ католическими и феодальными основами старины, — въ Испаніи, въ гибадъ фанативна и инквизиціи, слагаются саги о вольнодумцъ-повъсъ Донъ Жуанъ. Послъ Фауста Донъ Жуанъ-любимый герой литературныхъ произведеній новаго времени; и это-не безъ основанія.

Подобно Фаусту Донъ Жуанъ — отрицатель; онъ не привнаетъ господствующихъ традицій, топчетъ ногами законъ божескій и челов' в'ческій, проводитъ жизнь въ распутств', въ удовлетвореніи своей чувственности и обреваетъ душу чорту. Но между нимъ и Фаустомъ— глубокая разница, которая обусловливается м'тотомъ происхожденія того и другаго типа. Н'тмецкій герой — докторъ, ученый; легенды выставляютъ его развратникомъ, но упоминаютъ и о его мудрости; истый представитель своей народности, — это все-таки мыслитель и научный скептикъ. Хотя цервоначальная легенда не останавливается

подробно на умственной характеристикъ Фауста, она все-таки выставляетъ его разумникомъ, ученымъ профессоромъ; онъ вращается въ университетскихъ кружкахъ, издаетъ Теренція и Плавта, возится со студентами, завъщеваетъ имущество своему ученику Вагнеру, наконецъ влюбляется-въ кого же? въ Елену, въ женщину классической древности, съ образомъ которой онъ сроднился по книжкамъ, которая является для него очаровательной представительницей чуднаго, античнаго міра, воскресавшаго въ идеальныхъ очертаніяхъ въ умахъ гуманистовъ XV — XVI въка. До всего этого дъла нътъ Донъ Ж уану; это —герой католической Испаніи, гидальго, душа-дворянинъ; онъ является какъ бы воплощениемъ крайней реакции противъ учения объ умерщвленін плоти; его скептицизмъ-результать чувственности, не знающей предъловъ, не хотящей ограниченій, отрицающей религіозныя и общественныя установленія для того, чтобъ распуститься со всей безшабашной удалью, со всемъ задоромъ повесы — ухаживателя. Фонъ въ Фаустъ-мысль, дума; въ Донъ Жуанъ-чувство. На первомъ лежить отпечатовъ съверной, германской абстракціи; испанская сага дышетъ южнымъ зноемъ чувственности. Потому-то впоследстви образъ Фауста, идея напряженной работы мысли нашла себъ выражение въ литературномо созданіи Гёте, въ поэзіи, въ искусствъ слова и мысли; между тъмъ жизнь чувства, настроенія воплотилась въ звукахъ, въ великой онеръ Моцарта. Потому-то тема о докторъ Фаустъ никогда не можетъ получить полнаго художественнаго возсозданія въ музыкальномъ творенін *) и напротивъ того, донъ-жуанизмъ ярче и рельефиве всего выливается въ звуковыхъ сочетаніяхъ, передающихъ волнующійся міръ настроенія. Замітьте при этомъ, что типъ Фауста вообще шире, универсальнъе типа донъ-жуана, потому что та сторона Донъ Жуана, которая составляетъ главное содержание его характера, — чувственность входить, какъ элементь, и въ Фауста. Останавливаться на подробностяхъ интересной литературной исторіи Донъ Жуана я не имъю времени. Замъчу только, что народная испанская сага (преимущественно севильская) впервые получила литературную обработку въ пьесъ монаха Тирсо де Молины, жившаго въ

^{*)} Извъстная опера Гуно сосредоточивается не на Фаустъ, а на Маргаритъ, на томъ эпиводъ фаустовской темы, гдъ выступаетъ донъ-жуанивиъ героя, гдъ играетъ преобладающую роль не отвлеченныя его тенденція, а любовь.

концѣ XVI и началѣ XVII вѣка, а затѣмъ обошла весь романскій міръ. Труппа итальянскихъ актеровъ занесла ее во Францію, гдѣ Мольеръ сдѣлалъ Донъ Жуана героемъ своего Festin de pierre, и затѣмъ въ Германію, откуда, при Петрѣ Великомъ, пьеса о Донъ Жуанѣ попала къ намъ въ Россію; русскую обработку пьесы подъ заглавіемъ «Донъ Педро и Донъ Янъ» издаетъ профессоръ Тихонравовъ.

Я не могу не упомянуть и о томъ славянскомъ отголоскъ фаустовскихъ сагъ XVI въка, который мы находимъ въ Польшъ въ скаваніяхъ о панъ Твардовскомъ *). Мъстный и національный отпечатокъ ярко окрасилъ эти любопытныя преданія. Польскій Фаусть — Твардовскій быль колдуномь въ Краковъ въ концъ XV и началь XVI въка. Къ тому же Кракову прикръпляютъ нъкоторыя нъмецкія легенды и дъятельность германскаго Фауста; такимъ образомъ весьма въроятно, что мотивы фаустовского сказанія перешли въ Польшу и перенесены были на польскаго героя Твардовскаго именно черезъ посредство мъстныхъ краковскихъ преданій. Твардовскій точно также заключаеть договоръ съ чортомъ и закладываетъ ему свою душу. Но Твардовскій — не крестьянскій сынъ, какъ Фаусть; герой польскаго сказанія, для того, чтобы заинтересовать своими приключеніями, въ шляхетской Польшъ долженъ быть дворяниномъ. Твардовскій — знатнаго рода. Когда онъ хочетъ нарушить заключенное съ Мефистофелемъ условіе, чортъ говорить ему: «Развъ ты не знасшь нашего договора? Слово дворянина должно быть твердо». Въ польской легендъ появляются и другіе мотивы м'єстной жизни и польскаго народнаго склада: обворожительное кокетство польскихъ женщинъ и специфическія отношенія поляковъ къ евреямъ. (Мицкевичъ обработалъ саги о Твардовскомъ въ прекрасной балладъ Pani Twardowska).

Таковы первые образы Фауста, его художественныя воплощенія XVI въка. Эти образы глубоко коренятся въ народной почвъ; Фаусты представляются намъ полусказочными героями, стоящими на границъ міра средневъковаго и новой эпохи. Личность мыслителя и критика облекается покровомъ чернокнижія, колдовства, разврата. Она—гръщная и осуждается обществомъ; но вмъстъ съ тъмъ она пріобрътаеть

^{*)} Cm. Hormayer, Taschenbuch für die Vaterländische Geschichte, Jahrgang 1838, S. 286-289.

значеніе; ею интересуются; объ ней складываются поэмы. Къ этимъ же темамъ совершенно иначе отнесется XVIII стольтіе.

Сказанія о доктор'в Фауст'в должны были привлечь вниманіе литераторовъ XVIII стольтія. Время самаго упорнаго боренія мысли съ традиціей, самой отчаянной критики должно было заинтересоваться легендами, въ которыхъ отразились первые порывы критическаго направленія, его зачаточныя движенія. Разумъется, отношенія къ сюжету значительно измънились со времени литературной обработки Шписа. Литераторы XVIII въка осмыслили первоначальное наивное сказаніе; они сдёдали его предметомъ символического толкованія. Сага превратилась въ философскую поэму. Изъ чернокнижника, въщаго человъка, изъ гръшника, отрекшагося отъ теологіи, Фаустъ въ литературныхъ образахъ XVIII — XIX въка сдълался философомъ, который не можеть удовлетвориться метафизическимъ міровозарѣніемъ своей эпохи; его теоретическія стремленія уже не осуждаются категорически и безанелляціонно, какъ въ старину; напротивъ-къ нему приковываются симпатіи лучшихъ умовъ, которые усматриваютъ въ немъ борца человъчества, героя мысли. Къ этому присоединяется еще другое обстоятельство, доставившее Фаусту необыкновенную популярность въ концъ ХУШ и началъ ХІХ въка. Я уже вамъ не разъ указывалъ на то, какъ неравнодушно относилось ХУШ стольтіе къ личностямъ сильнымъ, протестующимъ, ищущимъ независимости и самостоятельности. Я говорилъ вамъ о развитіи въ ХУШ въкъ принципа индивидуализма, о томъ, до какихъ крайностей доходилъ культъ лица, какъ напр. мятежные геніи, ослъпленные этимъ новымъ идолопоклонствомъ, теряли изъ вида иногда даже то, подъ какимъ знаменемъ ратовало лицо, во имя чего оно протестовало. — Такое сильное лицо, протестующее, нестъснявшееся общепризнанными возаръніями, видъли въ Фаустъ, въ человъкъ, который для достиженія своихъ замысловь ставить на карту будущее блаженство и отдается чорту, какъ бы на зло установившимся понятіямъ. Итакъ-эпоха конца ХУШ и начала XIX въка по-своему взглянула на Фауста: старинной сказкю она дала философское значеніе, по старой канвъ она вышила символическій образъ, въ который воплотила собственныя стремленія. Фаустъ ХУШ въка главнымъ образомъ: 1) мыслитель и критикъ; 2) лицо протестующее, стоящее въ противоръчіи съ окружающимъ; сильно развитой индивидуума. Онъ-выравитель обоихъ принциповъ XVIII въка: научной критики и индивидуализма.

Изъ нъмецкихъ литераторовъ XVIII столътія первый — Лессингъ обратился къ обработкъ фаустовской саги. Съ свойственной его натурь чуткостью онъ заметиль въ этихъ сказаніяхъ те любопытные мотивы, которые должны были придать имъ особенный интересъ въ XVIII стольтін. Нъмецкій критикь нъсколько разъ принимался за драму о докторъ Фаустъ, но ему не суждено было привести въ исполнение своего плана. До насъ дошли только фрагменты и небольшія сцены, на основаніи которыхъ нельзя даже придти къ точному и опредбленному заключенію о задачахъ немецкаго литератора. Верно только то, что Лессингъ преимущественно интересовался именно той стороной Фауста, которая въ сказаніи XVI въка, какъ мы видъли, не получила имрокаго развитія, — его теоретическими стремленіями, его жаждой зпанія. Изъ борьбы со зломъ Лессинговъ Фаустъ выходить побъдителемъ. Мефистофель и черти слышать голось ангела: «не торжествуйте, вы не одержали побъду надъ человъчествомъ и наукой; божество не подало человъку благородивишія стремленія для того, чтобъ сделать его навеки несчастнымъ.

Затемъ за Фауста взялся Фридрихъ Мюллеръ, обывновенно называемый въ исторіи нёмецкой литературы живописцемъ Мюллеромъ (Maler Muller), — одинъ изъ мятежныхъ геніевъ періода бурныхъ стремленій. Въ его фрагментъ «Жизнь Фауста», вышедшемъ въ 1778 году, отражается безпокойное броженіе эпохи бурныхъ волненій. Ученый докторъ является дикимъ гоніемъ во вкуст семидосятыхъ годовъ, необузданнымъ въ страстяхъ, неукротимымъ и безпорядочнымъ. «Уже съ дътства», пишетъ Мюллеръ въ своемъ предисловіи, «Фаустъ быль однимъ изъ любимыхъ моихъ героевъ, потому что онъ представлялся инъ крупнымо человъкомъ, который сознавалъ всъ свои силы, чувствоваль узду, на которой держала его судьба, и всячески старался перегрызть эту узду. Это человъкъ, который имъетъ достаточно мужества для того, чтобъ ломать все, что понадается ему на пути и мъшаетъ ему; въ его груди столько непосредственнаго чувства, что онъ привизывается къ чорту, видя въ немъ прямоту и искренность. Стремленіе быть вполит темь, на что чувствуещь себя способнымъ, -- это стремление естественно, точно такъ же, какъ и недовольство судьбою и міромъ, который угнетаетъ пасъ и склоняетъ нашу благородную, само-

стоятельную натуру, нашущеятельную волю передъ общепризнанными установленіями». Такова тенденція Мюллеровскаго Фауста, созданнаго тым врайними, порывистыми стремленіями мятежной эпохи, которыя увлекали за собой молодежь семидесятыхъ годовъ прошлаго въка и съ которыми мы уже имъли случай познакомиться на товарищахъ Гёте. Въ пьесъ мы встръчаемъ характеристическія указанія на воззрънія бурнаго періода. Она открывается изображеніемъ собранія чертей подъ предсъдательствомъ сатаны. Люциферъ жалуется на дюжинность, посредственность, слабосиліе эпохи; ремесло чорта потеряло всю прелесть съ этимъ жалкимъ сбродомъ людищекъ, которые лишены всякой самобытности, которые ничтожны и въ добродътеляхъ, и въ порокахъ. Нётъ героевъ, нётъ такихъ сильныхъ, забористыхъ малыхъ, говоритъ Люциферъ — съ которыми стоило бы повозиться; нътъ ни доблестныхъ людей, которыхъ было бы интересно совращать, ни цёль ныхъ злодбевъ, мерзавцевъ съ головы до пятокъ, въ родб какогонибудь Руджіери или Нерона. Жалобы Люцифера поддерживаются демономъ волота, духомъ сластолюбія и чортомъ литературы. При такомъ положеніи вещей, при такой мелкоть рода человьческаго гееннь грозить полное банкротство. Одинъ Мефистофель указываеть на Фауста. какъ на исключительную, сильную личность, надъ которой можно похлопотать. - Все это - обычные возгласы и жалобы бурныхъ геніевъ. мечтавшихъ о полномъ разрывъ съ ничтожною дъйствительностью, съ искусственнымъ, испорченнымъ, по ихъ мненію, бытомъ, о безпредельномъ развитіи силь отдільной личности, попирающей ногами всякую традицію, все обыкновенное и тривіальное. Мюллеровскій Фаусть выразитель этихъ крайнихъ необузданныхъ стремленій мятежной молодежи, которая въ своемъ безграничномъ отрицаніи ударилась въ абсурдъ, въ очевидныя противоръчія съ цивилизующими основами скептицизма; съ другой стороны мы уже видели, что эти крайности были необходимой ступенью, неизбъжной горячкой, которая вела къ обновленію и просвътленію умственныхъ и нравственныхъ воззръній прошлаго въка.

Глубже отнесся въ фаустовской легендъ другой бурный геній, пріятель Гете—Клингеръ. Судьба занесла его въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго въка въ Россію, гдъ онъ былъ наставникомъ великаго внязя Павла Петровича, потомъ директоромъ кадетскаго корпуса и затъмъ попечителемъ Деритскаго университета. Обстоятельства, въ ко-

торыя поставленъ быль Клингеръ, расш. рили его умственный кругозоръ и сблизили его съ вопросами, которые для большинства мятежныхъ геніевъ Германіи отступали на задній планъ. Мы видёли, что движение Sturm und Drang было преимущественно литературное, научное, философское, религіозное; наконецъ-опо коснулось и частпаго быта; но политическія и соціальныя тенденціи этого движенія были сравнительно слабы. Между тэмъ Клингеръ потерся въ высшихъ правительственныхъ и административныхъ сферахъ, присмотрелся къ отправленіямъ жизни государственной, столкнулся съ политическими и общественными вопросами. И вотъ, въ его романахъ мы встръчаемся ностоянно съ указаніями на разладъ въ соціальныхъ отношеніяхъ того времени. Они проникнуты мрачнымъ, пессимистическимъ міровозарвніемъ, которое отрицательно относится не только къ господствующимъ философскимъ, литературнымъ и религіознымъ представленіямъ, но и къ явленіямъ жизни публичной, политической. Это — отголоски идей «Общественнаго договора» Руссо, доктринъ котораго Клингеръ долго оставался върнымъ. Принъвы разочарованія и міровой скорби въ сочиненіяхъ Клингера иногда приближаются къ сумрачному міровоззрѣнію Байрона. Послѣ Фауста Гёте, Клингеровъ Фаусть едва-ли не самое крупное произведеніе, написанное на эту тему.

Романъ Клингера «Жизнь Фауста, его дъятельность и гибель» вышель въ Петербургъ, въ 1791 году. Это — одинъ изъ членовъ цълаго цикла романовъ, которые самъ Клингеръ называетъ философскими. Названіе характеристично. Оно одно уже указываетъ, что дъло не въ сказкъ, не въ фабулъ, не въ замысловатой интригъ, не въ занятныхъ росказняхъ о какихъ-нибудь приключеніяхъ и похожденіяхъ, а въ философскихъ идеяхъ, которыя авторъ стремится воплотить въ художественные образы... Съ этой точки зрънія пожалуй всъ крупныя литературныя произведенія разсматриваемой нами эпохи можно назвать философскими. Философіей подбито, опушено то міровозаръніе, которое они возсоздаютъ. Таковы Вертеръ, и Вильгельмъ Мейстеръ, и Wahlverwandtschaften Гёте, такова символическая пъснь о колоколъ Шиллера и лирическія драмы Байрона; а выше ихъ всъхъ, на недосягаемыхъ вершинахъ мысли и творчества стоитъ философская поэма Гёте съ своимъ философомъ-героемъ Фаустомъ.

Своего Фауста Клингеръ отождествляеть съ майнцскимъ типографіцикомъ Фаустомъ, однимъ изъ первыхъ мастеровъ печатнаго дъла въ

ХУ въкъ. Это прогиворъчить народной сагъ, но даеть Клингеру случай для развитія интересныхъ мотивовъ. Фаусть — изобрътатель внигонечатанія. Онъ-человікъ семейный. Благодаря окружающимъ обскурантамъ, онъ не можетъ извлечь выгодъ изъ своего изобрътенія и едва избъгаетъ голодной смерти. Поставленный въ нечальныя обстоятельства, Фаустъ ръщается призвать чорта. Сначала имъ овладъваютъ колебанія, съ одной стороны -- боязнь будущихъ мученій, религіозныя традицін, съ другой --- жажда независимости и знанія, гордость, здоба на людей. Ему является чений человычества и предостерегаеть его отъ ръшительнаго шага. Но люди «затопгали Фауста въ грязь»; онъ отворачивается отъ генія, который предписываеть ему смиреніе, терпъніе въ страданіяхъ и умфренность, и заклинаетъ дьявода. — Описывается пиршество въ аду. Изображение адскихъ увеселений наводитъ Клингера на сатирическія выходки. Въ преисподней дается представленіе. Медицина и шарлатанство пляшутъ менуэтъ, подъ музыку смерти, которая брякаетъ кошелькомъ, наполненнымъ золотомъ; юриспруденція, жирная особа, начиненная взятками, обвъщанная статьями законовъ, сипитъ соло, и ей вторитъ ябеда. На колесницъ, запряженной слабостью и обманомъ, въбзжаютъ политика и теологія, съ мечомъ въ одной рукъ, съ горящимъ факеломъ въ другой. Политика выходить изъ колесницы и пляшеть съ своей спутницей pas de deux. подъ тихіе и мягкіе звуки, которые наигрываютъ хитрость, властолюбіе и тираннія. Въ компаніи чертей заходить річь о Германіи, п когда одинъ изъ духовъ Левіаванъ съ пренебреженіемъ отзывается о народъ, изъ котораго никто не пожаловалъ въ адъ съ достоинствомъ и почетомъ, поднимается тощая твнь одного немецкаго доктора правъ. который униженно просить позволить ему заступиться за отечество. Защитительную рычь докторъ правъ начинаетъ съ восхваленія мудраго государственнаго устройства Германіи. «Скажите мив», говорить онъ, «гдъ въ міръ досель блистаетъ феодальная система, это образцовое созданіе силы и разсудка, какъ не въ Германіи? Поэтому ни одно государство не можеть быть названо счастливъе моего отечества». Докторъ защищаетъ нъмецкихъ владътелей. «Наши князья», говорить онъ, «лучшіе владыки въ міръ, пока они дъйствуютъ по собственной воль, т. е. нока они могуть дълать то, что имъ заблагоразсудится. И къ чему націи нашей возмущаться противъ нихъ? Развъ мы не одъты, развъ мы не имъемъ право ъсть и пить то, что можемъ по-

купать». Фаустъ заключаетъ договоръ съ Левіананомъ. Въ отчанни онъ спрашиваетъ у духа о причинъ господства въ міръ неправоты и порока. Ты долженъ разъяснить мит основы вещей-говорить онътайныя пружины явленій физическаго и нравственнаго міра. Фаустъ хочетъ постичь причины моральной порчи, отношения человъка къ въч ному и безусловному. Левіаванъ вбязуется ему показать весь міръ въ его выв и негодности. Въ странствіяхъ своихъ по бълому свъту они вездъ встръчаются съ самыми мрачными картинами общественнаго быта. Самыми темными красками изображается Германія; она не нравится даже чорту, который видить вь ней всюду схоластику, драки между дворянами, торговлю правителей подданными и разореніе крестьянъ. Особенно интересна въ романъ характеристика Лафатера и нъмецкихъ мечтателей-піэтистовъ; эти страницы Клингерова Фауста принадлежать въ самымъ мътгимъ и остроумнымъ, и очень любопытны въ бытовомъ отношеніи.... Въ міръ, по роману Клингера, господствуеть полное безправіе, полное торжество зла. Во зло обращаются даже всв отдельныя благія начинанія. Всв попытки удучшенія общественныхъ и частныхъ отношеній приводять къ злу. Человъкъ является испорченнымъ до мозга костей цивилизаціей и исторической жизнью.... По приказанію Фауста, чорть спасаеть утопающаго; спасенный соблазняетъ жену Фауста и обкрадываетъ ее. Въіцими средствами своими Фаустъ накавываетъ одного владътельнаго архіепископа и исправдяєть его: архіепископъ становится мягкимъ и добрымъ владывой, но всябдствіе его снисходительности расшатывается общественный порядовъ, и подданные становятся негодяями, пьяницами и ворами. Тирады Клингера, несмотря на ихъ очевидныя натяжки, проникнуты искренностью и глубокою скорбью о соціальныхъ бъдствіяхъ человъчества. Изъ лабиринта жизненныхъ противоръчій, изъ омута житейскихъ несправедливостей, изъ грязи, нанесенной цивилизаціей. Клингеръ, ученикъ Руссо, указываетъ на первобытную простоту и природу. Разрѣшеніе міровой скорби онъ находить въ нравственномъ самообладаніи лица, въ сліной увібренности въ силу добродътели, — развязка неясная, искусственная, метафизическая. Но другой п быть не могло. Клингеръ слишкомъ кръпко стоялъ на почвъ эпохи бурныхъ стремленій и Руссо, чтобъ освободиться отъ предвзятыхъ идеальныхъ воззрвній, которыя требовали отъ живни не того. что она можеть дать, а какой-то сверхъестественной гармоніи, какогото фантастическаго совершенства. Я уже имълъ случай вамъ говорить, что пессимизмъ, подобный клингеровскому, является слъдствіемъ ложныхъ представленій о жизни. Въ основъ міросозерцанія Клингера лежали радужныя воззрѣнія на первобытную природную доброкачественность человъка и на какое-то особенное высокое его назначеніе.

Не подлежить сомниню, что съ сказаніями о доктори Фаусти Гёте познакомился еще въ детстве изъ народныхъ повестей и кукольныхъ представленій. Мысль-воспользоваться этими темами, какъ художестреннымъ матеріаломъ, овладъла имъ во время пребыванія его въ Страсбургъ, едва ли не въ одно и то же время съ проектомъ драмы Гёцъ. Его занимала нъмецкая старина, и въ ней необходимо должны были привлечь его внимание эти двъ импозантныя фигуры XVI въка, изъ которыхъ одна очаровывала его своей дъвственной мощью и самобытностью, другая — своими теоретическими стремленіями, своими критическими наклонностями и гордыми притяваніями выйти за предълы человъческой ограниченности, завязать сношенія съ верховными существами, въщей силой своей властвовать надъ міромъ явленій. Съ этихъ поръ, съ страсбургскаго періода вадача воспроизвести легенду о Фаустъ не покидаетъ Гёте; но сначала она отступаетъ на второй планъ: онъ занятъ сравнительно более легкими, такъ сказать, болъе юношескими мотивами — отважнымъ, безпардоннымъ Гёцемъ и пылкимъ, мечтательнымъ фантазеромъ-Вертеромъ, въ которомъ однако уже можно усмотръть черты будущаго облика Фауста. Между тъмъ за три, за четыре года Гёте много почиталь, много передумалъ, пережилъ и нъсколько поостепенился: бури и стремленія, которыя кипъли въ эпохъ и въ его груди, обобщились въ его сознаніи, выяснились ему съ большей полнотой, представились ему еще рельефийе.... Опять забродили въ немъ мотивы фаустовскихъ сагъ, и теперь были набросаны первыя сцены, которыя читаль Гёте Клопштоку въ сентябръ 1774 года, а потомъ въ болъе полномъ видъ весною 1775 года Фридриху Якоби. Такимъ образомъ, къ этому времени, къ 1774-75 году относится первая редакція Фауста, въ которую вошло приблизительно следующее: первый монологь, следующая за нимъ бестда съ Вагнеромъ, эпизодъ съ Гретхенъ, за исключеніемъ сценъ-у колодца, въ оградъ, за прялкой; смерть Валентина была присоединена впоследствии, равно какъ и некоторыя измененія въ сценъ въ тюрьмъ. Осенью 1775 г. повидимому были набросаны:

сцена прогулки, первые два діалога Фауста съ Мефистофелемъ и написаны были: бестда Мефистофеля со школьникомъ и картина ауербахова погребка. — Въ этомъ первоначальномъ видъ Фауста содержится едва ли не сущность всего произведенія; по крайней мірь уже здісь намвчены всв главныя темы, такъ сказать, положены на ноты основные напъвы, заданъ тонъ всей пьесъ. Эти первоначальныя сцены принадлежать къ самымъ яркимъ и живымъ элементамъ произведенія. — Въ такой форм'в Фаустъ быль нав'встенъ друзьямъ Гёте, который любиль читать свое произведение въ пріятельскихъ кружкахъ, на вечеринкахъ у герцога. Друзья считали Фауста самымъ крупнымъ созданіемъ молодаго поэта, Меркъ называль его выкраденнымь у самой природы, вполить втрнымъ природт; уже тогда на Фауста зарились предпріимчивые книгопродавцы. — Но Гёте не печаталъ своей рукописи. Онъ еще долго ходилъ и лелъялъ излюбленное дитя своей фантазін, постоянно возвращаясь въ нему въ минуты наплыва творческихъ силъ, находя въ немъ утъщение отъ случайныхъ невзгодъ н житейскихъ неудовольствій. Старую пожелтівшую обветшавшую рукопись Фауста Гёте взяль съ собой въ Италію; тамъ-весною 1788 г. онъ перечиталъ ее, остался совершенно доволенъ общимъ тономъ всего произведенія, иначе -- остался в'тренъ своему первому плану, своему первому отношенію къ сюжету, и на досугь, въ саду виллы Боргэзе, написаль новую сцену «кухня въдьмы». Наконець, въ 1790 году въ седьмомъ томъ своихъ сочиненій онъ напечаталь Фауста---«фрагментъ». Не все написанное изъ Фауста было напечатано Гёте. Въ изданный фрагментъ вощелъ первый монологъ, бесъда съ Вагнеромъ, окончание договора Фауста съ Мефистофелемъ, со словъ «Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist», разговоръ Мефистофеля со школьникомъ, сцены съ Гретхенъ до сцены въ соборъ, монологъ Фауста въ пещеръ. Начиная съ 1795 года Гете опять возится съ Фаустонъ, беседуетъ о немъ съ Шиллеромъ, пишетъ въ 1797 г. посвященіе, оба пролога, золотую свадьбу Оберона и Титаніи; въроятно въ это же время онъ обработываеть второй монологь Фауста и первую бестду его съ Мефистофелемъ. Въ 1800 г. онъ присоединяетъ къ написанному сцену на Брокенъ и эпизодъ о смерти Валентина. Наконецъ, послъ окончательной обработки, весной 1808 года появилась въ печати вполнъ первая часть Фауста. Такимъ обравомъ, въ исторіи этой первой части следуетъ различать три пункта:

1) время созданія первой редакціи—годы 1774 и 1775; 2) время напечатанія фрагмента въ 1790 г., и 3) полное изданіе первой части поэмы въ 1808 г. Какъ я уже сказаль, творческая иниціатива «Фауста» относится къ эпохѣ бурь и стремленій, которая натолкнула Гёте на сюжеть, получившій въ его произведеніи значеніе итога къ цѣлому періоду человѣческаго развитія.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Фаустъ.

О симводическомъ значенія Фауста. — Объясненіе двухъ первыхъ монологовъ. — «Du bist am Ende — was du bist».

Когда послъ небольшаго перерыва Гёте въ 1797 году снова принялся за Фауста, на его запросы Шиллеръ высказалъ между прочимъ следующее замечаніе: «Пьеса о Фаусть, при всей своей художественной самобытности, не можетъ отстранить отъ себя требованій символическаго смысла; таковъ въроятно и Вашъ собственный планъ. Двойственность человъческой природы и неудавшіяся стремленія примирить въ человъкъ божественное и матеріальное — это не теряется изъ вида; нельзя остановиться на фабуль, отъ нея хочешь перейти къ идеямъ, Однимъ словомъ, Фаустъ долженъ удовлетворить въ одно и то же время требованіямъ философскимъ и поэтическимъ; уже сама тема требуетъ философскаго отношенія къ предмету; творческая сила воображенія должна подчиниться идев. Врядъ ли мои слова представляютъ для Васъ что-либо новое, такъ какъ то, что написано уже, въ высокой степени удовлетворяетъ такой задачь». Таково было отношение къ сюжету Шиллера и самого Гёте, который въ 1827 году выражается слъдующимъ образомъ о Фаустъ: «Характеръ Фауста, на той ступени, на которую подняло его изъ грубой народной сказки современное міровозэртніе, — это характеръ человтка, который нетеритливо бытся въ рамкахъ земнаго бытія и считаетъ высшее знаніе, земныя блага и наслажденія недостаточными для удовлетворенія своихъ стремленій, человъка, который, метаясь изъ стороны въ сторону, нигдъ не можетъ

найти желаннаго счастья».... Будемъ слѣдить за выраженіемъ этой основной идеи въ поэмѣ Гёте, постараемся уяснить себѣ этотъ глубоко-задуманный характеръ идеалиста, до основаній тронутаго, пораженнаго критикой, разъѣдаемаго скептицизмомъ, характеръ, завершающій рядъ общественныхъ типовъ новой исторіи. Мы обратимся прямо къ первой сценѣ драмы, къ первымъ двумъ монологамъ Фауста, которые познакомятъ насъ съ существенными, основными чертами этого образа. Хотя монологи написаны поэтомъ въ разное время и первая сцена въ той формѣ, какъ она читается теперь, издана была лишь въ 1808 году, тѣмъ не менѣе оба они проникнуты единымъ духомъ и возърѣніемъ, оба сводятся къ одной коренной идеѣ, которая развивается во всей драмѣ.

Продолжительныя ревностныя научныя занятія, изученіе философіи, права, медицины и теологіи привели Фауста къ горькому совнанію того, что онъ по-прежнему— невѣжда, хоть бы и не учился! Онъ пришелъ къ убѣжденію, что люди ничего не могутъ познать; эта мысль приноситъ ему нестерпимыя муки, она обусловливаетъ его безутѣшную скорбь.

«Und sehe, dass wir nichts wissen können! Das will mir schier das Herz verbrennen».... *)

Остановимся. Уже здёсь, лишь только мы прочли нёсколько первыхъ строкъ знаменитаго монолога, мы столкнулись съ общими мотивами страданій Фауста. Онъ скорбить о суетности науки. Постараемся выяснить, какъ пришелъ Фаустъ къ такому бевотрадному заключенію, къ такому мучительному отрицанію знанія. Что, въ самомъ дёлё, разумёсть онъ подъ дойствительными знаніями, чего искаль онъ въ наукт и не нашелъ въ ней, какихъ результатовъ ожидаль онъ отъ своихъ занятій, къ чему стремился онъ въ своихъ познаніяхъ? На это указывають дальнтинія строки:

 Dass ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhält,
 Schau' alle Wirkenskraft und Samen...
 Wo fass' ich dich, unendliche Natur?

(Пер. Холодковскаго.)

^{*) «}И вижу все-жъ, что не дано намъ знанья. Изныла грудь отъ жгучаго страданья!»

Euch Brüste, wo? Ihr, Quellen alles Lebens, An denen Himmel und Erde hängt...*)

Итакъ, вотъ чемъ онъ задавался: проникнуть въ таинство мірозданія, въ сокрытую сущность міровыхъ отправленій, прозрѣть всѣ дъятельныя силы міра, обнять въ своемъ сознаціи безконечную природу, познать источники жизни, корни бытія, рычаги вселенной, небо и землю. Однимъ словомъ: онъ ищетъ абсолютнаго, безусловнаго, онъ жаждетъ безграничнаго въдънія. - На эти требованія, мм. гг., наука не можетъ дать отвъта. Область научнаго изслъдованія — міръ условнаго, относительнаго, - явленія, предметы опыта и наблюденія. Здёсь ея царство, и наука не придерживается завоевательной политики: она поставлена въ необходимость бросить всякіе проекты и мечты овладъть чуждыми безвъстными странами. Такимъ образомъ, Фаустъ задаеть наукъ ложныя требованія. Но почему это? Откуда возникли въ немъ эти необузданныя, неукротимыя стремленія, эти странныя для насъ притязанія забраться съ наукой туда, гдв для нея нвть мъста и приложенія? Отвъть на такіе вопросы, которые ставить Фаустъ, можетъ дать только въра для върующаго. Върой ръшается все, для нея нътъ границъ, нътъ преградъ. Поэтому такъ пъльно, такъ гармонично и невозмутимо-самодовольно міровоззрѣніе эпическаго чедовъка. Все какъ будто ясно, просто, легко. Но Фаустъ уже давно утратилъ живое, непосредственное, наивное върованіе:

> «Mich plagen keine Scrupel noch Zweifel, **) Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel».... (allein mir fehlt der Glaube» ***)

(Пер. Павлова.)

Не боюся я чорта и адскихъ мученій....

(Пер. Павлова; третья строка — изъ втораго монолога).

^{*)...... «}чтобъ силу понять,
Коей движется міръ и живетъ все живое...
....Какъ обниму я тебя, необъятная?
Тайный родникъ бытія
Гдъ я найду? Онъ могучей струею
Небо и землю поитъ....

^{**)} Подъ «Zweifel», какъ видно изъ следующей строки, следуетъ разуметь вдесь сомнения въ догматахъ определеннаго вероисповедания.

^{***) «}Не страдаю отъ робкихъ сомивній,

^{....} Невозвратима въра мнъ живая.

Удовлетвориться рѣшепіями религіознаго кодекса онъ не можеть Онъ пе доработался еще до точныхъ паучныхъ воззрѣній, которыя ограничиваютъ кругъ нашихъ познаній, и вмѣстѣ съ тѣмъ уже лишился тѣхъ глубокихъ всесильныхъ вѣрованій, на которыхъ зиждилось все средневѣковое міровоззрѣніе. Фаусть—на почвѣ срединюй, т. е. метафизической. — Отсюда его скорбь: «Dafur ist mir auch alle Freud'entrissen!».... *)

Въ двухъ словахъ я напомню вамъ различіе между этими треми ступенями міровозарѣнія: первобытное, эпическое, религіозно-наивное опирается исключительно на вѣру и отрицаеть науку; срединное, метафизическое старается мирить вѣру съ знаніемъ, путаетъ вопросы научные съ религіозными, къ наукъ относится съ точки зрѣнія религіи, а самой религіи предлагаетъ научные вопросы; наконецъ третье, научное міровоззрѣніе опирается на изслѣдованіе и рѣзко отдѣляетъ область, подлежащую научному вѣдѣнію, отъ сферы религіозной; оно не путаетъ вопросы другь другу чуждые, оно помнить слово «Кесарево Кесарю, Божіе Богу» и потому строго разграничиваетъ предметы науки отъ предметовъ религіи; за собою оно вполнѣ удерживаетъ изслѣдованіе міра явленій, рѣшеніе задачъ относительныхъ, и въ эту область не допускаетъ посторонняго вмѣшательства; религіи оно предоставляеть вѣдать абсолютное и сверхъестественное, и въ свою очередь не заходить въ эту сферу.

Возвращаюсь къ Фаусту. Онъ стоитъ, какъ я уже сказалъ, на почвъ срединной, метафизической. Тъ вопросы, которые для него прежде, когда еще онъ не утратилъ цъльныхъ наивныхъ представленій, — въ дътствъ, разръшала въра, онъ задаетъ наукъ; другими словами: наукъ онъ предлагаетъ ненаучныя требованія. Онъ хочетъ силою своего личнаго умствованія, своимъ единичнымъ трудомъ, словно какимъ-то чудомъ, дойти до познанія абсолютнаго, что невозможно, и до ръшенія такихъ задачъ, которыя раскроются наукъ можетъ быть черезъ многія сотни и тысячи лътъ, послъ въковаго точнаго опыта настойчивою работою многочисленныхъ покольшій, продолжительнымъ историческимъ ростомъ цивилизаціи.

Итакъ, Гётевъ Фаустъ—метафизикъ. Но это не метафизикъ конца XVI въка, не наивный схоластикъ, который, черпая поперемънно изъ

^{*) «}За-то я радостей не знаю».....

каноническихъ книгъ и Бэкона Верудамскаго, изъ омы Кемпійскаго и гуманистовъ, еще не замѣчаетъ, что разнородные элементы, которые онъ пытается соединить, химически несродны. Такому сходастику, который, положимъ, живетъ въ XVI вѣкѣ, дѣло научное—такое новое дѣло, и онъ ему предается съ такимъ ребяческимъ любонытствомъ, съ такою младенческою безпомощностью, что не различаетъ несообразностей въ своихъ пріемахъ, не замѣчаетъ противорѣчій на пути своихъ изслѣдованій. Онъ сыплетъ что попало въ свою реторту, съ дѣтской радостью зажигаетъ подъ нею пламя, ждетъ—что-то выйдетъ, и доволенъ даже тогда, когда ничего не выходитъ. Его занимаетъ процессъ научнаго занятія; это для него такая новая забава, такое непривычное дѣло, и онъ предается ему со всѣмъ невиннымъ невѣдѣніемъ юнаго школьника, не закаленнаго въ научныхъ бояхъ и неудачахъ.

Не таковъ Гётевъ Фаустъ (я говорю, разумбется, не о поэтическомъ лиць, а объ философскомъ образь). Это — метафизикъ-идеалистъ конца XVIII въка. Онъ самъ видитъ несостоятельность своего міровозэрвнія, онъ чувствуеть постоянныя противорвчія знанія и традицін; онъ знаетъ и о томъ, что наша познавательная способность ограничена, субъективна. Когда ему приходится говорить съ человъкомъ грубымъ, съ схоластическимъ тупицей, съ ученымъ неучемъ, какъ Вагнеръ, въ немъ особенно ръзко выступаеть его критицизмъ; праздная рёчь схоластика вызываеть въ немъ рёзкіе приговоры всей метафивикъ, исполненные глубокой ироніи насмъшки надъ представленіями метафизическаго идеализма. Но когда Фаустъ наединъ, самъ съ собой, когда онъ сидить углубившись въ свои мысли, -- тутъ выступаютъ всв его сомивнія и колебанія. Такимъ образомъ, это метафизическое міровозэртніе, двойственность и противортчія котораго ощущаєть самъ Фаустъ, но отъ котораго онъ еще не можетъ отръшиться-такъ всасываются въ самую кровь въками выработанныя и временемъ освященныя традицін-это метафизическое міровозарвніе и есть причина скорби Фауста; оно не даетъ ему никакихъ твердыхъ опоръ, никакой поддержки, никакой надежной исходной точки.

Эта скорбь, какъ мит уже случилось говорить вамъ при разсмотртніи Вертера, въ концт XVIII и началт XIX вта была въ обществт того времени явленіемъ эпидемическимъ. Ее обыкновенно называють міровою (Weltschmerz, le mal du siècle) какъ бы въ противоположность частному, личному горю человта. Міровой скорбникъ страдаетъ какъ

бы за все человъчество, за все свое поколъніе; сама природа человъка, ея ограниченность, ея конечность — мотивы его страданій. Не личное несчастіе — корень пессимизма Фауста; это не результать его практическихъ неудачъ или ударовъ судьбы, не продуктъ какой-нибудь несчастной страсти, не находящей удовлетворенія, не слъдствіе житейскихъ невзгодъ и промаховъ.

Та міровая скорбь, которой Фаусть является чистымъ и наиболье ръзкимъ представителемъ, есть исключительный результатъ уиственной внутренней борьбы, глубокаго разлада въ міровоззрѣніи. Характеристическое отличіе Фауста отъ прочихъ скорбныхъ типовъ именно въ томъ и состоитъ, что въ его образѣ воплощается въ самомъ чистомъ видъли, какъ въ Вертерѣ мрачное его отношеніе къ жизни росло и усиливалось отъ мотивовъ побочныхъ, нетеоретическихъ; онъ раздражается столкновеніями съ практической жизнью, онъ предается несчастной страсти. Фаустъ, такъ, какъ онъ данъ намъ въ первой сцепѣ, а въ ней передана вполнѣ сущность его характера, —мученикъ метафизической мысли. Для него существуютъ только теоретическіе, научные интересы; ими онъ живетъ, въ нихъ онъ разочаровывается, изъ-за нихъ мучается и страдаетъ.

Отчаяніе въ наукѣ ведетъ Фауста къ магіи: «Drum hab'ich mich der Magie ergeben».... Мы уже видѣли, какъ въ XVIII вѣкѣ легко совершался переходъ отъ скептицизма къ фантастикѣ, какъ нерѣдко прибѣгали люди, не находя успокоенія въ знаніи, къ рискованному salto mortale въ фиктивный міръ мечтаній и грезъ, и пытались самыми причудливыми средствами проникнуть въ сферу заопытную; при помощи мнимыхъ магическихъ силъ сорвать покровъ съ невѣдомой и непостигаемой сущности бытія вещей.

Земной духъ, вызванный заклинаніями Фауста, является символическимъ образомъ природы. Тѣми многознаменательными словами, которыя духъ произносить при своемъ исчезновеніи, онъ напоминаетъ Фаусту о томъ, что для человѣка невозможно непосредственное созерцаніе отправленій природы, ихъ абсолютное познаваніе, что онъ связанъ извѣстными условіями своихъ способностей, закованъ въ предѣлы своей субъективности: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!».... Исполненный отчаянія, Фаустъ произносить слова, составляющія переходъ ко второму монологу: «Nicht dir? Wem denn? Ich. Ebenbild der Gottheit, und nicht einmal dir! *).

Вся сцена проникнута такой глубокой правдой, написана съ такой живостью и искренностью, что она представляется необходимымъ результатомъ пережитаго самимъ поэтомъ. Она напоминаетъ то настроеніе Гёте, о которомъ онъ говоритъ въ 10 книгъ Wahrheit und Dichtung, при изображеніи своей жизни въ Страсбургъ: «и я, подобно Фаусту, бросался въ разныя области знанія и скоро пришелъ къ заключенію объ его суетности; а съ другой стороны—практическія жизненныя отношенія поселяли во мить все большее недовольство и усиливали мои муки».

Такимъ образомъ, мы можемъ свести первый монологъ Фауста къ слъдующимъ темамъ: 1) невозможность успокоиться на данномъ міровозаръніи, 2) отрицаніе знанія и науки; она не можетъ удовлетворитъ тъмъ требованіямъ, которыя ей предлагаетъ Фаустъ, 3) обращеніе его къ магіи, 4) мучительная мысль о невозможности абсолютнаго познанія, мысль, вызванная въ немъ духомъ земли. Однимъ словомъ, въ этомъ монологъ вскрываются глубокія непримиримыя противоръчія въ метафизическомъ міросозерцаніи.

Обратимся ко второму монологу, къ тъмъ мыслямъ, которыя овладъваютъ Фаустомъ послъ исчезновенія земнаго духа и послъ бестды съ Вагнеромъ, перервавшей его размышленія. Стукъ Вагнера перебилъ Фауста на томъ вопросъ, который страдающій докторъ задалъ себъ относительно собственной природы: «Nicht dir? Wem denn? Ich, Ebenbild der Gottheit, und nicht einmal dir!».... Развитію взгляда Фауста на свою мичность, на ен назначеніе и задачи, посвященъ второй монологъ. Тотъ крайній дуализмъ, который поселилъ разладъ во всемъ міровоззрѣніи Фауста, который не позволяєть ему остановиться ни на старыхъ върованіяхъ, ни на положительной наукъ, который заставляєть его ложно смотрѣть на науку, какъ на средство разрѣшать ненаучныя задачи, отражается и на его отношеніяхъ къ собственной личности, къ человѣку вообще. Если первый монологь можетъ

(Пер. Павлова.)

^{*) «}Дух». Ты бливовъ нишь тому, кого ты понимаешь, Не мив.

Фауста. Какъ? Образъ и подобъе божества, Тебъ дъ не близокъ я? Кому же?»

быть сведенъ къ общему мотиву объ отчаяніи въ знаніи, то второй проникнуть мыслью о непримиримыхъ противортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтивортчіяхъ въ природтиворт

Традиція твердила о какомъ-то особенномъ, предопредвленномъ назначенім человъка, о какой-то сверхъестественной его миссіи; она проводила черту между нимъ и прочими созданіями, ставила его особнякомъ отъ другихъ явленій, называла его вінцомъ творенія, наділяла его способностью самостоятельно, независимо совершать поступки, абсолютно начинать извъстные акты. Традиція дълила человъческое существо на два враждебныя и другъ другу противоположныя начала: она отличала въ немъ въчный божественный духъ, заключенный, какъ въ темницу, во временную, инзкую матерію и ею ограничиваемый. Человъкъ являлся такимъ образомъ какимъ-то непонятнымъ аггрегатомъ безконечнаго и конечнаго, безусловнаго и относительнаго, высокаго и ничтожнаго. - Эти противоръчія разръшались живой върой, въ ней находили примирение: она могла соглащать все необъяснимое и непонятное. Но дуализмъ духа и матеріи не могъ быть выясненъ метафизическимъ ученіемъ, которое обращалось уже къ разуму и стремилось неискусными софизмами, неудачной діалектикой насильственно согласить и закръпить то, что такъ легко, такъ просто и наивно ръшалось религіознымъ вірованіемъ. Метафизика искала подтвердить логически такія положенія, которыя были созданы путемъ религіознаго соверцанія, которыя были продуктами первоначального патріархальнаго міровозарвнія. Это было невозможно. И воть Фаусть страдаеть оть этой невозможности уяснить себъ свою природу, примирить двойственность своихъ стремленій. Онъ стремится въ неисполнимымъ задачамъ, считая такія задачи человическими, и впадаеть въ отчанніе, постоянно натыкаясь на противортнія, на несостоятельность своихъ стремленій. Все діло въ томъ, что онъ не можеть отнестись въ человъческой личности просто, безъ предваятыхъ идеальныхъ возаръній; онъ не можетъ отръшиться отъ тъхъ фиктивныхъ представленій о какомъ-то возвышенномъ, сверхъестественномъ, абсолютномъ элементъ въ человъческой природь, и въ то же время постоянно приходитъ въ конфликть, въ противоръчіе съ этими представленіями. Какъ въ бреду онъ мечется въ своихъ колебаніяхъ.

> «Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon Ganz nah' gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit,

Sein selbst genoss in Himmelsglanz und Klarheit
Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft
Schon durch die Adern der Natur zu fliessen
Und, schaffend, Götterleben zu geniessen
Sich ahnungsvoll vermass: wie muss ich's büssen!...
....Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen,
Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an;
....Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt;
Dem Wurme gleich' ich, der den Staub durchwühlt,
Den, wie er sich im Staube nährend lebt,
Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt.. *)

Сравните эти мучительныя колебанія съ тревогой и мученіями мистическаго философа и великаго математика XVII вѣка—Паскаля. Въ своихъ «Pensées», которыя доселѣ поражаютъ богатствомъ оригинальныхъ ваглядовъ и глубиной отдѣльныхъ намековъ, Паскаль мэлагаетъ метафизическое возэрѣніе на человѣка; это едва ли не самое краснорѣчивое изображеніе метафизическаго дуализма: «Quelle chimère est-ce donc que l'homme? quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers.... S'il se vante, je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le vante, et le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne, qu'il est un monstre incompréhensible.... Qui démêlera cet embrouillement? La nature con-

(Пер. Павлова.)

fond les pyrrhoniens, et la raison confond les dogmatiques.... Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante; taisez-vous, nature imbécile: apprenez que l'homme passe infiniment l'homme, et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Ecoutez Dieu. • *) Изъ омута метафизическихъ противопоставленій, изъ этой колливіи изобрітенныхъ, а не естественныхъ противорічій, изъ этой діалектической сумятицы. Паскаль возвращается снова въ старинъ, къ въръ, и находить въ ней успокоение. Но Фаустъ уже не можеть върить. Это-отрицатель и критикъ XVIII-XIX въка. Для него недоступно непосредственное, наивное върование. Виссть съ тъмъ сила предваятыхъ представленій объ идеальныхъ задачахъ человъка, о его стремленіяхъ къ заопытному, представленій, усвоенныхъ съ самыхъ пеленъ, всосанныхъ вибств съ молокомъ материнскимъ, закрвпленныхъ впослъдствій метафизическими занятіями, эта сила упорна, что не позволяеть ему покинуть окончательно призрави, унаслъдованные имъ отъ своего прошедшаго. Паскаль ръшаетъ скептицизиъ возвратомъ къ религіи. Фаустъ остается въ неопредёленномъ, провизорномъ, мучительномъ состояніи. Онъ точно виситъ надъ бездною. Съ одной стороны ему мерещатся идеалы, его гнетуть стремленія къ абсолютному, и вотъ на минуту онъ увлекается якобы возвышенностью, божественностью своей природы, силою своей личности; потомъ вдругъ передъ нимъ обнаруживается вся невозможность этихъ стремленій, вся призрачность идеаловъ, вся его человъческая слабость.

Впоследстви на его грезы о значени индивидуальности Мефистофель скажетъ ему роковое слово: — «Du bist am Ende— was du bist»,

^{*) «}Какую имеру представляеть человёкь! какая рёдкость, какое чудовище, какой хаосъ, какой предметь противорёчій, какое диво! Это судья всёхь вещей, глупый червь земной, хранитель истины, клоака неизвёстности и ошебокъ, слава и отбросъ вселенной!.... Когда онъ хвалится, я его унижаю, когда онъ унижается, я его хвалю; противорёчу ему всегда: чтобы онъ поняль, что онъ непонятное чудовище.... Кто распутаеть эту завутанность? Природа ставить втупикъ пирронистовъ, разумъ — догматистовъ.... Пойми, гордецъ, какой парадоксъ ты представляещь для самого себя. Смири себя, немощный разумъ! Молчи, слабая природа! Знайте, что человёкъ бевконечно останется человёкомъ, научитесь отъ ващего владыки понимать свое истинное состояніе, котораго вы не знаете. Послушайте Вою!»

(Пер. Первова.)

ты просто-ты! Вотъ какое развитие можно дать этому слову духа отрицанія: «напрасно ты мечтаешь о какихъ-то особенныхъ задачахъ, о той выщей надвемной стихіи, которая будто бы клокочеть въ твоей груди; напрасно ты рисуешь себъ какую-то высокую миссію, напрасно мучаешься отъ того, что не можешь достигнуть невозможнаго. Взгляни на дело просто и спокойно, брось старыя представленія, забудь ребяческія мечты. Силы твои и кругъ твоей діятельности ограниченъ. Познавать ты можешь только этом міръ явленій, подлежащій твоому въдънію. Этотъ земной міръ—твоя сфера, здпсь—точка приложенія твоихъ силъ. Изучай его, учи другихъ, стремись къ счастью окружающихъ тебя и къ твоему собственному, не задаваясь неосуществимыми идеалами и задачами, превосходящими мъру естественной возможности. Витстт съ темъ помии, что ты-не болте какъ звено въ обширной цёпи міровыхъ явденій, подчиненныхъ вёчнымъ, непреложнымъ, необходимымъ законамъ, тъмъ самымъ, о которыхъ сказалъ Гете:

> '«Nach ewigen ehrnen Grossen Gesetzen Müssen wir Alle Unseres Daseins Kreise vollenden».

Такова двойственность міровозарінія Фауста, таковь разладь въ его натуръ, что подчасъ онъ и самъ высказываетъ подобныя мысли, не останавливаясь долго на нихъ, не давая имъ развитія и приложенія. Фаустъ Гёте—человъкъ XVIII—XIX въка. Мало ли о чемъ онъ уже слышаль въ свое время, мало ли до чего додумался. Люди этой пограничной эпохи знакомы уже съ энциклопедистами, читаютъ «Критику > Канта, статьи Лессинга, философско-историческія идеи Гердера. Но не сразу могди найти эти новыя понятія подное приложеніе къ практической жизни. Они развивались по-немногу, и только исподволь слагался фундаментъ новаго міровоззрвнія. Фаусть — типъ этого порубежнаго періода, двухъ міровъ, воспитанъ стариною, во многомъ уже отдълался отъ этой старины, подвергнулъ ее анализу, но и со храниль еще старыя привычки, не бросиль всёхь старинных пріемовъ. Новыя идеи озарили его; въ немъ онъ борятся съ преданіемъ, но полной побъды еще не могутъ достигнуть; онъ пробиваются разко и опредпленно лишь изръдка, въ отпоръ старинъ, какъ напр. въ

той краснорычивой тирады Фауста, которую онъ произносить въ сцены договора съ Мефистофеленъ:

«Das Drüben kann mich wenig kümmern; Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern. Die andre mag darnach entstehn.

Aus dieser Erde quillen meine Freuden,
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden;
Kann ich mich erst von ihnen scheiden,
Dann mag, was will und kann, geschehn.
Davon will ich nichts weiter hören,
Ob man auch künftig hasst und liebt,
Und ob es auch in jenen Sphären
Ein Oben oder Unten giebt. *).

Въ глубокой скорби Фаустъ останавливаетъ свои взоры на старой заповъдной фляжкъ съ ядомъ. Изъ ада внутреннихъ мученій онъ кочеть избавиться тою темною жидкостью, которая можетъ положить конець его страданіямъ. Онъ ръшается прибъгнуть къ ней даже съ опасностью, какъ онъ выражается, обратиться въ ничто (Und wär' es mit Gefahr in's Nichts dahinzufliessen). Въ эту минуту его останавливаетъ долетающій до него колокольный звонъ и церковное пъніс, возвъщающее праздникъ Пасхи. Эти звуки измѣняютъ его настроеніе: они не могутъ возбудить въ немъ въры, но зато вызывають воспоминанія о годахъ дътства, о былыхъ радостяхъ жизни и этымъ самымъ, ез эту минуту примиряютъ его съ жизнью. Оны убаюкиваютъ сомнѣнія и скорбь, но только на мгновеніе.

.... an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben.

^{*) «}Не страшны мив условія всв эти:
Мив опостыло все на этомъ жалкомъ світв —
Пускай себі возникнеть новый світь!
Здісь, на землі, живуть мон стремленья,
Здісь солице світить на мон мученья,
Когда жъ придеть посліднее міновенье,
Мив до того, что будеть — діла ніть.
Зачімъ мив знать о тіхь, кто тамъ, въ земрі,
Такая ли любовь и ненависть у нихъ,
И есть ли тамъ, въ міраль чужихъ,
И низъ, и верхъ, какъ въ этомъ мірі»?

.... Erinnrung hält mich nun, mit kindlichem Gefühle, Vom letzten, ernsten Schritt zurück * *).

Но колебанія и муки проснутся опять съ новой силой и солизять Фауста съ Мефистофелемъ.

Въ этихъ двухъ монологахъ, изъ которыхъ первый, какъ и уже сказалъ въ прошлый разъ, паписанъ былъ приблизительно въ 1774 году, а второй въ 90-хъ годахъ прошлаго въка, въроятно между 1797 и 1800 г., возсоздается образъ Фауста въ его существенныхъ чертахъ. Уже здъсь даны намъ главные мотивы его характера и обозначается главная пружина его міровой скорби; это — отчаянное столкновеніе критики съ традщіей; анализъ подрываетъ цъльность преданія (въры) и въ то же время сила преданія пе даетъ полнаго простора научной критикъ. Согласить оба начала — нътъ возможности **).

Въ следующій разъ я разсмотрю отношенія Фауста къ Вагнеру и Мефистофелю.

ЛЕКЦІЯ ПЯТНАДЦАТАЯ.

Фаустъ. (Продолжение).

Архитектонизмъ Фауста и отрицаніе Мефистофеля.— Реализмъ Мефистофеля.—Его остроуміе.—Какъ создавался этотъ обравъ?—Гретхенъ—представительница эпоса.—Вагнеръ.

Натура Фауста—натура творческая. Онъ стремится къ сочетанію, къ гармоніи элементовъ своего мірововзрвнія, къ ихъ комбинаціи, къ ихъ ассимилированію. Но, какъ я уже сказаль, эти элементы разнородны, они противорвчать другь другу и другь друга исключаютъ. Обветшавшее преданіе не можеть идти рука объ руку съ расцевътающимъ внаніемъ; они несовмъстимы. Въ томъ и заключается источ-

^{*) «}Знакомый съ юныхъ лётъ и милый сердцу звонъ, Опять меня ты къ живни призываешь! О нётъ! Не сдёлаю я роковаго шага: Смягчаетъ душу мнё воспоминаній рой». (Пер. Холодковскаго.)

^{**)} Пониманіе Гётева Фауста. Ср. у Коберштейля, въ ero Geschichte der deutschen Literatur. Haym, Die Romantische Schule, 148, 842.

никъ скорби Фауста, что онъ не въ силахъ создать системы изъ тъхъ взаимно враждебныхъ началъ, которыя поперемвино овладвваютъ его духомъ. Онъ не можеть ни на чемъ остановиться. А между тъмъ эта потребность къ созиданію, къ организаціи, къ системѣ присуща его натурь, которую можно назвать архитектоническою. Этотъ характеристическій терминъ я беру у Канта. Подъ архитектоникой онъ разумъсть искусство систематизировать, скрынлять всь разнообразныя познанія одной идеей, сводить ихъ къ единству. Еслибъ Фаустъ не былъ 1 до кория тронутъ критическими принципами новаго времени, опъ успокоился бы на старинъ предковъ, на цъльномъ и гармонически построенномъ міровоззрѣніи среднихъ вѣковъ или сладилъ бы, сколотиль бы кое-какъ старину съ новшествомъ, насильственно соединяя противоположности и не мудрствуя лукаво надъ противорвчіями. Этого не позволяетъ Фаусту его глубокая натура. Онъ страдаетъ и мучается за недостаткомъ положительныхъ основъ, на которыхъ можно было бы воздвигнуть новую систему убъжденій и воззрѣній; съ одной стороны эти основы еще неутверждены прочно и непоколебимо современной ему наукой, съ другой — онъ не можетъ отръшиться отъ укоренившихся представленій старины. И вотъ рушатся попытки Фауста установиться во взглядахъ, сплотить себъ прочную систему. Онъ обреченъ колебаніямъ и непримиримымъ противоръчіямъ. Онъ бросается отъ отрицанія къ положенію, не находя себъ нигдъ прибъжища.

Мефистофель — личность другихъ свойствъ, другаго закала. По самой природъ своей онъ не систематикъ. Опъ не строитъ, не сооружаетъ, не комбинируетъ. Онъ только разрушаетъ, разобщаетъ, разлагаетъ готовое. Онъ «всеотрицающій» духъ, а не творецъ. Наивная Гретхенъ поражена тъмъ, что онъ ничему не сочувствуетъ, а поглядываетъ себъ какъ-то злобно и насмъщливо. Фаустъ стремится къ грушпировкъ, къ сліянію, къ обобщенію впечатлъній. Мефистофель всюду ищетъ различенія, противоръчія, несходства. Первый бъется, мучается, страдаетъ, не будучи въ состояніи придти къ какимъ бы то ни было положеніямъ; второй не ищетъ положеній. Мефистофель живетъ въ отрицаніяхъ, тъщится ими, играетъ софизмами, наслаждается ими. Мефистофель — только, исключительно критикъ. Это двъ разныя натуры, два различные темперамента.

Въ отрицательныхъ взглядахъ Мефистофеля много реальнаго, много

новаго, и съ этой стороны онъ относительно Фауста далеко ушелъвпередъ. Для него не существуетъ метафизическихъ предразсудковъ; предваятыя идеи-постоянный предметь его насмёшекъ, схоластическая наука -- постоянная цёль его мёткихъ ударовъ. Въ образцовомъдіалогь переодытаго въ платье Фауста Мефистофеля со школьникомъ, который пришель къ ученому доктору поучиться и желаеть быть оченьученымъ, знать все, что делается на земле и на небе, духъ-отрицатель произносить осуждение всему метафизическому знанію. Здъсь предаются злой насмышкы ты развратные, пагубные для истиннагопознанія діалектическіе пріемы, къ которымъ пріучала метафизика своихъ адептовъ для того, чтобъ подъ ихъ прикрытіемъ совершать самыя немыслимыя сделки. Мысль покидала сущность вопросовъ и останавливалась на голомъ формализмъ. Она изощрялась въ праздной игръ словами, не заботясь о самихъ понятіяхъ. Она силилась сгладить противоръчія подъ причудливыми комбинаціями выраженій. Сколастика обманывала умъ затъйливо построенными силлогизмами; она притупляла всякое естественное, живое отношение къ предмету риторическими хріями, безполезными подразделеніями, параграфами. Гёте помнилъ тъ лекціи, которыя опъ слушалъ въ лейпцигскомъ университеть во время безграничнаго господства вольфовой метафизики ж вложиль въ уста Мефистофеля разкій приговорь философскому догматизму, приговоръ, который какъ нельзя болбе вторитъ критическимъ нападкамъ Канта на пріемы вольфіанцевъ:

Nachher, vor allen andern Sachen,
Müsst Ihr Euch an die Metaphysik machen!
Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst,
Was in des Menschen Hirn nicht passt;
Für was dreingeht und nicht dreingeht,
Ein prächtig Wort zu Diensten steht. *).

Ученикъ долженъ стараться глубокомысленно разсуждать о томъ, чего онъ не можетъ понять, что ему не можетъ влъзть въ голову.

(Пер. Холодковскаго.)

^{*) «}Затёмъ, другихъ наувъ нужнёй Вамъ метафизика: займитесь ей сильнёй. Понять старайтесь вы изъ ней, Что чуждо для ума людей: Доступно-ль это, недоступно намъ— На все отвётъ есть полный тамъ».

Все двло въ слово; съ его помощью онъ научится толковать обо всемъ что угодно, о понятномъ и непонятномъ. Когда даже самъ наивный школьникъ озадаченъ ироническимъ замъчаніемъ Мефистофеля объ этомъ всеобъемлющемъ значеніи слова и спрашиваетъ у него, не должно ли слово быть тъсно связано съ опредъленнымъ понятіемъ, которое оно выражаетъ, Мефистофель продолжаетъ развивать свою насмъщку:

«Schon gut; nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen. Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben » *).

Здѣсь высказывается сущность метафизическихъ пріемовъ. Словомъ, фразой хотять замирить всякое противорѣчіе и заткнуть ротъ всякому протесту. Гдѣ не хватаетъ смысла, тамъ во время номогаетъ удачно ввернутое словечко; на словахъ, не прибѣгая къ понятіямъ, можно диспутировать о какомъ угодно метафизическомъ предметѣ, на словахъ можно строитъ системы, въ слово легко вѣрится, оно можетъ стать святымъ и неприкосновеннымъ. Главное — удалить смыслъ, сущностъ дѣла, закрыть глаза передъ его внутреннимъ значеніемъ, и тогда можно легко и удобно справляться съ внѣшнимъ остовомъ, съ фигурами силлогизма:

«Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, Sucht erst den Geist herauszutreiben; Dann hat er die Theile in seiner Hand; Fehlt leider nur das geistige Band, **).

*) «Объ этомъ очень нечего тужить;

И тамъ какъ разъ, гдв смыслъ искать напрасно,
Тамъ слово можеть горю пособить.
Словами спорится прекрасно,
Словами строятся системы,
Словамъ легко такъ вёримъ всё мы,
Отъ слова буквы не отнять».

(Пер. Цертелева.)

**) «Кто хочеть живнь понять и описать, Старается сначала духъ изгнать, Потомъ онъ по частямъ все разберетъ, — И лишь духовной связи не найдетъ».

(Пер. Цертелева.)

Метафизическія нескладицы забавляють Мефистофеля. Онъ разоблачаєть неискусные софизмы схоластиковь, и это доставляєть ему великое наслажденіе. Ему, духу противорьчія, нравятся сами противорьчія съ формальной, съ эстетической стороны, какъ курьезъ. Онъ даже изучаєть терпъливо произведенія человьческихъ заблужденій, на что онъ намекаєть въ сцень въ кухнь выдьмы, когда Фаустъ спрашиваєть у него разъяснеція безсмысленныхъ заклинаній колдуньи:

«Das ist noch lange nicht vorüber, Ich kenn'es wohl, so klingt das ganze Buch; Ich habe manche Zeit damit verloren»... *).

Такимъ образомъ, какъ отрицатель всякихъ метафизическихъ представленій, Мефистофель—представитель новыхъ началъ, реализма.... Но съ этой свътлой стороной его личности соединяются другія — темныя свойства. Я сказалъ уже, что Мефистофель—исключительно отрицатель. Онъ игнорируетъ всякое положеніе. Ему все — вздоръ, все — трынь трава; у него нътъ серьезныхъ, положительныхъ убъжденій. Онъ не только презираетъ метафизическое направленіе умственной дъятельности, но и относится равнодушно ко всякой умственной дъятельности вообще, ко всякимъ теоретическимъ стремленіямъ. Для него не существуетъ и вопросовъ нравственной практики, никакого серьезнаго отношенія къ какому бы то пи было предмету вообще. Онъ ловко владъетъ софизмомъ и, свободно играя мыслью, свободно пользуясь діалектикой, попираетъ всякое положеніе, показываетъ его обратную сторону, выворачиваетъ его наизнанку.

Характеристическая черта Гётева Мефистофеля— его необыкновенное остроуміе. Уже въ прологѣ, при первомъ своемъ появленіи Мефистофель является шутникомъ, который потѣплаетъ даже Бога.

Mephistopheles. «Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern,
Und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Es ist gar hübsch von einem grossen Herrn
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.

^{*) «}Еще не такъ давно — теперь я вспоминаю — Читалъ я это самъ: вся книга такъ гласитъ.

Лишь даромъ время потерялъ тогда я!»

(Пер. Холодковскаго.)

Самъ Богъ говоритъ, что изо всѣхъ духовъ отрицанія онъ предпочитаетъ Мефистофеля—забавника и плута (den Schalk), — Остроуміе, шутка родственны вообще отрицательнымъ, критическимъ натурамъ. Отрицаніе, не оставляя на мѣстѣ ничего святаго и неприкосновеннаго, даетъ полный просторъ, очищаетъ поле насмѣшкѣ, которой нечего стѣсняться въ выборѣ предметовъ. Недаромъ говоритъ
Шиллеръ, по поводу Орлеанской дѣвственницы Вольтера, что остроуміе ведетъ вѣковую борьбу со всѣмъ высокимъ, не вѣритъ ни въ
ангеловъ, ни въ Бога, недаромъ Жанъ-Поль называлъ остроуміе (Witz)
безбожнымъ (Gottesläugner). Можетъ быть это обстоятельство —
сродство остроумія съ отрицаніемъ — помогло и способствовало развиться отрицательнымъ принципамъ въ XVIII столѣтіи съ особенной
силой и особеннымъ значеніемъ во Франціи, у народа остроумнаго по
преимуществу.

Мефистофель своимъ остроуміемъ, соединеннымъ съ извъстною трезвостью и логичностью, напоминаетъ намъ французскіе національные типы. Въ немъ мало нъмецкаго, и я полагаю, что при созиданіи этого характера Гёте имълъ въ виду черты французскаго отрицателя прошлаго въка, черты соттекаго парижанина XVIII въка, bon vivant, равнодушнаго къ общимъ, теоретическимъ стремленіямъ, отрицателя по модъ своего времени и обладающаго спеціально-французскимъ еsprit, яркимъ, мѣткимъ остроуміемъ.

Уже самъ Гёте замъчаетъ, что характеръ Мефистофеля, вслъдствіе той иронической струи, которой онъ проникнутъ, понимается довольно трудно. Мефистофель гораздо сложнъе Фауста, гораздо искусственные. Если въ отдъльныхъ чертахъ и выходкахъ всеотрицающаго духа насъ поражаетъ обиліе, жизни и естественности, то въ общемъ итогъ характеръ его не совсъмъ ясенъ. Это не такой общій, естественный типъ, какъ Фаустъ. Создавая Мефистофеля, Гёте находился подъ вліяніемъ различныхъ побужденій, разнообразныхъ представленій. Я укажу на тъ ингредіенты, которые послужили матеріаломъ для поэтической личности Мефистофеля.

1) Передъ Гёте носился образъ друга его юности—Мерка, человъка остроумнаго, насмъшливаго, подчасъ раздражительнаго и желчнаго. Меркъ имълъ не малое вліяніе на Гёте, который дорожиль его совътами, хотя неръдко и сердился на ръзкія, сатирическія выходки своего друга. «Меркъ и я», говорилъ онъ Эккерману, «мы были какъ

Мефистофель и Фаустъ.... Насмъшки Мерка безспорно были результатомъ высокаго его развитія; но кромъ того, онъ вообще не было производителенъ и напротивъ того, имѣлъ рѣшительное отрицательное направленіе, которое влекло его постоянно не къ одобренію, а къ порицанію; онъ употреблялъ всѣ средства, чтобъ удовлетворить этой страсти, чтобъ доставить себѣ это пріятное щекотанье в. Въ другомъ мѣстѣ Гёте говоритъ о Меркѣ, что онъ не былъ достаточно благороденъ и позитивенъ. Эти черты — отсутствіе творчества, страсть къ отрицанію и сильно развитое остроуміе— какъ уже было указано, мы находимъ и въ Мефистофелѣ Гёте.

- 2) Облекая въ новую форму старинное сказаніе и подыскивая новыя очертанія для сказочнаго чорта, Гёте невольно долженъ былъ воспользоваться характеристическими чертами французскихъ отрицателей прошлаго въка. Съ французской просвътительной литературой XVIII стольтія Гёте былъ коротко знакомъ съ самаго дѣтства. Онъ прилежно читалъ эпциклопедистовъ, изучалъ Вольтера и Дидро, которыхъ глубоко уважалъ, и постигъ всю сущность французскаго умственнаго склада. Для образа всеотрицающаго духа Франція могла доставить самый лучшій матеріалъ, потому что въ XVIII стольтіи нигдъ отрицаніе не достигло такого значенія, не получило такой популярности, какъ во Франціи. Потому-то въ Мефистофель столько французскаго. Онъ является выразителемъ французскаго остроумія и логичности евргіт, въ противоположность германскому творчеству Geist Фауста *). Онъ поситель отвлеченной идеи отрицанія.
- 3) Гёте имъть передъ глазами сверхъ того Мефистофеля сказки. Фабула даетъ ему чорта. Этотъ чортъ принимаетъ у Гёте другія, такъ сказать, прогрессивныя формы, усвоиваетъ себъ культуру новаго времени, становится представителемъ отвлеченныхъ отрицательныхъ тенденцій; онъ насмъщливо говоритъ въдьмъ, что опъ не хочетъ, чтобъ его называли сатаной:

«Auch die Cultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teufel sich erstreckt. Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen;

^{*) «}Das französische esprit kommt dem nahe, was wir deutschen Witz nennen. Unser Geist würden die Franzosen vielleicht durch esprit und ame ausdrücken. Es liegt darin zugleich der Begriff von Productivität, welcher das französische esprit nicht hat». (Eckermann, 2, 218).

Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen?...
.... Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben (Der Name Satan)...
.... Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut;
Ich bin ein Cavalier wie andere Cavaliere.*).

Но какъ бы то ни было, Гёте не можетъ бросить вовсе сказочную почву; его Мефистофель все таки ∂yxz , а не человъкъ. И это обстоятельство вредитъ жизненной правдъ лица....

Мефистофеля нельзя назвать типомъ въ томъ обширномъ смыслѣ, какъ Фауста. Фаусть—живой человѣкъ; мы знаемъ его страданія, его муки, сомнѣнія, убѣжденія, мы проникли съ поэтомъ въ тайники его внутренней жизни. Между тѣмъ въ Мефистофелѣ поэтъ пытался представить аллегорическій образъ идеи отрицанія, въ который обратился у него сказочный чортъ. Несмотря на блестящія отдѣльныя черты его характера, въ цѣломъ Мефистофель для насъ неясенъ, потому что онъ является не полнымъ человѣкомъ, а олицетвореніемъ абстрактной идеи отрицанія. Гёте предпамѣренно избѣгаетъ всякихъ намековъ и указаній на положительную сторону личности Мефистофеля. Онъ создаетъ den Geist, der stets verneint. Но перенесенный на почву дѣйствительности, въ человѣческое общество, этотъ образъ абсолютнаю отрицателя для насъ непонятенъ. Такимъ образомъ, въ чиъломъ Мефистофель не типъ, а аллегорическая фигура.

Другое дёло—частности, и я уже указываль на тё отдёльныя, живыя, характеристическія свойства духа отрицанія, которыя дёлають его особенно привлекательнымь и заставляють забывать туманность цёлаго. Я указаль на его противоположность архитектонизму Фауста, на его преобладающія критическія отрицательныя наклонности, на его французское остроуміе. Но главное для нась въ немъ, это его реализмъ, его треввое отношеніе ко всёмъ метафизическимъ представленіямъ. Съ этой стороны Мефистофель является литературнымъ образомъ уже новаго періода, представителемъ новыхъ воззрёній. Гёте удалось схватить только отрицательныя тенденціи новаго реальнаго типа. Можетъ быть

^{*) «}Теперь прогрессъ съ собой и чорта двинулъ.

Старинный мой нарядъ людей ужъ не страшитъ —

И, видищь, я рога и хвостъ, и когти кинулъ...

.... Попало въ басни это слово! (слово «Сатана»)

.... Теперь мой титулъ — «господинъ-баронъ»:
Другихъ не хуже, рыцарь я свободный»....

(Пер. Холодковскаго.)

вся фигура Мефистофеля вышла неясною потому, что въ самомъ обществъ того времени еще не образовался характеръ реалиста, которому предоставлено было будущее.

Въ исторіи идей XVIII и XIX въка личность Гретхенъ не можеть имъть того культурнаго значенія, которымъ обладають Фаусть и Мефистофель. Ея образъ не возвъщаеть ничего новаго; она - представительница старины, эпоса. Никакъ не въ ней можно искать отраженія повыхъ прогрессивныхъ женскихъ типовъ. Они выйдутъ на сценъ въ обществъ и литературъ начала XIX въка въ сочиненіяхъ M^{me} de Stael и George Sand. Достойный pendant въ титаническимъ стремленіямъ Вертеровъ и Фаустовъ мы найдемъ въ Леліи-Жоржъ Зандъ; она можетъ служить образчикомъ того, какъ восприпяты были женскою патурой философскія и общественныя идеи новаго времени. Но для этого нужно подождать до 30-хт годовъ текущаго стольтія, до іюльской революціи и перенестись изъ ученой, мъщанской Германіи на французскую почву. Франціи обязано человъчество лучишими своими идеями; она, первая, ставитъ новые вопросы, вынашиваеть ихъ, рожаетъ ихъ. Въ ней следуетъ искать зарожденія движущихъ силъ и стремленій новой исторіи; иниціатива ихъ принадлежить Франціи, между тімь какъ на долю Германіи выпала почтенная роль выяснять эти стремленія, осмыслять ихъ, обставлять паучно.... Итакъ, до женскаго вопроса, поставленнаго въ новой формъ, ръзко, категорично, намъ еще далеко. Гретхенъ-это старина и пре-— даніе. Правда, въ этой старинъ много поэтическаго; ея цъльность и паивпость привлекаеть къ себь больных в героевъ раздвоенія; они ишутъ въ ней отдыхъ, они думаютъ на ней забыться хоть на минутку, но удовлетворить она ихъ ужъ не можетъ.

Такимъ образомъ самостоятельнаго значенія Гретхенъ для нась не имѣетъ. Она любопытна по отношенію къ Фаусту. Гретхенъ—человѣкъ совсѣмъ другаго міра, другихъ понятій, она живетъ непосредственнымъ чувствомъ, она смотритъ на жизнь наивнымъ взоромъ первобытной натуры, не смущенной критическою мыслью; она стоитъ на почвѣ эпической и средневѣковой. Отношенія Фауста и Гретхенъ напоминаютъ намъ отношенія Вертера и Лотты: въ обоихъ случаяхъ, съ одной стороны — бользпенные мыслители, мученики сомнѣнія, съ другой—простыя, патріархальныя натуры. Но Фаустъ глубже Вертера; его сгремленія отвле-

ченнъе, онъ настоящій страдалець мысли. Гретхенъ, въ свою очередь, еще наивнъе, еще первобытнъе и проще Лотты. Это—полнъйшій контрастъ самому Фаусту, и этимъ она его привлекаетъ. Простота, эпичность Гретхенъ поражаетъ даже Мефистофеля, у котораго на наивныя слова ея прорывается возгласъ: «Du guts unschuldigs Kind!».—Эта противоположностъ двухъ совершенно чуждыхъ міровоззръній бросится въ глаза въ художественномъ діалогъ между Гретхенъ и Фаустомъ въ саду Марты.... Фаустъ ослъпилъ Маргариту своимъ умственнымъ превосходствомъ. Она отдалась ему всецъло со всей силой простаго, наивнаго чувства. Она благоговъетъ передъ нимъ, но она не въ состояніи понять его, отвътить на его мысли и сомнънія. Она не можетъ себъ даже представить, какъ это Фаустъ обо всемъ думаетъ и передумываетъ:

Du, lieber Gott! Was so ein Mann Nicht alles, alles denken kann! Beschämt nur steh' ich vor ihm da Und sag' zu allen Sachen ja; Bin doch ein arm unwissend Kind; Begreife nicht, was er an mir find't!• *)

Одно ее безпокоитъ. Гретхенъ глубоко въруетъ. Она не можетъ даже осмыслить свои религіозныя представленія, она ихъ не обдумываетъ, какъ истая представительница эпоса, она прямо необъясненное беретъ върой, непосредственно, точно инстинктомъ. Религіозныя върованія сливаются для нея съ культомъ религіозныхъ формъ и догматовъ. Къ шимъ она прикръпляетъ свои убъжденія; провърить ихъ, отдать себъ въ нихъ отчетъ,—она не можетъ, да и не хочетъ. Она въруетъ слъно, она покорно внемлетъ авторитету, чтитъ догму не мудрствуи. Ей сдается, что у Фауста, у любимаго человъка что то неладно съ религіей: «Nun sag', wie hast du's mit der Religion?».... Фаустъ старается не отвътить прямо на этотъ вопросъ, но Маргарита становится все настойчивъе. Она говоритъ своему любовнику, что онъ не почитаетъ Св. таинъ, что онъ не ходить къ объднъ,

(Пер. Холодковскаго.)

^{*) «}Ахъ, Боже мой, какъ онъ ученъ! Чего, чего не внастъ онъ. А я предъ нимъ должна стоять, Краснъть, да слушать и молчать. Ребенокъ я — онъ такъ уменъ: И что во мив находитъ онъ?

къ исповъди. Наконецъ, на ея вопросъ, въритъ ли онъ въ Бога, Фаустъ ей красноръчиво излагаетъ свое исповъданіе. Для Фауста дъло не въ имени, не въ названіи, не въ опредъленномъ догматизмъ: божество сливается для него со всъмъ міромъ, это — всеобъемлющая, всесохраняющая, вседвижущая сила; она присуща всей природъ, всему бытію. Это — въра самого Гёте, который не могъ выдълить божество изъ природы. Онъ не могъ допустить понятіе о правителъ, объ архитекторъ, одиноко стоящемъ внъ міра и дающемъ ему извъстное направленіе:

«Was wär' ein Gott, der nur von aussen stiesse, Im Kreis das All' am Finger laufen liesse? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, Sodass, was in ihm lebt und webt und ist, Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst.

Однимъ словомъ, сознаніе единства Бога и природы, тожества духа и матеріи и чувство этого единства въ міровомъ стров-вотъ религіозное, или, лучше сказать, философское испов'вданіе самого Гёте. Въ означенномъ діалогъ онъ влагаеть подобныя воззрвнія въ уста Фауста. При этомъ я однако долженъ замътить, что это исповъдание Фауста по духу своему рознится отъ мыслей, высказанныхъ имъ въ начальныхъ монологахъ. Здёсь, подъ вліяніемъ сильнаго чувства, Фаустъ какъ бы забываетъ свои сомнинія и колебанія; здысь онъ высказывается ръшительно, твердо, здъсь онъ возвышается надъ своимъ ∂ya лизмомо признаніемъ единыхъ началъ единства въ мірозданіи. Это восторженное признание вызвано въ немъ любовью къ Гретхепъ, которая на мгновеніе мирить его съ жизнью, успокоиваеть его мученія. Будь Фаустъ последователенъ, держись онъ крепко за это монистическое міровозарвніе, которое уничтожаеть разрывь между міромъ идеальныхъ представленій и действительностью, которое приковываетъ насъ всецело къ цельной, единой, не разбитой на противоположности природъ, онъ подобно Гете нашелъ бы въ немъ ръшение своихъ сомивній, разгадку для своихъ стремленій.... Но Фаустъ не останавливается, не можетъ остановиться на подобномъ монизмъ. Раздвоеніе такъ глубоко закралось въ его духъ, что для него утрачена возможность отъ него освободиться....

Изъ красноръчивой тирады Фауста Гретхенъ немного повяла. Все, что онъ сказалъ, кажется ей прекрасно и хорошо; по ея миънію, то

же самое только въ нъсколько другихъ словахъ говоритъ пасторъ; но Фаустъ не заявилъ себя христіаниномъ, и это ее мучаетъ:

Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen;
 Steht aber doch immer schief darum,
 Denn du hast kein Christenthum» *).

Такимъ образомъ дъло редигіи сливается для Гретхенъ съ дъломъ опредъленной догмы, извъстнато въроисповъданія, за которое она кръпко держится.

Эпизодъ съ Гретхенъ получаетъ въ пьесъ Гёте полное разръшение и гармоническое заключение. Безсознательно вовлеченная своей страстью въ различныя преступления, Гретхенъ остается чиста душой и неповолебима въ своихъ върованияхъ. Для върующей эпической Гретхенъ прозвучитъ въ послъдней сценъ искупительное слово съ неба: «Sie ist gerettet!» Задача ея жизни разръшена; ясенъ смыслъ ея существования, цъльны ея идеалы. Цъльная, эпическая, върующая натура, она спасается върой, которая ръшала для нея все при жизни, въ которой она находитъ прибъжище при смерти.... Такіе идеалы не могутъ удовлетворить Фауста; сомнъвающійся критикъ, отрицатель, человъкъ раздвоенія исчезаетъ куда-то съ Мефистофелемъ.

Гретхенъ интересно сопоставить съ женой и сестрой другаго скорбника, съ Адой байроновскаго Каина. Мученій Каина, его протестующихъ горькихъ рѣчей Ада не понимаетъ. Когда мужъ е́я жалуется на несправедливость божества, лишившаго дѣтей и потомковъ согрѣшившаго человѣка—рая, вѣчныхъ радостей и высшихъ наслажденій, Ада говоритъ ему: «Отчего ты все скорбишь о раѣ? Развѣ мы не можемъ устроить другой рай?»—«Гдѣ это?», спрашиваетъ Каинъ.—«Здѣсь или гдѣ хочешь. Гдѣ ты самъ находишься, я не чувствую утраты этого Эдема, о которомъ ты скорбишь. Развѣ у меня нѣтъ тебя, нашего сына, нашего отца, брата, сестры и матери?» — Такимъ образомъ Ада легко удовлетворяется счастіємъ въ семъю, въ патріархальномъ простомъ быту, среди домашнихъ радостей и заботъ. Высшія, теоретическія стремленія ее пе интересуютъ. Но Ада горавдо сильнѣе въ своей привязанности, чѣмъ Гретхенъ. Къ силь-

(Пер. Холодвовскаго.)

^{*) «}Да, какъ послушаень, сначала Все будто такъ, но горе въ томъ, Что не пронекнутъ ты Христомъ».

нымъ страстью натурамъ Байронъ имълъ особенное пристрастіе; даже женщины выходили у него въ этомъ отношеніи демоническими. Чувство, любовь Ады къ Каину, такъ сильно въ ней, что оно замѣняетъ ей убѣжденія; оно сильнѣе вѣры. Какъ мысль, такъ и вѣрованіе безропотно склоняются передъ всесильною любовью. — «Ты богохульствуешь, Каинъ — говоритъ ему Ада — ты произносишь нечестивыя слова. — Такъ оставь меня! — Нѣтъ, никогда; хотя бы твой Богъ
тебя • оставилъ! » — Сравнительно съ Фаустомъ и Каиномъ въ Гретхенъ
и Адѣ мы видимъ сильное развитіе жизни чувства, настроенія, инстинктовъ, непосредственной привязанности и отсутствіе отвлеченныхъ интересовъ мысли, стремленій интеллигентныхъ. Какъ я уже сказалъ
для того, чтобъ столкнуться съ типомъ женщины интеллигентной,
нужно еще нѣсколько подождать.

Нътъ ничего несноснъе ученаго дурака. Таковъ ученикъ Фауста—Вагнеръ, имя котораго сдълалось нарицательнымъ и стало синонимомъ тупаго, бездарнаго книжника. Общіе интересы знанія и науки, изъва которыхъ мучается Фаусть, недоступны для Вагнера. Ему дорого не знаніе, а книга, не мысль, а ученый терминъ, не обобщеніе, а мелочной фактъ, считанный съ пожелтъвшей страницы. Ему чужда природа, его не манитъ жизнь, ему не набиваются, не навязываются ея вопросы и задачи. Онъ ее не знаетъ и не видитъ.

«Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt, Des Vogels Fittich werd' ich nie beneiden. Wie anders tragen uns die Geistesfreuden Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werden Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieder, Und ach! entrollst du gar ein Würdig Pergamen, So steigt der ganze Himmel zu dir nieder. *).

(Пер. Павлова.)

^{*) «}Полей, лісовъ скучна мні красота.

Крыло же птицы людямь не годится;
Не лучше-ли умомъ переноситься
Изъ тома въ томъ, къ листу съ листа?
Исполнится отрады вечеръ длинный,
Живая теплота по членамъ протечетъ,
А если разогнешь пергаментъ ты старинный,
То небо цілое къ тебі сойдеть!

Переходить отъ книги къ книгъ, отъ страницы въ страницъ воть въ чемъ заключается для него величайшее наслаждение. Онъ весь увлеченъ процессомъ занятія. Погрузившись въ ветхую рукопись, онъ не хлопочетъ о выводахъ, да они ему и не даются; онъ терпъливо собираетъ книжныя мелочи и наслаждается прелестью своей работы. Вагнеръ много знаеть; онъ въ этомъ самодовольно признается, но ему хотелось бы все знать, т. е. всадить себе въ голову весь ученый хламъ, весь мусоръ науки вкупъ съ архивною пылью рувонисной лабораторіи. Вагнеръ высокаго мижнія о своихъ способностяхъ и свъдъніяхъ. Ему доставляеть великое упоеніе читать памятники прошедшаго и сравнивать, насколько люди съ техъ поръ поумнели, насколько онъ-Вагнеръ превосходить ученостью древнихъ мудрецовъ. Нечего и прибавлять, что подобная личность не доступна сомнѣніямъ и колебаніямъ. Это тоже своего рода эпическій человъкъ, за отсутствіемъ серьезной мысли. У Вагнера — одна ученость, ученость словаря и справочной книги. Нътъ ни критической мысли, ни первобытной свъжей фантазіи. Это — жалкое порожденіе схоластической обстановки, формальнаго знанія, кабинетной атмосферы, науки отръшенной отъ жизни и жизни, пренебрегающей истиннымъ знаніемъ. Фаустъ задается такими общими вопросами, на которые наука не можетъ дать отвъта; онъ стремится все выше и выше, все дальше и дальше, и наконецъ покидаетъ земную, научную, фактическую почву, чтобы носиться въ областяхъ абсолютнаго. Вагнеръ напротивъ прикованъ къ книгъ, къ пергаменту, къ тетрадкъ, къ запискамъ, и не можеть идти дальше буквы вёдёнія. Такихъ ученыхъ, такихъ занимающихся людей много и досель, но число ихъ убавляется по мьрь сближенія науки съ жизнью, теоріи съ практикой.

Мм. гг., бъглая характеристика дъйствующихъ лицъ пьесы Гёте, которую я имълъ честь вамъ представить, должна послужить вамъ руководствомъ при самостоятельномъ изучени этого величайнаго литературнаго произведенія новой исторіи. Я остановился на трехъ главныхъ личностяхъ произведенія, которыя являются передъ нами людьми трехъ энохъ, трехъ міровозэртній. По художественному исполненію вышла яснте, величественные другихъ личность героя Фауста, представителя разлагающагося метафизическаго возэртнія. Это — герой, современный самому произведенію, родственный самому. Гёте, въ немъ онъ воплотиль имъ самимъ пережитое и передуманное. Фаустъ стоитъ между

Гретхенъ и Мефистофелемъ, между цъльнымъ образомъ міра эпическаго и туманными, неясными очертаніями типа реальнаго. На границь XVIII и XIX въка чистымъ представителемъ уже давно закатившагося періода патріархальнаго является женщина; въ ней сохранилась старина во всей наивной непосредственности; въ смутномъ, не вполнъ опредъленномъ образъ Мефистофеля — «духа» сквозитъ обликъ грядущаго періода, освободившагося отъ метафизическихъ узъ и схоластическихъ предубъжденій. Мефистофель—неясенъ, и за прототипъ реалиста можно его принять лишь съ теми оговорками, которыя я уже вамъ сообщилъ. Онъ реалистъ въ силу своего неумолимаго, безусловнаго отрицанія всякихъ теорій метафизическаго знанія. Но н только... Какъ общій отрицатель всякихъ теоретическихъ стремленій. всякой науки, всякой философіи, всякой общественной практики наконецъ, Гётевъ Мефистофель не найдетъ себъ мъста, не найдетъ себъ адептовъ въ столети положительной мысли и общественной солидарности.

ЛЕКЦІЯ ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Гёте и Байронъ.

Договоръ съ Мефистофелемъ.—Символизмъ поэмы.—Основныя идеи. — Пессимизмъ Байрона. Натура поэта, его время, его родина. — Фанфаронство.

Я представиль анализь стремленій Фауста на основаніи первыхъ монологовъ. Теперь слёдуеть дополнить этоть анализь быстрымь обзоромъ дальнёйшей судьбы героя.

Попытки Фауста достигнуть абсолютнаго въдънія не увънчались, да и не могли увънчаться усиъхомъ. Его стремленія обнять въ своемъ познаніи сущность бытія, такъ и остались стремленіями. Вещь сама по себъ, кантовскій нуменонъ, тотъ недоступный для насъ иксъ, о которомъ мы не можемъ сказать ничего положительнаго, абсолютная основа явленій, не могла разоблачиться передъ Фаустомъ; она не могла ему быть дана никакимъ опытомъ, никакой наукой. Возвратившись съ прогулки, мягко, примирительно настроенный, Фаустъ пы тается еще разъ поискать успокоенія въ религіи, въ ученіи откровенія. Передъ нимъ первая строка Евангелія отъ Іоанна. Но уже на ней онъ остановился. Онъ не можетъ съ ней согласиться и въ своемъ переводъ текста приходитъ къ совершенно противоположному смыслу:

въ началь бъ дъло... Здъсь слъдуетъ первое появление Мефистофеля, а затъмъ сцена договора.

Отчаявшись въ знаніи, въ наукъ, Фаустъ хочетъ отдаться страстямъ, чувственнымъ наслажденіямъ, придти въ непосредственное столкновеніе съ вившней жизнью. Не радостей онъ ожидаетъ. Возможность совершеннаго блаженства ему кажется невъроятной; для него немыслимо мгновеніе, которому онъ бы сказаль: остановись, ты такъ прекрасно! Онъ ищетъ волненій и тревогъ, наслажденія. смъшаннаго со скорбью, любви и ненависти, упоеній и досадъ. Онъ хочеть пережить и перечувствовать всь человьческія радости и печали, обнять всв его страданія и блаженства; на своихъ плечахъ вынести все людское, на себъ испытать все, что дано человъчеству въ удълъ. Вы видите опять титаническіе замыслы, опять притязанія на какойто всеобъемлющій опыть, стремленія выдти изъ предвловъ своей ограниченности, расширить свою личность въ цълый міръ. Когда Мефистофель, по своему обыкновенію, замічаеть Фаусту несообразность подобныхъ затъй, невозможность для человъка такой абсолютно-универсальной деятельности, докторъ произноситъ гордое слово: «но я хочу!», въ которомъ выливается задушевная мысль эпохи раздвоенія, ся пдеалистическія мечты о безграничномъ значеніи субъекта и о его абсолютной самостоятельности. Реалистъ Мефистофель насмъщливо говоритъ на это Фаусту, что все это пожалуй и хорошо, да бъда въ томъ. что на такую затью не хватить времени: «Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang». Онъ льеть холодную воду на восторженныя стремленія Фауста; трезвой пронической річью онъ разбиваеть его приарачныя мечты и указываеть на неизбъжныя, необходимыя условія человъческаго бытія. Онъ зоветь его изъ мрачной келіи на вольный воздухъ, въ море житейское, и объщаеть его познакомить съ жизнью. — Шатанье по бълому свъту не можетъ ни удовлетворить, ни успокоить Фауста. Какъ онъ и предвидълъ, не встретилось минуты, которую онъ пожелалъ бы продлить въ въчность: его не могутъ утъщить--ни какой-нибудь кутежь въ ауербаховомъ погребкъ, ни дикія сцены на Брокенъ. Любовь въ Гретхенъ не настолько сильна, чтобъ примирить его съ жизнью, чтобъ заставить его забыть душевныя муки, умственный разладъ; это не болье какъ минутная передышка. Фаустъ рвется дальше и исчезаетъ куда-то съ Мефистофелемъ... въ погонъ за абсолютнымъ.

Вы можете заметить, что вся поэма проникнута символизмомъ. Остовъ, данный первоначальной народной повъстью, запечатлънъ клеймомъ новой эпохи, служитъ канвой для задачъ философскихъ. Что сдълалось въ поэмъ Гете съ героемъ XVI въка, съ робкимъ мыслителемъ, съ несчастнымъ трусливымъ богоотступникомъ, съ тъмъ наивнымъ виттенбергскимъ докторомъ, котораго во франкфуртской повъсти Мефистофель потъщаетъ кутежами, который откалываетъ наивныя шутки на удивленіе окружающимъ, събдаетъ у мужика возъ свна вмёсть съ лошадью, приделываетъ оленьи рога вздорному вельможъ, безчинствуетъ въ сералъ султана? Передъ Фаустомъ Гёте --это настоящій младенецъ, котораго все забавляетъ, все интересуетъ, который вибстб съ тбиъ труситъ передъ наказаніемъ и плачеть, когда ему пригрозять. Герой Гёте-человъкъ на возрастъ. Онъ не боится ни чорта, ни адскаго огня;-ого уже не безпокоять сомнёнія въ опредоленной догив. Критицизмъ его идетъ горавдо глубже и сталкивается не съ вившними аттрибутами (отъ нихъ Фаустъ давно освободился), а съ самимъ принципомъ метафизическаго преданія. Его не могутъ развлекать дътскія игрушки, онъ не интересуется тыми пустяками, которыми тешится Фаусть легенды и Марло. Фаусты XVI века наслаждаются «благами» жизни; чортъ угощаетъ ихъ архіерейскими винами, царскими кушаньями. Для мыслителя XVIII — XIX въка недоступны такія ребяческія утёхи. Мефистофель ведеть его въ лейпцигскій погребокъ; кутежъ противенъ Фаусту, ему хочется уйти: «Ich hätte Lust nun abzufahren».... Ему противно арълище въ кухнъ въдьмы: «Mir widersteht das tolle Zauberwesen».... И какъ облагорожена является личность изследователя! — Это ужъ не гръховодникъ, не повъса и развратникъ XVI въка, а герой мысли, поборникъ теоретическихъ ингересовъ, Сама страсть его къ Гретхенъ обусловливается далеко не однимъ чувственнымъ влечениемъ. Онъ любитъ въ ней утраченную имъ, далекую, наивную первобытную старину, ея цъльность и гармонію.

Точно также и чорть сильно измёнился подъ вліяніемъ «культуры», какъ выражается самъ Мефистофель, который не упускаетъ случая, чтобъ посмёнться надъ своимъ прежнимъ образомъ XVI вёка. Когда въ кухнё вёдьмы Фаустъ съ досадой спрашиваетъ у Мефистофеля, къ чему вся эта чепуха, къ чему всё эти безобразные обряды и тёлодвиженія, — опъ и прежде насмотрёлся на такія церемоніи, и

онъ ему противны, — «баронъ» Мефистофель отвъчаетъ доктору: «Еі, Possen! das ist nur zum Lachen!» Та сцена договора, которая такъ подробно описывается въ легендъ, которая съ любопытствомъ останавливается на всъхъ наивныхъ эпическихъ подробностяхъ сдълви съ чортомъ, — у Гете обратилась въ философскій діалогъ Фауста и Мефистофеля. Самъ бъсъ говоритъ, что не будь даже заключенъ договоръ, Фаустъ все-таки долженъ пасть жертвой чувственности:

«Und hätt'er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er müsste doch zu Grunde gehen»

Такимъ образомъ и договоръ этотъ — только витшняя, не имтьющая сама по себт значенія форма, которой пользуется Гёте для ироническихъ выходокъ. Все дто сводится на философскій смыслъ поэмы.

Нельзя разсматривать пьесу Гёте какъ драматическое произведеніе. Попытки поставить Фауста на сцену не имбли успъха. Мы видъли, какъ твореніе Гёте создавалось имъ исподволь, постепенно, по мъръ того, какъ переживался имъ художественный матеріалъ; оно было спутникомъ его жизни, его поэтическимъ дневникомъ, но удачному выражению Каррьера. Оно не можеть удовлетворить требованіямъ не только со стороны драматической техники, но и со стороны строгой художественной формы вообще. Содержание Фауста слишкомъ общирно, вопросы, которые развиваются въ пьесъ, слишкомъ отвлеченны, чтобъ подчинить ихъ правильной, опредъленной формъ. Въ перепискъ Гете съ Шиллеромъ онъ какъ-то назвалъ свое произведение «Варварскимъ», и это нужно понимать въ томъ смыслъ, что оно не подходить ни подъ какую общепринятую мърку. Оно выше формы. Это — продуктъ поэта мыслителя, философская поэма. Поэтому, не останавливаясь на формъ, еще разъ вернемся къ ея философскому смыслу. — Припомните слова Шиллера и Гете, предпосланныя мною разсмотренію начальных в монологовъ. «Двойственность человеческой природы», «неудавшіяся стремленія примирить въ человъкъ божественное и матеріальное», — пишетъ Шиллеръ; «человъкъ, который бъется въ рамкахъ земнаго бытія, нигдъ не можетъ найти желаннаго успокоенія»—пишеть Гёте. Какъ примирить въ человікі духъ и матерію, какъ разрѣшить этотъ дуализмъ, который могъ сглаживаться одной върой, и передъ которымъ становится втупикъ критика? Таковъ вопросъ, надъ которымъ вотще мучилась эпоха, мучилась потому, что онъ самъ былъ невърно поставленъ. Допустить два противоположныя и другъ другу враждебныя начала въ человъкъ и объяснить ихъ соприсутствіе — наука не можетъ. Подчинить нѣкоторыя отправленія человъческаго бытія принципу причинности, приводить ихъ во взаимную, естественную связь и въ то же время-выдълять изъ этой самой сферы явленій область неподлежащую этому принципу, стоящую внъ связи и все-таки толковать объ этихъ явобы исключительныхъ явленіяхъ, пытаться ихъ логически выяснить, это значить признавать въ наукъ два различные метода, два способа изследованія, два критерія. Къ однимъ явленіямъ прилагать пріемы опыта, обобщенія, аналогіи, сравненія, а другія явленія, такъ называемыя «духовныя», выгораживать, ставить особнякомъ, это значитъ нарушать безконечную цепь явленій внесеніемъ новыхъ началъ, которыя поэтому всегда могутъ перевернуть вверхъ дномъ выработанные наукой результаты. Вопрось о двойственности человъческой природы, объ антагонизмъ духа и матеріи, — это вопросъ, ложно поставленный метафизикой и потому научно неразръщимый. Наука знаетъ только явленія, она в'бдаеть только звенья, подчиненныя взаимной связи, то, что имъетъ предыдущее и послъдующее. Для нея человъкъедина; всъ стороны его бытія, всъ отправленія его (подраздъляемыя на умственныя, нравственныя и физическія) - научно могутъ разсматриваться только съ одной точки зрвнія, какъ явленія, какъ объекты опыта и наблюденія. Если предполагать въ человъкъ еще другое начало, не подлежащее законамъ явленій, то оно не подлежить и наукъ; о немъ нечего пытаться разсуждати. Предоставимъ его впрп.... На такихъ - то сходастическихъ задачахъ мучается Фаустъ, еще не выбравщійся изъ метафизическаго мрака на вольный светъ реализма. «Я — божество», восклицаеть Фаусть, и тотчась же переходить въ противоположному: «я-червь». Ты-ни то, ни другое, можетъ ему сказать Мефистофель, ты-просто человъкъ. Фаустъ еще не стоитъ на точкъ зрънія Мефистофеля и въ то же время уже далеко ушелъ отъ старины, отъ дътства, для котораго нътъ вопросовъ, все ясно, просто и разръшимо. Онъ чувствуетъ раздвоенія метафизики, видитъ ея несообразности, но еще не въ силахъ выварабкаться изъ омута накопленныхъ въками противоръчій. Съ одной стороны отрицается старина, ниспровергаются ея идолы и кумиры, заявляется грозный! протестъ традиціи, съ другой — новое не прочно, не выдохся запахъ преданія. Оглядываешься назадъ-жалко стараго; и не върится въ него.

да и разстаться съ нимъ трудно.... Такъ воплощается въ Фаустъ унаслюдованныя от прошедшаго стремленія из абсолютному въ борьбъ съ притической мыслью. Это --- его господствующая идея-

Таковъ процессъ освобожденія личности и ея освободительных мученій въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка. Этотъ процессъ составляетъ главное содержаніе литературы того времени, которая по справедливости можетъ быть названа литературой міровой скорби. Слѣдить за ея различными направленіями—я не имѣю времени. Но я не могу не остановиться хотя и не надолго на другомъ великомъ поэтѣ, въ произведеніяхъ котораго звучатъ, правда—въ нѣсколько иныхъ сочетаніяхъ, тѣ же фаустическіе мотивы и въ которыхъ картина міровой скорби, колеблющагося пессимизма, выходитъ еще мрачнѣе, еще безотраднѣе, — на лордѣ Байронѣ.

Лордъ Байронъ преимущественно поэтъ континентальный. Благонамъренная родина Байрона не поняла его, не оцънила и отвергла, заклеймивъ прозвищемъ «сатанинскаго» поэта. Зато—его произведеніями зачитывался весь материкъ; они получили громадное значенте въ Германіи, Франціи и Россіи. Это поэтъ міровой скорби не преимуществу. Пессимистическіе мотивы, на которыхъ построены Вертеръ и Фаустъ Гёте, господствуютъ во всъхъ сколько-нибудь крупныхъ произведеніяхъ Байрона. Метафизическая скорбь, воспроизводимая Гёте въ Вертеръ и Фаустъ, и байроновскій пессимизмъ имъютъ общее основаніе въ эпохъ; и то, и другое явленіе было результатомъ колеблющагося раздвоеннаго міровоззрѣнія, господствовавшаго въ концъ XVIII и началѣ XIX въка. Но между ними есть и значительная разница, которая обусловливается многими любопытными причинами. Я укажу на эти причины и вмъстъ съ этимъ постараюсь представить общую характеристику байроновскихъ тенденцій.

Различны натуры обоихъ поэтовъ. Байронъ — лирикъ. Въ немъ нѣтъ объективнаго отношенія къ дѣйствительности, спокойнаго анализа человѣческихъ типовъ; онъ не можетъ возсоздавать окружающій міръ во всемъ разнообразіи его явленій, во всемъ богатствѣ его формъ. Онъ — поэтъ своезо чувства, своей мысли. Объ немъ было вѣрно сказано нъкоторыми литературными критиками, что всѣ наиболѣе удавшіеся его герои — представители одного типа, его собственнаго. Но дѣло въ томъ, что этотъ единственный типъ, получившій въ твореніяхъ Байрона грандіозное воплощеніе, былъ въ свое время преобладающимъ въ обра-.

зованномъ обществъ. Воспроизводя себя, свою личность, онъ рисовалъ современнаго героя-скорбника. Потому-то лирика Байрона получила такое значение въ обществъ того времени, потому-то она имъетъ такой глубокій интересъ для историка литературы. Въ Вертер'в и въ Фауст'в Гёте также воспроизводиль свое, но это свое было имъ уже пережито. Гёте самъ, лично, освободился отъ метафизическаго разлада, — и этому способствовали не только его сравнительно болье спокойный темпераментъ, но и реальное направление его умственной дъятельности. Впоследствін, въ конце курса, я укажу на те обстоятельства, которыя привели Гёте къ ясному, спокойному, реальному міровоззрѣнію. Гёте спокойнье, объективные относился къ художественной двятельности своей; онъ царилъ надъ своимъ матеріаломъ, онъ управлялъ своими образами. Байронъ, съ своей страстной, порывистой, необузданной натурой, не могъ добраться ни до какихъ твердыхъ положеній: онъ отрицаль авторитеты, разрушаль идолы, глумился надъ преданіями, смёллся надъ стариной, но не какъ Мефистофель, не съ равнодушной улыбкой человъка такъ сказать бывалаго, травленаго, расчитавшагося со всеми призраками, а съ глубовой скорбью, съ отчаяннымъ раздраженіемъ, со злобой, досадой, иногда со слезами сожальнія. Въ своихъ поэмахъ оно само всегда на лицо; оно въ нихъ живетъ, оно гласитъ устами своихъ героевъ, оно грохочетъ анаоемами, извергаетъ проклятія, ропщетъ, протестуетъ, богохульствуеть, бъснуется, — и обезсиленный, изнеможенный, правственно сломленный, приходить въ мрачное уныніе.... Огонь байроновскаго лиризма магически дъйствовалъ на современниковъ, особенно на молодежь и людей свътскихъ, людей общества и жизни, для которыхъ глубокое философское создание Гёте и образъ ученаго Фауста были гораздо менте доступны яркихъ роскошныхъ картинъ и пламенныхъ лирическихъ тирадъ англійскаго лорда. Итакъ это первое обстоятельство разница въ натурахъ самихъ поэтовъ — обусловливаетъ разницу въ отношеніи ихъ къ общественнымъ явленіямъ. Въ противоположность болье спокойному, объективному, величественному Гёте, въ противоположность мыслителю, человъку науки, бюргеру, хотя и веймарскому мннистру — тревожный, бурный дирикъ, въчный странникъ, человъкъ свътскій, аристократь.

Гёте и Байронъ принадлежать одной эпохъ, но ея разнымъ періодамъ. Вертеръ и Фаустъ— продукты копца XVIII столътія, и концепція ихъ обоихъ, какъ мы видъли, относится къ 70-мъ годамъ прош-

лаго въка. Произведенія Байрона относятся ко второму десятильтію текущаго столътія и къ началу двадцатыхъ годовъ. Между этими двумя пунктами, между 1775 и 1815 г. Европа потрясена была до основаній другъ за другомъ следовавшими общественными и политическими кризисами. Въ 1789 г. передъ восторженными взорами человъчества зардълась на историческомъ небосклонъ новая варя, якобы новый свёть спасенія—французская революція. Новаторы XVIII вёка, весь цвъть цивилизаціи того времени, вся эссенція общественныхъ силь съ благоговъніемъ взирала на зачинающійся перевороть, который, казалось, открываеть собою новую эру разума, царство небесное на земль, въкъ общей свободы, равенства и братства. Какая-то неслыханная гордость и самоувфренность овладела на мгновение человъчествомъ. Передъ нимъ раскрывалась точно новая чудная райская жизнь, словно сбывались радужныя мечты о золотомъ въкъ. Охваченные могучинь энтузіазмомь, проникнутые непоколебимой върой въ торжество свободы, ожидая отъ господства единой и нераздъльной республики исцівленія всіжь золь, конца всімь болізнямь, печалямь и воздыханіямъ, люди на мгновеніе вабываютъ прежній сомнѣнія и муки.... При томъ во Франціи было много дёла: не до скорби, не до критики! Да и къ чему критика? Ее заглушала новая въра, новое исповъданіе, только не религіозное, а политическое. Очарованные невиданными картинами, которыя смёнялись одна другой въ блестящей панорам' революціи, переживая 14 іюля и 4 августа, съ умиленіемъ внимая восторженнымъ рачамъ народныхъ ораторовъ, люди шли довърчиво впередъ подъ бой революціонныхъ барабановъ, съ пъніемъ марсельезы, полные новыхъ надеждъ, упованій, върованій. Неудачи на пути не могли разочаровать сразу.... Обвиненному Жоржу Жаку Дантону президентъ трибунала задаетъ обычный вопросъ о мъстожительствъ. «Bientôt le néant, et mon nom au Panthéon», говорить Дантонъ. Съ тавими идеалами и смерть красна.... Но францувская революція не оправдала ожиданій. Разбивались идеалы, наступало разочарованіе. Общественныя силы были истощены напряженной деятельностью, быстро сменявшимися ощущеніями. Уже въ первыхъ годахъ XIX стольтія во Франціи проявляются признаки апатін и скуки. Посяв того, какъ французскія массы побъдоносно обощли Европу, разнося по всемъ закоулкамъ свои домашнія идеи и исторіи; послъ того, какъ наполеоновские трубачи и барабанщики всюду прогремѣли свои республиканіе гимны, наступило мрачное, печальное время реставраціи, вѣнскаго конгресса, реакціи. Изъ гробовъ поднялись точно древніе смердящіе скелеты и привидѣнія, точно выходцы єъ того свѣта, чудища и пугалы стараго режима. Настали годы тьмы, скрежета зубовъ.

Начиная съ 10-хъ годовъ нашего въка, міровая скорбь вступаеть въ новую фазу. Отчаніе становится безотраднье, пессимизмъ распространяется повсемъстно и пускаетъ особенно глубокіе корни тамъ, гдъ въ XVIII въкъ онъ былъ сравнительно слабъе—во Франціи. Метафизическій разладъ XVIII въка à la Вертеръ осложнился новыми элементами: рушились всякія политическія надежды, въ обществъ была придавлена всякая самодъятельность. Критическая мысль съ ожесточеніемъ преслъдовалась сверху.... Оставалось сидътъ сложа руки, лежать на боку или плевать въ потолокъ, проклинать все окружающее, злиться на весь міръ, изощряться въ пессимистическихъ выходкахъ — отрицать...

Въ Фаустъ — разочарованіе въ знаніи, въ наукъ, глубокое разочарованіе личности въ собственныхъ силахъ, въ своемъ назначеніи, въ жизни и ея задачахъ. Но вопросы общественные въ немъ (въ первой части) и не затрогиваются, отчасти потому, что Гёте чуждался политическихъ задачъ, не питалъ къ нимъ особеннаго интереса, не понималъ ихъ, отчасти и потому, что въ Германіи семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ эти задачи отступали совершенно на задній планъ сравнительно съ вопросами философскими, религіозными и эстетическими. Политическій строй Германіи того времени былъ вялъ, безъинтересенъ, мертвящъ. Припомните, какъ глумятся лейпцигскіе весельчаки въ «Фаустъ» надъ священной римской имперіей.

Frosch. Das liebe Heil'ge Röm'sche Reich,
 Wie hält's nur noch zusammen?
 Brander. Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!
 Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen,
 Dass ihr nicht braucht für's Röm'sche Reich zu sorgen!. *).

*) «Фроши. Святой, высокій римскій тронъ,
Какъ до сихъ поръ не рукнеть онъ?
Брандерь. Дрянвая пізсня, тьфу: политивой звучить!
Совдателя земян благодарите сміло,
Что ветхій римскій тронъ блюсти—не ваше діло».
(Пер. Холодвовскаго.)

Фаусть — ученый, докторъ, мыслитель. Протестъ, критика направлены на отвлеченныя научныя сферы, на общіе вопросы бытія. Въ XIX въкъ міровая скорбь усиливается другимъ началомъ — протестомъ соціальнымъ, противъ общественныхъ формъ, государственнаго деспотизма, противъ всего общества. Зародыши этого мы видъли въ Вертерь; критикой общественныхъ учрежденій проникнута вся литература XVIII въка; но вибстъ съ тъмъ XVIII столътіе было исполнено надеждъ и чаяній на болье свытлое политическое будущее. Въ началь XIX выка поколебались надежды, и соціальный протестъ становится гораздо р'ваче, непреклониве.... Личность совершение отделяеть себя отъ общества, становится особнякомъ, презираетъ окружающее, знаетъ только самое себя и какъ будто больше знать ничего не хочетъ. Такого поэта, такого пънца личности мы видимъ въ Байронъ, -- пънцъ личности, которой опостыльть весь міръ, клянущей все общество и исполненной съ другой стороны самаго высокато самомивнія, самаго сявиаго почитанія своихъ страстей и порывовъ. Герои Байрона вторятъ Фаусту, въ его теоретическомъ раздвоеній; подобно Фаусту они мучаются разладомъ въ убъжденіяхъ, своими отрицаніями. Какъ онъ, такъ и Манфредъ напримъръ признаетъ суетность науки, и въ то же время недоступенъ въръ; мучимый колебаніями, онъ ищеть одного самозабвенія. Но сверхъ этого байроновскіе герои являются обыкновенно въ полномъ разрывъ съ обществомъ, изгнашниками, скитальцами, людьми непонятыми, отверженными; это-враги общества, человъконенавидцы, корсары, разбойники.... Они въ пріязни только съ природой, которая является для нихъ противовъсомъ общества. Они преступники; ихъ прошедшее облечено покровомъ таинственности; на ихъ лицъ-печать угасшихъ страстей, невъдомыхъ преступленій. Такимъ образомъ личность у Байрона со всеми ея непомерными притязаніями, съ ея неосуществимыми титаническими мечтами, играетъ несравненно большую роль, чъмъ у Гёте; она противополагается обществу и растетъ подъ перомъ поэта, въ то время, какъ онъ топчетъ ногами соціальныя связи.

Я указалъ вамъ на два характеристическія условія байроновской поэзіи: на натуру поэта и на періодъ его дъятельности. Перехожу кътретьему. Не малое вліяніе на направленіе байроновскаго пессимизма имъла его родина, не литературные и интеллигентные кружки Англіи,— въ этомъ отношеніи Байронъ стоить очень изолированно, — а англійскій общественный быта.

Политически свободная Англія, съ своими представительными учрежденіями и мъстнымъ самоуправленіемъ, была заражена глубокой общественной язвой. Англійское общество кртико держалось извъстныхъ религіозныхъ и бытовыхъ традицій. Оно руководствовалось извъстными общепринятыми правилами поведенія и преклонялось передъ постановленіями ходячей морали, къ признанію которыхъ принуждало индивидуума, немилосердно карая отверженіемъ возмутившагося; оно прославилось своею респектабельною внъшнею благопристойностью, святошествомъ и лицемфріемъ, темъ что англичане называють cant. Трудно было бороться лицу съ этимъ деспотизмомъ обычая: ему приходилось подлаживаться подъ тонъ крыпко сплоченнаго общества и вытверживать параграфы общепризнаннаго нравственнаго и религіознаго кодекса. Это общественное явленіе слишкомъ глубоко коренится во всей англійской исторіи и географіи, чтобъ его можно было объяснить въ двухъ словахъ. Припомните, какую важную роль въ прошедшемъ Англіи игралъ духъ авторитета и преданія. На него опираются въ своихъ требованіяхъ борцы за политическую свободу, которые обыкновенно ссылаются на старину, на древнія хартін, на прецеденты; реформы имбють видь подтвержденія, конфирмаціи старинныхъ правъ и обычаевъ, съ теченіемъ времени утраченныхъ. Англійское общество по преимуществу консервативно. Прибавьте къ этому консервативному направленію британскаго народа страшную силу общественного мнюнія, выработанную исторіей. Пріучившись зав'єдовать своими д'єлами, общество не терп'єло противорѣчій ни со стороны правительства, ни со стороны вольнодумныхъ единицъ. Такимъ образомъ мы видимъ: 1) господство извъстныхъ преданій религіозныхъ и нравственныхъ, съ которыми сжилось общество, и 2) могучую силу общественную, охраняющую эти преданія.

Такова родина Байрона и Шелли — величайшихъ англійскихъ поэтовъ XIX вѣка. Сильныя и самобытныя личности, они заговорили противъ традицій. Общество ихъ отвергло. Они его покинули и съ континента затѣяли борьбу перомъ, которая должна была выйти тѣмъ ожесточеннѣе, чѣмъ нетерпимѣе являлось общество. Протестъ Байрона направленъ не столько на политическія учрежденія, сколько на общественный бытъ, на понятія, взгляды, убѣжденія слоя, задающаго тонъ всей странѣ. Въ слѣпомъ гнѣвѣ онъ оправдываетъ даже то, что не-

возможно оправдать съ раціональной точки артнія; какъ бы на зло обществу онъ идеализируеть злодбевъ и сорванцевъ. Полемика противъ общественныхъ формъ-одна изъ любимыхъ темъ общей литературы начала XIX въка-у Байрона выходить горьче, неумолимъе, пламенные, чымь у его пымецкихы и французскихы собратьевы; неръдко она приводить его къ безумнымъ, лихорадочнымъ заключеніямъ, къ тому безграничному, всеобщему, непонятному отрицанію, которымъ проникнуть байроновскій Донъ Жуанъ. Поэма, подобная байроновскому Донъ Жуану, могла быть только написана англичаниномъ, человъкомъ, насмотръвшимся на безобразныя формы ходячей морали, приглядъвшимся въ общественной лжи, познакомившимся съ гнетомъ застоявшагося, лицемърнаго, самодовольнаго, комфортабельно-обставившагося общества, въ которомъ Милль дерзаетъ даже прозръть, всяждствіе этого закоренълаго пристрастія къ обычаю, зародыши новаго европейскаго Китая... Отъ отрицанія признаваемой, порочной морали Байронъ пересканиваетъ къ отрицанію всякихъ принциповъ общественной практики, всякихъ основъ, регулирующихъ отношенія лица къ обществу, --- и отсюда снова приходить къ той апотеозъ, къ тому слъному поклонению индивидууму, въ которомъ, какъ въ фокусъ, сбъгаются лучи его поэтическихъ замысловъ. По справедливости Байронъ-поэта лица по преимуществу, лица, развернувшаго свои титаническія притязанія, метающаго по всему міру молніи негодованія и вибств съ твиъ-жаждущаго отъ всего міра, имъ презираемаго, колънопреклонения и дыма кадильнаго. Онъ сравнивалъ себя съ Наполеономъ... Тэнъ называетъ Байрона поэтомъ личности и противополагаеть ему Гёте-поэта вселенной, космоса.

Идеализаціи преступленій, возвеличенія антисоціальных стремленій лица мы не найдемъ у Гёте, а если и отыщемъ подобные мотивы, то лишь какъ исключенія или совершенно въ иномъ освъщеніи. Апотеозу индивидуума мы встрътили и у Гёте, но она не простирается у него на противоестественныя выходки лица. Я указывалъ вамъ на байроническіе мотивы въ Вертеръ, но вмъстъ съ тъмъ замътилъ различіе въ колоритъ Байрона и Гёте: у Байрона оправдывается и какъ бы освъщается то, что у Гёте просто изображается..... Я сказалъ, что этимъ крайнимъ направленіемъ своего отрицанія въ области нравственныхъ вопросовъ Байронъ былъ отчасти обязанъ англійскому обществу, которое своимъ саптомъ, своими избитыми благоприличіями,

своей фашенебельной елейностью отбросило его къ противоположному берегу, вызвало въ немъ непримиримую реакцію.

Въ Германіи общество далеко не имъло такого развитія, такого значенія, какъ въ Англіи; оно не имъло такой силы надъ отдъльнымъ лицомъ; въ Германіи былъ неизвъстенъ тотъ суровый нуританизмъ, который оставилъ глубокіе слѣды на англійскомъ обществъ. Нѣмецъ гнулъ выю подъ прмомъ владътельныхъ деспотовъ, онъ не пользовался жизнью политической, но онъ могъ свободнѣе вести себя въ частномъ быту.... Германскія традиціи — нѣмецкій Zopf — сглаживался тевтонскимъ добродушіемъ (Gutmūthigkeit), далеко не былъ такъ щетиписть и стоекъ, какъ холодные завѣты закаменѣвшаго въ своихъ нравственныхъ уставахъ англійскаго общества *). Притомъ нѣмцы особенно заняты были отвлеченностями; за книгами они забывали общественную жизнь, мучились какъ Фаустъ, въ своихъ кабинетахъ, въ Studirzimmer'ахъ. Тамъ шла работа теоретическая, разлагалась и критиковалась метафизика книжная, а не общественная и политическая...

Слъдуетъ указать еще на одну крупную черту въ различіи пессимистическихъ типовъ Байрона и скорбниковъ Гёте — Вертера и Фауста. Гёте—серьезнье, искреннье, честные, прямые. Страданія Вертера п Фауста неподдъльны.... Фаустъ глубоко и искренно тужитъ и скорбить; на немь изть маски, въ немь изть притворства. Таковы и крупные типы Байрона — Манфредъ и еще болъе Каинъ. Но байроновская скорбь нередко любить рисоваться, фанфаронничать, щеголять. Убъдившись въ своемъ неизмъримомъ значении, въ своемъ титаническомъ превосходствъ, личность такъ увлекается собой, своими интересами, придаетъ такое значение своимъ замысламъ, чувствамъ, страстишкамъ, что считаетъ себя въ высшей степени интереснымъ предметомъ и для другихъ. И здёсь опять глубокое противоречіе, глубокая двойственность: презирая общество, лицо навязываетъ ему свои страданія, выставляеть передъ нимъ свое величіе, хочеть, чтобъ объ немъ пепременно говорили, рисуется и интересничаетъ. Известно, что Байронъ хотълъ непремънно выглядъть «несчастнымъ»; онъ готовъ былъ взваливать на себя какія-то невбдомыя тайныя преступленія, чтобы

^{*)} Ср. отношенія Гёте къ Chr. Vulpius, и еще ранве къ M-me de Stein, и біографію Байрона и Шелли.—Отношеніе Шиллера и Жанъ Поля къ Charlotte von Kalb. Повъствованіе Жанъ Поля о веймарскихъ нравахъ, см. Scherr, Schiller und seine Zeit, 3, 115, 69; 2, 86.

заинтересовать во что бы то ни стало. Кто-то върно о немъ замътилъ, что онъ le fanfaron de ses vices. Байронъ въ самомъ дълъ скорбълъ, по подчасъ любилъ и рисоваться своей скорбью, позировать. — Здёсь мы касаемся уже другаго очень распространеннаго въ свое время явлепія, стоящаго въ связи съ міровымъ пессимизмомъ, — мы касаемся напускной скорби, которая имъла множество общественныхъ и литературныхъ представителей. Пессимизмъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ сдъ лался модой; скорбълъ всякій дуракъ, хотъвшій обратить на себя вниманіе общества. Отъ салоннаго героя требовался печальный видъ; онъ доставляль ему, по выраженію Бальзака, общественное положеніе. Эта-самая непривлекательная форма міровой скорби-получила особенное значеніе у насъ въ Россіи. У насъ стали плодиться въ изобилін москвичи въ гарольдовыхъ плащахъ, скорбные офицеры съ непремънною печатью рока на чель, бльдные интересные молодые люди, которые разочарованнымъ взглядомъ и меланхолическою ръчью силились прикрыть внутреннюю пустоту и отсутствіе всякаго присутствія. Какъ ниинтересны судьбы міровой скорби въ Россіи, какъ ни любопытно разсмотръть подъ гарольдовымъ плащемъ складки россійскаго зипуна, за недостаткомъ времени я принужденъ опустить этотъ вопросъ изъ моего изложенія, тъмъ болье, что прямаго отношенія къ моему курсу онъ имъть не можетъ.

Познакомивъ васъ съ характеристическими признаками байроновскаго пессимизма, я попробую въ слъдующій разъ возстановить въ главныхъ очертаніяхъ преобладающій типъ его героевъ... Частности будутътеперь вамъ понятны, вы знаете ихъ смыслъ, ихъ обоснованія.

ЛЕКЦІЯ СЕМНАДЦАТАЯ.

Скорбники.

Байроновскій герой. Исключительная натура. — Аристократизмъ. — Міровая скорбь въ понятіяхъ среды. — Загадочность героя. — Теоретическій скептицизмъ и разрывъ съ обществомъ. — Идея индивидуализма въ новой исторіи. — Байронъ и Гёте.

Взглянемъ на байроновскаго героя, на скорбника новаго времени... Обыкновенно, это талантливая, богато одаренная натура, личность

исключительная. Поэзія, воспѣвавшая личность, разумѣется должна была брать своими героями сильноразвитыя индивидуальности. Эти люди являются не только осынанными всевозможными дарами природы, но и обладають тѣми средствами, которыя при данноме общественномь стров особенно благопріятствують развитію способностей: они обезпечены въ матеріальномь отношеніи. Мало того: иногда герой уже по рожденію занимаєть видное мѣсто на ступеняхь старой общественной іерархіи, — онъ аристократь. Такимь образомь у этихь лиць какъ бы развязаны руки; имь предоставлена полная возможность развивать свои силы... И воть, подобныхь субъектовъ, щедро надѣленныхъ средствами умственными, денежными, общественными п даже просто тѣлесными, ноэть приводить въ столкновеніе съ традиціей и обществомъ.

Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ одно обстоятельство. Въдь все это-люди новой исторіи, типы новаго времени, проникнутаго идеями демократическими. Какъ же происходить то, что въ литературныхъ произведеніяхъ, отражающихъ историческую дійствительность, воспроизводящихъ современные имъ типы, начинаютъ плодиться герои аристократы и богачи? Дело въ томъ, что вся байроповская поэзія сводится на культь лица, его свободной мысли, его самобытныхъ дъйствій и чувствъ, его критическаго отношенія къ окружающему міру. Iuuo привлекаеть на себя все вниманіє поэта и читающаго общества. Прежнія върованія, учрежденія, касты, старые порядки, уставы и отношенія — предаются отрицанію и насмѣшкѣ. Напротивъ-лицо стоитъ гордо, величественно, съ своимъ принципомъ ? свободнаго отношенія къ дъйствительности. Подъ ударами его индивидуальной критики рушится міръ традицій и авторитетовъ. Съ лицомъ возятся поэты; они ссужають его всеми благами, взваливають на него вст дары природные и общественные; имъ любо посмотръть, какъ будеть действовать это лицо, все ломать, все тонтать, все предавать разрушенію. Для этого эрвлища они вооружають личность всеми средствами, для борьбы съ авторитетами теоретическими и практическими, они даютъ ей дарованія, богатства, иногда даже физическую мощь и / родовитость. Тутъ-то начинается травля... Вы видите поэтому. что богатство и аристократизмъ имъютъ въ данномъ случав значение не сами по себъ, а какъ военныя принадлежности личности, которую поэты силятся поднять какъ можно выше общества, его преданій и кумировъ, которую они такъ сказать выхоливають и ссужають всякими

средствами для соціальной борьбы. - Но кром' этого въ этомъ аристократизмъ героевъ есть и дъйствительное противоръчіе. Для насъ это не ново, въ разсматриваемой нами эпохѣ колебаній мы постоянно сталкиваемся съ противоръчіями: аристократизмъ, какъ учрежденіе, отрицался, но все еще не потерялъ окончательно своего обаянія; въ нъкоторыхъ случаяхъ онъ вторилъ даже идеъ индивидуализма - въ отрицаніи общепризнаннаго, большинства, толпы. Присоединю къ этому. еще частность. Байронъ самъ быль аристократъ и очень древняго происхожденія; онъ этимъ любилъ даже похвастать, онъ видълъ въ этомъ знакъ отличія передъ большинствомъ, съ традиціями котораго онъ боролся. Какъ лирикъ онъ постоянно отождествлялъ себя съ своими героями и переносилъ на нихъ припадлежности своей собственной личности. Замътъте при этомъ, что въ Германіи, гдъ традиціи аристократизма были сравнительно слабъе и не имъли такого значенія какъ въ Англіи, -- поэты ріже снабжали боярствомъ своихъ героевъ. Вертеръ и Фаустъ-бюргеры, ученые....

Въ личности скорбнаго героя дъйствительно много мощи, оригинальности, глубины. Она не можетъ быть смъщиваема съ тъми представителями дюжинной посредственности, которые удовлетворяются безотчетнымъ прозябаніемъ среди мелочныхъ житейскихъ интересовъ, не хотять да и не могуть осмыслить и обобщить частности, не заглядывають дальше своего носа. Это подная противоположность темъ ограниченнымъ, недалекимъ, обыденнымъ субъектамъ, превосходные образчики которыхъ далъ Гёте въ сценъ у городскихъ воротъ своего «Фауста»; въ беседахъ этихъ мирныхъ гражданъ иемецкій поэтъ мастерскою кистью изобразиль ту бъдность буржуваныхъ понятій, ту житейскую запечную философію самодовольныхъ крѣпколобыхъ бюргеровъ, которая является продуктомъ умственной нищеты и опошляющаго мелкаго эгоизма. «Mag alles durcheinandergeh'n; doch nur zu Hause bleib's beim alten». Домашній насиженный уголь, стаканъ добраго пива, каляканье съ сосъдомъ о какой-нибудь турецкой войнъ-тамъ гдъ-то далеко, за тридевять земель, --чего еще желать человеку, если онъ при этомъ сытъ, обутъ, одетъ, если ему тепло и онъ усивлъ послв объда вздремнуть и при этомъ не видалъ во сит ни чертей, ни разбойниковъ. Въ такомъ райскомъ состояни можно забыть все остальное: провались оно совсёмъ! -- У подобныхъ особей человъческаго рода разумъется не можетъ быть никакихъ серьез

ныхъ интересовъ. Для нихъ человъкъ, имъющій эти интересы, ощущающій сильныя потребности умственныя, нравственныя, эстетическія — чудакъ, оригиналъ, шутъ гороховый или эловредный вольнодумецъ, «карбонарій, фармазонъ». Такимъ людямъ само собой не доступна ни міровая скорбь, ни ея пониманіе. Міровая скорбь, я подразумиваю — глубокую, искреннюю міровую скорбь, могла развиться только въ натурахъ, искавшихъ отдать себф отчетъ въ окружающемъ осмыслить свои отношенія къ природі и обществу, выяснить себті; свой образъ поведенія. Я уже говориль вамъ, что міровая скорбь потому и важна, потому и интересна, потому и имъетъ значение для историка культуры, что въ этомъ явленіи мы имбемъ дбло не съ личными интересами отдёльных субъектовъ, не со скорбью частною, всябдствіе какихъ-нибудь внішнихъ несчастій или нескладиць, а съ тоскою, коренящеюся въ разладъ цълаго міровозэрьнія.... Дюжинныя избитыя натуры не видять дальше мелкихъ единичныхъ интересовъ; онъ не могутъ возвыситься до задачъ отвлеченныхъ. до иден общей солидарности интересовъ, до пониманія общечеловъческихъ связей и отношеній. Какъ та звенигородская салопница, которая никогда не могла простить Наполеону смерть своей коровы, погибией въ отечественную войну 1812 года, онъ никогда не забывають своихъ ме лочныхъ личныхъ вздоровъ и дальше этого не заглядываютъ.

Міровой пессимизмъ-невъдомая страна для людей неразвитыхъ, неспособныхъ на отвлеченія. Я позволю себ' напомнить вамъ характеристическое мъсто изъ «Героя нашего времени». Максимъ Максимовичъ-человъкъ добрый и искренній, человъкъ, сочувствующій ближнимъ, но для него не существуютъ цълые вопросы, для него закрытъ міръ обобщеній, міръ теоретическій. «Скажите-ка, пожалуйста, продолжаль штабсь-капитань, обращаясь ко мнь, - вы воть, кажется, бывали въ столицъ и недавно: неужъ-то тамошняя молодежь вся такова? (Максимъ Максимовичъ имъетъ въ виду разочарованныхъ.)--Я отвъчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть. въроятно, и такіе, которые говорять правду; что, впрочемъ, разоча. рованіе, какъ всё моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, опустилось въ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всёхъ и въ самомъ деле скучаютъ, стараются скрыть это несчастие, какъ порокъ. -- Штабсъ-капитанъ пе понялъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво. -- А все, чай, франнузы ввели моду скучать? — Нътъ, англичане. — Ага, вотъ что!.. отвъчалъ онъ: — да въдь они всегда были отъявленные пьяницы!... Я невольно впомнилъ объ одной московской барынъ, которая утверждала, что Байронъ былъ больше ничего, какъ пьяница»...

Такъ относились къ скорбникамъ представители неразвитаго меньшинства, которое не понимало ихъ. Но не одно умственное превосходство дълало скорбниковъ непонятыми. Къ этому нужно присоединить другое очень значительное обстоятельство. Субъективизмъ, внутрений міръ мыслей, настроеній, ощущеній быль въ скорбныхъ герояхъ въ самомъ дёлё очень сложенъ, оригиналенъ и исполненъ противоръчій. Отрышившись отъ общепризнаннаго, личность погружалась въ свои стремленія. чувства, мысли и обобщенія, предавалась анализу своихъ настроеній и, отвращаясь оть міра вибшней дійствительности, этимъ постояннымъ самопровпряньемъ выработала въ себъ цёлую систему ощущеній, необыкновенно сложную, запутанную, дегко раздражаемую. Она утратила спокойное простое отношение къ предметамъ. Въ въчной вознъ съ своими грезами, съ своими муками, противоръчіями и колебаніями, съ своими прихотливыми и вычурными фантазіями, она такъ разладилась, такъ развинтились, что дъйствительно стала представлять для посторонняго спокойнаго наблюдателя загадочное явленіе. Такимъ образомъ загадочныя натуры — совершенно естественный результать раздвоеннаго міровоззрвнія и субъек тивности, развитой до болбани. Гёте называлъ проблематическими натурами такія, которыя не могутъ быть удовлетворены никакими отношеніями и условіями и влачать жизнь безъ пользы и наслажденія. На эту тему написаль впосабдствін свой извъстный романь Шпильгагенъ, который воспроизвелъ въ пемъ пессимистические отголоски сороковыхъ годовъ, мелкихъ потомковъ Фауста (Faustuliposthumi)-Такія загадочныя, непонятыя натуры—и герои Байрона.

Но вмъстъ съ тъмъ нужно отличать отъ людей дойствительно непонятых, отъ дъйствительных в скорбниковъ, которые съ одной стороны превосходили среду своими способностями и интересами, а съ другой — отличались особенной сложностью и разпообразіемъ своихъ душевныхъ явленій, — я говорю, нужно отличать отъ нихъ тъхъ модныхъ героевъ, на которыхъ я уже указывалъ въ прошлый разъ, людей, игравшихъ въ непонятые и въ которыхъ собственно и понимать то было нечего, за отсутствіемъ въ нихъ всякаго въскаго и значи-

тельнаго содержанія. Въ примъръ перваго типа я укажу вамъ хоть на байроновскаго Манфреда, какъ на образецъ дъйствительно глубокаго пессимиста. Въ примъръ втораго позвольте указать, какъ на особенно яркій и типическій образъ, какъ на полнайшую противоположность истинному скорбнику, на извъстнаго вамъ Лермонтовскаго Грушницкаго; это --- модный фертъ, ничтожество, --- и больше ничего. Но между этими двумя полюсами, между серьезнымъ, почтеннымъ скорбникомъ и пустозвономъ, ломающимъ изъ себя и притомъ очень неудачно-титаническую непризнанную личность, расположены разнообразныя промежуточныя формацін того же общирнаго типа разочарованныхъ. Какъ на среднее звено въ этой длинной цъпи варіацій я указываю на нементе извъстнаго вамъ Печорина, относительно котораго трудно ръшить, чего въ немъ больше - фанфаронства или настоящихъ страданій, когда онъ рисуется и когда на самомъ дёлё мучается; модничанье въ Печоринъ тъсно переплелось съ дъйствительнымъ скептицизмомъ, напускное сливается у него съ натуральнымъ. Мив сдается, что все-таки у Печорина элементы искусственные, подражательные, модные преобладають надъ естественными и самостоятельными проявленіями пессимизма. Въ Россіи міровая скорбь все-таки главнымъ образомъ явленіе заносное, вызванное подражаніемъ готовымъ западнымъ образцамъ.

Возвращаюсь къ нашей загадочной исключительной личности. Своего героя Байронъ обыкновенно выводить на сцену уже тогда, когда онъ многое пережилъ и переиспыталъ; поэтъ мало сообщаетъ намъ о его прошедшемъ, которое подернуто покровомъ таинственности. Изъ немногихъ неясныхъ намековъ на содержание прошлой жизни героя мы обыкновенно узнаемъ двъ выдающіяся черты. Во первыхъ-нькогда, въ юности, онъ былъ идеалистомъ, върилъ въ добро, въ Бога, въ знаніе, и затімъ, столкнувшись съ критическою мыслью, мало-но малу-теряль первоначальныя върованія, теряль равновісіе, становился постепенно все болье и болье отчаяннымъ скептикомъ. Такимъ образомъ вы видите, что эта первая основа, этотъ первый элементъ байроновскихъ героевъ сводится на теоретическую работу, на разрывъ въ общихъ возэрвніяхъ, на фаустическій разладъ въ убъжденіяхъ. Ребяческія идеальныя мечты Лары не оправдались, онъ не могли быть подтверждены действительностью. Съ проклятіями въ груди проснулся онъ отъ розовыхъ видъній своей юности; свои мученія, свои заблужденія и проступки онъ взваливаеть на природу, которая, по его мнѣнію, заковала духъ его въ плотскія оковы. Такъ же какъ и Фаусть онъ страдаетъ вслѣдствіе предвзятыхъ понятій о двойственности человѣческой природы; онъ выросъ на мысли объ антагонизмѣ своего якобы свободнаго духа и низкаго тѣла—темницы этой души. Онъ не можетъ примириться съ жизнью, которая не оправдываетъ его титапическихъ замысловъ и заоблачныхъ порывовъ. И Лара подобно Фаусту предается магіи, въ ней хочетъ найти разгадку основныхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ. Таковъ и Манфредъ, который цѣлые годы проводить въ занятіяхъ магіей съ тѣмъ, чтобъ проникнуть въ сокровенныя тайны бытія.

И Манфредъ прищелъ къ тому, что знаніе не приносить счастья, что наука-только промънъ невъжества на новое невъжество. Но, какъ я уже замётиль въ прошлый разъ, эта сторона пессимизма — научная, отвлеченная - въ герояхъ Байрона развита сравнительно слабъе. Зато, съ особенной силой выступаетъ второй элементъ — разрывъ съ людьми. съ обществомъ. Знаменемъ, глаголомъ такъ сказать этого разрыва служать преступленія героевъ. Лара-чуждь людямь, онъ стоить особнякомъ, опъ человъконенавидецъ—а hater of his kind. Съ его прошедшимъ связаны какія-то темпыя, невыясненныя страсти и преступленія. Онъ долго скитался по свъту. Когда онъ вернулся на родину, не знали, зачёмъ вернулся онъ и откуда; объ немъ судили, рядили, гадали, и онъ все-таки оставался для окружающих взагадочным в, таинственным в. Манфредъ-тоже преступникъ, тоже въ разрывъ съ обществомъ. Съ юности онъ избегалъ людей; у него были свои оригинальныя, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ, радости, печали и страсти. Онъ искалъ наслажденій въ лонъ природы, въ дикой обстановкъ, далеко отъ людей, среди горъ и скалъ. Манфредъ презираетъ ближнихъ. Когда спасшій Манфреда горный охотникъ, человъкъ первобытный и эпическій, говорить ему о терпъніи, герой отрывисто отвъчаеть ему: «Терпъніе, терпъніе! Прочь! — Это слово — для выочнаго скота, а не для хищныхъ штицъ. Пой, проповъдуй это тебъ подобнымъ людямъ; я — не изъ вашего порядка». Вы видите, къ какой отчужденности, къ какому пренебреженію дъйствительности, къ какому наглому взгляду на ближнихъ пришли эти герои. Передъ смертью Манфреда къ нему приходитъ аббатъ, точетъ утышить его и обратить его на свой путь истины. «Аббат». Нъть у тебя надежды? — Странно это! Даже тъ, которые не върять въ небо,

творять себъ фантазіи земныя, цъпляются за нихъ, какъ утопающій хватается за вътки тростника! Манфредъ. Да, отче! Въ юности имълъ я подобные земные идеалы и благородныя мечты --- стать свёточемъ народовъ, къ своимъ стремленіямъ пріобщить другихъ людей, подняться куда-нибудь высоко — потомъ можетъ быть пасть, но пасть, какъ горный водопадъ, который, бросившись съ мерцающихъ высотъ, даже внизу, въ пънящихся пучинахъ бездны, хранитъ свое величіе.... (изъ бездны жъ возстаютъ туманные столбы и въ дождевыя облака сгущаются). — Но это все прошло.... Въ своихъ мечтахъ я обманулся. Аббато. Отчего же? Манфредъ. Не могъ своей натуры нокорить; въдь тотъ, кто хочеть править - долженъ рабствовать, долженъ ласкаться, заискивать и караулить, шнырять, заглядывая всюду, быть воплощенной ложью, для того чтобъ получить значенье у людей средних, дюжипныхъ; а такова толпа. Гнушался я идти со стадомъ вмъстъ, хотя бы и вождемъ... вождемъ волковъ. Левъ - одинокъ. Таковъ и я». Такое безграничное самомнъніе, такое отрицаніе даже того основнаго положенія, что человъкъ — общественное животное по выраженію Аристотеля, было естественнымъ результатомъ развитія идеи индивидуализма, доведенной до крайности. Это быль тяжки кризись бользии, рышительная минута въ процессъ освобожденія личности отъ старины.

Въ прошедшій разъ я указаль на различныя условія, которыя въ Байронѣ благопріятствовали развитію поэта личности. Я указаль вамь на его лирическую натуру, на время его дѣятельности — время реставраціи и обскурантизма, преслѣдовавшаго критическую мысль, на конецъ на общественный деспотизмъ его родины, тяготѣвшій надъ оригинальными единицами.

Оставивъ теперь въ сторонъ эти условія, которыя намъ необходимы были для выясненія частностей и подробностей, я обращаюсь къ общему толкованію идеи индивидуализма и ея зависимости отъ всей культурно-исторической атмосферы, отъ всего міровоззрѣнія новаго времени. Мить не разъ случалось уже касаться этого вопроса, одного изъ самыхъ важныхъ и самыхъ сложныхъ вопросовъ новаго времени. Я слѣдилъ за этой идеей въ теченіе всего курса, я указывалъ на ея вычурныя и комическія формы въ періоды бурныхъ стремленій, на воплощеніе ея въ Гёцъ и Вертеръ, я вскрылъ ее передъ вами въ горделивыхъ выходкахъ Фауста и наконецъ пытался изобразить ея развитіе въ поэзіи Байрона, которой главное содержаніе именно и составляетъ апотеоза индивиду-

ума. Постараюсь обобщить, объединить все мною сказанное, свести концы съ концами.

Никогда личность и идея личности не имъли такого широкаго развитія какъ въ періодъ новой исторіи, т. с. въ то промежуточное время, которое тянется отъ среднихъ въковъ до нынъ зарождающагося новъйшаго историческаго періода. Въ теченіе этой переходной эпохи личность постепенно росла и въ концъ XVIII и началъ XIX столътія достигла высшей точки въ своемъ ростъ. Она росла вмъстъ съ идеей свободной ничемъ не стесняемой мысли и критики окружающихъ отнопеній. Этой критикой раздагалась старина, разрушались ветхія начала и принципы. Но еще не выработались новыя положительныя начала. И вотъ съ этимъ умственнымъ, нравственнымъ и практическимъ безначаліемъ переходной эпохи одинъ изъ великихъ мыслителей XIX вѣка приводить въ связь крайнее развитіе индивидуальности и личной критики. Въ средніе въка были твердыя общепризнанныя начала, опиравшіяся на въру, на авторитеты и традиціи. Эти начала ослабъли въ новой исторіи, утратили свою силу, не соотв'єтствовали новымъ отношеніямъ. Витстт съ темъ они не были заменены новыми твердыми принципами; повсюду критика, отрицаніе, колебанія, теоретическія и нрактическія неурядицы, и — развитіе единицъ, которыя чувствовали себя свободными отъ нъкогда обязательныхъ началъ. «Обязательное» потеряло обажніе; всякій мыслить по-своему, фантазируеть на свой ладъ, строитъ теоріи, философскія системы, не стъсняясь при этомъ преданіями и иногда доходя до абсурдовъ, до нелъпостей въ своихъ субъективныхъ комбинаціяхъ. Лицо не знаетъ надъ собой хозяевъ....

Въ старину значение лица ограничивалось религий и авторитетами. Если оно и воображало себя центромъ вселенной и считало каждый свой шагъ событиемъ, за которымъ слъдятъ высшія силы, если оно и придавало себъ неизмъримое значение космическое—то оно все-таки сдерживалось върою и религіозными установленіями. Возьмите буйнаго, гордаго средневъковаго рыцаря: при всемъ его личномъ задоръ, при всъхъ его дикихъ притязаніяхъ, на него можетъ быть наложена узда, онъ подчиняется извъстнымъ авторитетамъ. Генрихъ IV, нъмецкій императоръ, и тотъ принужденъ былъ идти въ Италію, на поклоненіе папъ, каяться передъ нимъ и просить объ отпущеніи гръховъ.... Въ ХУШ стольтіи пали эти авторитеты, и принципъ личной критики, свободы

индивидуальной мысли вырабатывается съ никогда невиданной дотолъ сидой. Въ XVIII столътіи какъ бы освящается право каждаго лица вободно по собственному благоусмотрвнію относиться къ окружающей дъйствительности: къ государственнымъ учрежденіямъ, къ наукъ, къ ческусству, къ обществу. Для лица не существуетъ преградъ.... оно выростаетъ до крайнихъ предвловъ въ самомнении. Оторвавшись отъ догматическихъ религіозныхъ представленій, заявляя протестъ государству, оно мечется вакъ бы безъ поводьевъ, оно свободно отъ груза. Но замътъте, что по разъ усвоенной привычкъ оно все-таки двигается по данному нъкогда направленію, оно все-таки продолжаетъ стремиться къ неосуществимымъ идеаламъ. Покинувъ идеалы каноническіе, не въря болъе въ ту миссію, на которую обрекала его религія, опо задается другими неясными, заоблачными миссіями, туманными формами инаго абсолютнаго блаженства. Оно не можеть еще разстаться съ стремленіями въ абсолютному. Оно все еще смотрить на себя, какъ на существо, которому предопредълены и предназначены сверхъестественныя цели. Отказавшись отъ божества и религи, отъ правительства, государства и общества, личность не могла отръшиться отъ старыхъ метафизическихъ пріемовъ мысли, отъ традиціонной привычки --- ставить человъка на первый планъ въ ряду твореній, на вершину космоса; она не отказалась отъ въковой фикціи объ автономіи человъческаго духа, объ его самобытности и независимости отъ міра явленій, объ его абсолютномъ значеніи. Личность не могла еще притически отнестись къ самой себъ. Что же выходить? - На мъсто средневъковаго абсолютнаго почитанія традиціи становится абсолютное поклоненіе лицу. его субъективизму и произвольной критикъ. Личности стремятся въ колоссальному. Фаустъ хочетъ проникнуть во всЕ тайны бытія или нережить все человъческое, Лара и Манфредъ клянуть свою природу, свою обстановку, весь міръ, такъ какъ въ этой дойствительности они встречають препятствія для своихъ титаническихъ замысловъ. Они съ отчаяніемъ замічають, что ихъ стремленія не оправдываются, ихъ идеалы лопаются, что сами они вовсе не такъ важны, не такъ значительны въ общей экономіи мірозданія. А съ этимъ последнимъ возареніемъ они еще не могутъ ужиться, на столько они еще не свободцы отъ традиціонныхъ привычекъ.

Такимъ образомъ, это крайнее болъзненное развите индивидуальности, которая задается неосуществимыми идеалами, не можетъ ограничиться въ своихъ стремленіяхъ, не можетъ добраться до новыхъ твердыхъ положеній и сосредоточить свои интересы на задачахъ дъйствительныхъ, реальныхъ, человъческихъ, которая, по старой при вычкъ, но уже безъ старыхъ возжей и поводъевъ прединія уносится въ пеземныя сферы, — это естественный симптомъ метафизической эпохи, эпохи переходной на пути отъ эпоса и традиціи къ строгому научному знанію.

Будемъ надъяться (мы уже имъемъ на это нъкоторыя основанія), что въ зарождающемся историческомъ періодълицо вовсе покинетъ свои титаническіе замыслы, сознаетъ свое ничтожное значеніе въ общемъ строъ вселенной и тъмъ съ большимъ рвеніемъ направитъ свою дъятельность на области, доступныя его способностямъ, на изслъдованіе міра явленій и на служеніе дъйствительнымъ интересамъ человъчества. Его опорой и столиомъ будетъ знаніе, положительная наука.

Вы видѣли, какъ родственны мотивы байроновской поэзіи Вертеру и Фаусту. Произведенія Байрона во многомъ уясняютъ для насъ смыслъ Гётева Фауста и потому-то мнѣ никакъ нельзя было опустить изъ моего изложенія этой бѣглой характеристики великаго англійскаго поэта. Самъ Гёте съ глубокимъ сочувствіемъ относился къ Байрону и съ напряженнымъ интересомъ изучалъ его произведенія. Онъ смотрѣлъ на него, какъ на представителя поэзіи новаго времени и считалъ его величай пимъ талантомъ XIX вѣка. Во второй части Фауста Гёте изобразилъ Байрона въ символическомъ образѣ Евфоріона, сына Фауста и греческой Елены. Только на мгновеніе появляется на сцену ребенокъ Евфоріонъ; ему нѣтъ мѣста на землѣ, онъ стремится все выше и выше.

«Immer höher muss ich steigen, Immer weiter muss ich schaun». *)

Образъ Евфоріона поднимаєтся въ вышину и въ видѣ кометы, свѣтлаго метеора взлетаєтъ къ небесамъ. Байронъ съ своей стороны былъ въ восторгѣ отъ Гётева Фауста. Онъ самъ не зналъ нѣмецкаго языка, но съ содержаніемъ Фауста его познакомилъ Шелли. Драму свою «Сарданапалъ» Байронъ посвятилъ Гёте, своему сюзерену, какъ онъ выра-

(Пер. Холодковскаго.)

^{*) «}Выше долженъ я стремиться, Дальше долженъ я смотрёть.»

жается, первому изъ современныхъ поэтовъ. Гёте очень высоко ставиль байроновскаго Манфреда и Каина. Онь быль поражень сходствомь ихъ мотивовъ съ мотивами Фауста и высказалъ мысль, что темы для Манфреда были заимствованы Байрономъ изъ Фауста и затъмъ самостоятельно обработаны. Вліяніе Гётева Фауста д'яйствительно зам'ятно на Манфредъ, но не болъе какъ въ частностяхъ. Между тъмъ основное направление поэмы никакъ не заимствовано. Въ Манфредъ мы видимъ вполнъ естественное развитіе того самаго пессимистическаго направленія, которое обнаружилось уже прежде и вполив самостоятельно въ его юношескихъ произведеніяхъ, въ его Корсарѣ и Ларѣ, т. е. тогда, когда Байронъ не быль вовсе знакомъ съ произведеніями немецкаго поэта. Дъло въ томъ, что оба поэта — и Гёте и Байронъ — развивались подъ вліяніемъ той же эпохи, которая и должна была необходимо отразиться на ихъ произведеніяхъ. Здёсь не можетъ быть рёчи объ искусственномъ заимствованій. عبساء واستوراء يسارا

ЛЕКЦІЯ ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Шиллеръ и «свобода» въ Германіи.

Пѣвецъ «свободы». — Его юность. — Первые драматическіе опыты. — Переходъ отъ свободы «физической» къ «идеальной» (Донъ Карлосъ). — Отношеніе нѣмцевъ къ французской революціи: Клопштокъ, Виландъ, Гёте и его политическія произведенія.

Мит следуеть теперь перейти кълитературнымъ произведеніямъ девяностыхъ годовъ, ко времени дружбы и вааимной деятельности Гете и Шиллера, къ такъ называемой эпохъ чистаго искусства и чистой гу-иманности. Разсмотрънію этой эпохи я предпошлю быстрый обзоръюношеской деятельности Шиллера.

На старости лътъ Гёте высказалъ однажды Эккерману слъдующее замъчание: «всъ сочинения Шиллера проникнуты идеей свободы, и эта идея принимала различные образы по мъръ того, какъ развивался самъ Шиллеръ и видоизмънялся его характеръ. Въ юности онъ стремился къ свободъ физической, и стремления его отразились въ поэтическихъ творенияхъ; позже—къ свободъ идеальной. То обстоятельство, что Шиллеръ въ юности своей такъ сильно стремился къ физической свободѣ, зависѣло отчасти отъ его натуры, но главнымъ образомъ объясняется тѣмъ гнетомъ, который ему приходилось испытывать въ военной школѣ. Впослѣдствіи, въ арѣлые годы, когда онъ былъ удовлетворенъ относительно свободы физической, онъ перешелъ къ идеальной, и кажется эта идея его погубила: движимый ею онъ относился къ своей физической природѣ съ требованіями, которыя/были ей не подъ силу.» Въ этихъ немногихъ словахъ набросана мѣткая характеристика Шиллера, такъ называемаго плеца свободы. Въ моемъ быстромъ обзорѣ его литературной дѣятельности я постоянно буду имѣть въ виду это замѣчаніе Гёге, постараюсь пояснить его вамъ частностями и подробностями и, руководясь имъ, какъ путеводною нитью, представить общую характеристику Шиллера и его идеаловъ, т. е. свободы.

Различны—какъ натуры обоихъ поэтовъ, такъ и обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ совершался процессъ ихъ развитія.... Гёте, которому боги благоволили съ самой колыбели, былъ, какъ вамъ извѣстно, достаточный, матеріально обезпеченный, бюргеръ большаго имперскаго города, обладалъ здоровымъ, мощнымъ организмомъ, имѣлъ возможность съ самаго дѣтства укрѣплять и развивать свои природныя силы и дарованія, въ юности вращался въ интеллигентныхъ кружкахъ своего времени и уже двадцатипяти лѣтъ достигъ высокаго общественнаго положенія.... Жизнь ему улыбалась, обстановка благопріятствовала его стремленіямъ, и онъ гордо и вмѣстѣ спокойно, съ олимпійскимъ величіємъ божества, окидывалъ самоувѣреннымъ взоромъ дѣйствительность, которая представлялась его испытующему, серьезному, научному взгляду необходимымъ продуктомъ вѣчныхъ неизмѣнныхъ силъ, желѣзныхъ законовъ вселенной. Гёте былъ поэтомъ приграды.

Сынъ бъднаго полковаго фельдшера, дослужившагося до офицерскихъ чиновъ, Фридрихъ Шиллеръ родился въ маленькомъ городкъ виртембергскаго герцогства, — страны, находившевъ въ половинъ прошлаго столътія въ самыхъ печальныхъ политическихъ и общественныхъ условіяхъ. Бразды правленія находились въ рукахъ герцога - помъщика, которому случалось иногда съ истинно отеческой патріархальной наивностью продавать своихъ солдатиковъ въ чужія страны (въ Голландію). Администраціей завъдывала замкнутая чиновничья каста, немилосердно сосавшая народныя силы: Виртембергъ

обзывали канцелярскимъ парадизомъ... Рано познакомился Шиллеръ съ этими отечественными прелестями; еще въ ранней юности испыталъ онъ на себъ тяжкую длань мъстнаго деспотизма. Мальчикъ былъ болъзненный и впечатлительный. Воспитанный въ набожной семьъ, онъ готовиль себя къ поприщу богослова-проновъдника, но въ то время, какъ юному Фридриху сябдовало приступить къ серьезной подготовкъ на эту должность, герцогь виртембергскій Карль Евгеній усердно хлопоталъ надъ совершенствованіемъ недавно учрежденной имъ военной школы. На педагогію, на всякія педагогическія заведенія и институты была въ то время особенно сильная мода. «Эмиль» Руссо усердно читался въ Германіи, толковался на всё лады, и теоріи тотчасъ же переводились, разумбется весьма неудачно, на практику. Герцогъ Каряъ Евгеній затівяя тоже педагогическое учрежденіе. Онъ сталь набирать въ свою школу самыхъ способныхъ мальчиковъ изъ офицерскихъ детей, и въ ихъ числе принужденъ былъ вступить въ школьники новаго заведенія Фридрихъ Шиллеръ. Герцогь пожелаль, чтобъ онъ сдъдался юристомъ, но черезъ нъсколько времени Шиллеръ, изъ отвращенія къ юриспруденціи, перешелъ съ разръшенія герцога въ открывшійся при школь медицинскій факультеть. Школа была поставлена на военную ногу: во всемъ — строгая дисциплина, порядокъ дня регулировался барабаннымъ боемъ, на лекціи ходили по командъ.... Здъсь, въ духотъ этого института-казармы въ Шиллеръ съ особенной силой пробудились стремленія къ свободъ. Онъ рвался на вольный воздухъ, и утъшение находилъ въ поэзіи, въ которой и выдились эти стремленія, со всей искренностью, со всёмъ пламеннымъ энтузіазмомъ, со всей лихорадочной тревогой пылкаго юноши. Здъсь, въ Карловой военной школъ была написана Шиллеромъ въ 1780 году драма «Разбойники», которая вмъстъ съ Гёцемъ и Вертеромъ принадлежитъ къ самымъ характеристическимъ явленіямъ періода бурныхъ стремленій.

При всей дисциплинъ и милитарной строгости въ Карлову школу проникли струи того освободительнаго настроенія, которое въ то время носилось на всемъ континентъ. Воспитанники восторгались личностями Вашингтона и Франклина; они зачитывались Гёцемъ, Вертеромъ и благоговъли передъ Руссо, которому посвящено одно изъ первыхъ стихотвореній Шиллера. Такимъ образомъ тъ культурно-историческія вліянія, которыя породили юношескія произведенія Гёте, охватили и Шиллера.

Но бури и волненія эпохи получили въ юношеских созданіяхъ Шиллера свою оригинальную окраску. У Шиллера, выросшаго подъ сѣнію политическаго абсолютизма, испытавшаго его тяжелыя прихоти и капризы, насмотрѣвшагося на правительственный произволъ, выступилъ въ произведеніяхъ на первый планъ протесть политическій, который, какъ мы видѣли, въ нѣмецкой литературѣ того времени былъ выражаемъ сравнительно довольно слабо. Такимъ политическимъ протестомъ проникнуты трп первыя драматическія произведенія Шиллера: его «Раабойники», «Фісско» и «Коварство и Любовь». Это первыя созданія пѣвца свободы. Остановимся на минуту, посмотримъ. какъ относился къ свободѣ, какъ понималъ ее Шиллеръ въ эту первую эпоху своей литературной дѣятельности.

Протестъ противъ господствующихъ общественныхъ формъ и учрежденій въ пьесахъ молодаго Шиллера різокъ, горячь, исполненъ благороднаго негодованія, но вм'єст'є съ тімь переходить нер'ядко всякія раціональныя границы, доходить до абсурда. Идеалы, положенія не ясны; вся сида сосредоточена въ отрицаніи. «Когда я читаю въ Илутархів о великихъ людяхъ, мнів противенъ становится этотъ черинльный въкъ», говорить Карлъ Моръ, герой, удаляющійся изъ порочнаго общества въ лъса и принимающій начальство надъ шайкою разбойниковъ. «Потухла искра прометеева пламени, на мъсто еявспышки ликоподія, театральный огонь, на которомъ нельзя вакурить трубки. И вотъ людишки мудрятъ, словно крысы скребутъ геркулесову палицу. Французскій аббатъ поучаеть, что Александръ быль трусомъ; чахоточный профессоръ поминутно нюхаеть нашатырь, читая лекцію о силь.... Нътъ, я себъ этого представить не могу! Мнъзашнуровать корпусь въ корсетъ, зашнуровать волю въ законы! Законъ заставляетъ ползать улиткой того, кто могъ бы парить орломъ. Законъ еще не произвелъ ни одного великаго человъка, а свободою порождаются колоссы и крайности. Тодпа этакихъ молодцовъ какъ я, и Германія будеть республика, — такая, что Римъ и Спарта передъ ней — женскіе монастыри» Таковы тенденціи «Разбойниковъ», эпиграфомъ которыхъ юный поэтъ выставилъ гордое слово «Противъ Много пылкаго юношескаго восторга, глубокая злоба \ противъ современнаго государства и общества, искреннее резкое отрицаніе существующих вобщественных порядковь, и вибств съ твиъ самые туманные, неясные идеалы, отсутствее продуманныхъ полити-

ческихъ понятій. Въ следующей «республиканской трагедіи» (какъ озаглавиль свою пьесу Шиллерь) Фіеско сюжеть прикрыплень уже къ исторической почвь; политическія стремленія поэта становятся яснье, и онъ уже не мечтаеть о какомъ-то обществъ бродягь въ богем-. скихъ лъсахъ. Но неудачная драматическая техника ньесы препятствуетъ рельефному выражению республиканской идеи. Притомъборьба между деспотизмомъ и свободой изображена въ формъ частной питриги. Серьезной оценки историческихъ движеній въ Шиллеръ не было, да и не могло быть: потому такъ неясны его идеалы общественнаго переустройства; они лишены историческихъ обоснованій, у нихъ нътъ твердой опоры въ дъйствительности. — Третья пьеса---«Коварство и Любовь» — едва ли не самая удачная изъ юношескихъ драмъ Шиллера: въ ней воплощенъ противъ сословныхъ предразсудковъ общества, противъ исключительности касты. Завязка ея основывается на взаимной любви аристократа и дъвушки средняго класса, -- на ихъ любви, которая не можетъ получить легальнаго значенія въ глазахъ общества. Сюжетъ выхваченъ изъ современной жизни. Придворный быть въ Штутгартъ доставиль Шиллеру обильный матеріаль для его пьесы. Потому-то въ ней, преимущественно въ частностяхъ, столько искренности, столько жизни и правды.

Такимъ образомъ въ этихъ юношескихъ произведеніяхъ Шиллера вы встръчаетесь съ ръзкимъ протестомъ противъ существующихъ общественныхъ формъ. Какъ ни туманны, какъ ни смутны его идеалы свободы, темъ не менее уже изъ самаго отрицанія очевидно, что та свобода, о которой идеть рачь въ этихъ первыхъ произведеніяхъ Шилпера, — свобода общественная, политическая.... Шиллеръ борется съ государственной тиранніей, съ правительственнымъ деспотизмомъ, съ сословными общественными предразсудками. Правда, онъ не доработался ни до какихъ твердыхъ опредбленныхъ политическихъ положеній, но зато онъ смълъ и испреклоненъ въ отрицаніи. Огонь, которымъ проникнуты эти пьесы, ихъ искренность, увлекательность ихъ изложенія, доставили имъ въ свое время громадную популярность. Нъть сомнънія, что авторъ ихъ, родись онъ не на нъмецкой почвъ, а въ другой странь, болье доступной для политического броженія, сдълался бы замичательными общественными диятелеми или политическимъ писателемъ. Въ Германіи изъ него вышелъ тотъ поэтъ, который

впоследствии совершенно отрешился отъ интересовъ политическихъ и создалъ себе другіе идеалы—другой свободы.

Съ 1782 до 1790 г. для Шиллера тянутся годы странничества..... Бъдному полковому лъкарю стало не въ моготу жить въ Виртембергъ, гдъ ему, подъ страхомъ заключенія въ кръпость, было запрещено самимъ герцогомъ заниматься литературой. Онъ бъжалъ, и въ теченіе нъсколькихъ лътъ переъзжалъ съ мъста на мъсто, нигдъ не пріобрътая осъдлости и пробавляясь скудными доходами съ плохо-оплачиваемыхъ литературныхъ трудовъ. Но онъ все-таки сталъ свободенъ, по крайней мъръ физически, какъ выражался Гете, и вотъ въ немъ по-немногу начинають успоковваться прежнія тревожныя, протестующія струны, по-немногу онъ примиряется съ бытомъ общественнымъ и втягивается въ мирные нъмецкие бюргерские кружки, поглощенные въ то время почти исключительно вопросами философскими, литературными и эстетическими. Впрочемъ, переходъ Шиллера изъ пессимистическаго настроенія, изъ положенія недовольнаго протестующаго революціонера къ болъе спокойному состоянію духа и наконецъ къ примиренію съ жизнью совершался очень медленно. Произведеніемъ этой переходной эпохи была драма его «Донъ Карлосъ». Она задумана была въ началъ восьмидесятых в годовъ, когда поэтъ находился еще въ злобномъ негодующемъ настроеніи. Изъ перваго плана «Донъ Карлоса» мы видимъ, что Шиллеръ хотълъ выразить въ этой пьесъ протестъ противъ установленій религіозныхъ; онъ задавался цілью-представить церковный деспотизмъ времени Филиппа II, изобразить ковы и злодъянія инквизиціи. Такимъ образомъ въ этомъ первомъ проектъ Шиллеръ стоитъ еще на прежней почвъ общественнаго протеста. Иланъ подвергался въ теченіе 80-хъ годовъ разпообразнымъ видоизмѣненіямъ. Рѣзкіс, революціонные мотивы слабъли, и выдвигается все болье и болье та новая идея, которая впоследствіи совершенно овладела Шиллеромъ. Герой — маркизъ Поза является не бурнымъ отринателемъ, а реформаторомъ. пророкомъ гуманности, «денутатомъ всего человъчества», стремящимся въ пересозданію общественных отношеній путемь просвътительной реформы. Поза самъ не отдаетъ себъ яснаго отчета въ своихъ идеалахъ; онъ носится съ ними, какъ съ задушевными смутными чаяніями и упованіями на свътлое будущее и вмъстъ съ тъмъ мало обращаетъ вниманія на дъйствительную реальную подкладку этихъ упованій. Ясно то, что въ Шиллеръ уже ослабъли струны ръзкаго непреклоннаго протеста, и въ

«Донъ Карлосъ» выступають уже идеалы спокойной реформы, мысли объ измъненіи общественныхъ понятій путемъ иравственнаго совершен ствованія. Здъсь мы уже переходимъ къ свободю другаго рода, къ той, которую Гёте обзываль идеальной. Ръчь о свободъ политической въ сочиненіяхъ Шиллера прекращается; его манятъ другія сферы, другіе порядки идей. Этотъ переворотъ въ Шиллеръ отъ дъйствитель ности къ идеализму согласовался съ стремленіями его народности. Взглядъ на отношенія нъмецкаго народа и лучшихъ представителей къ политическимъ событіямъ того времени будетъ лучшимъ комментаріемъ къ вопросу объ видоизмъненіи Шиллеровыхъ идеаловъ свободы. Остановимся здъсь подробнъе и разсмотримъ отношенія Германіи къ европейскимъ политическимъ событіямъ того времени, къ французской революціи.

Принципамъ свободы общественной и политической въ Германіи было почти невозможно развиваться. Нъмцамъ конца процилаго въка случалось созрѣвать въ этихъ вопросахъ до одного — до пассивнаго отрицанія существующихъ общественныхъ условій, до сознанія ихъ неудовлетворительности. Но выработать себъ опредъленныя политиче скія понятія—они были не въ состояніи... Ни опредъленныхъ общественныхъ интересовъ, ни даже развитыхъ общественныхъ центровъ Общественный горизонтъ германскаго народа былъ узовъ, и даже тв. которые въ юности, подъ вліяніемъ эпохи, носились съ политическими идеалами, впоследствии по-немногу забывали ихъ, отрекались отъ нихъ, переставали ихъ понимать. Послушайте, напримъръ, что говорить Гёте Эккерману относительно вопроса о свободь: «Страиная штука-эта свобода, и всякому легко ее себъ добыть, лишь бы онъ умълъ себя ограничивать. И къ чему намъ излишекъ свободы, которымъ мы не можемъ пользоваться! Посмотрите на эту комнату и на смежную спальню, гдъ стоитъ моя кровать: объ - невелики, притомъ завалены всякими принадлежностями, книгами, рукописями, предметами художествъ; но съ меня этого довольно, я жилъ въ нихъ всю зиму и почти не ходилъ въ переднія комнаты. Къ чему же мпѣ мой помъстительный домъ, къ чему мнъ свобода ходить изъ комнаты въ комнату, если у меня на это не было потребности. Имфеть человъкъ на столько свободы, чтобъ жить въ добромъ здоровью и заниматься своими дпломи (?), — и довольно съ него! А столько свободы легко дается каждому»... И это говорилъ Гёте. Вы видите,

что дъйствительно нъмцы словно не ощущали потребности въ реальной, общественной свободъ. Они погружены были въ свои книги, въ свои частные семейные интересы и настолько свыклись съ отеческой опекой своихъ правителелей-помъщиковъ, что лишены были всякаго нолитическаго чутья, что приходили даже иногда къ отрицанію необходимости общественной свободы для прогрессивнаго развитія человъчества. Такъ бъдно и неразвито было политическое міровозаръніе нъмецкаго народа, даже его образованных вединиць, которыя рёдко шли дальше теоретического отрицанія существующихъ порядковъ и не вырабатывали себъ никакихъ твердыхъ опредъленныхъ политическихъ положеній. Если свободой восторгались, — то какъ идеей, какъ прекраснымъ поэтическимъ отрицаніемъ дъйствительности, но идея эта не принимала плоти и крови, не выяснялась въ осязательныхъ, ръзкихъ очертаніяхъ, а жила въ сферахъ заоблачныхъ и поднебесныхъ.... А когда нъмцы увидъли, какъ эта «божественная, неземная» идея слустилась на землю у ихъ состдей, облеклась въ мірскія формы декретовъ и учрежденій, на долю затыла ожесточенную борьбу съ раб ствомъ и тиранніей, обагридась въ этой борьбъ кровью человъческой, они ужаснулись и отреклись оть нея. Не отдавая себъ отчета въ своихъ туманныхъ грезахъ и мечтахъ о свободъ, не уясняя себъ ближе содержание этого понятия, нъмецъ сталъ отождествлять его съ общими представленіями объ идеальномъ благь, о золотомъ въкъ, о несбыточномъ нереустройствъ всего быта на высшихъ началахъ нравственности и красоты... Дальше онъ не шелъ въ своихъ опредъленіяхъ и невольно содрогнулся, когда завътная идея проникла въ жизнь сосъдней націи, слидась съ реальными житейскими отношеніями, съ условіями людскими, съ необходимыми человъческими промахами и немощами.

Къ первому взрыву французской революціи, къ первымъ шагамъ національнаго собранія Германія отнеслась сочувственно. Движеніе только начиналось, оно было окрашено идеальными, отвлеченными, теоретическими тенденціями. Еще въ 1788 г. Клопштокъ привътствовалъ зачинающійся переворотъ своей одой къ генеральнымъ штатамъ. Возведенный національнымъ собраніемъ въ почетное званіе французскаго гражданина, онъ до 93 года продолжалъ стоять за дѣло французской революціи, завелъ переписку съ Лафайетомъ, обратился съ одой къ герцогу брауншвейгскому, въ которой старался отклонить

его отъ участія въ поході противъ французовъ, даже обіщаль французскому правительству обработать проектъ для новой конституція. Но это сочувственное отношеніе вскорт прекращается. Клопштокъ не можетъ примириться съ казнью Людовика XVI и въ новыхъ одахъ начинаетъ оплакивать свои «заблужденія», которыя порождены были теми идеальными, туманными представленіями, которыя онъ связываль съ понятіемъ свободы. Онъ проглинаетъ «кровавую > свободу Франковъ. — Подобно Клопштоку и Виландъ началъ съ восторженныхъ дивирамбовъ французскому національному собранію. Но уже ночь 4-го августа вывела Виланда, по его собственному выраженію, изъ заколдованнаго круга. Онъ тёшится мыслью объ обновленіи и преобразованіи монархіи, онъ привътствуетъ декретъ объ отмънъ монашескихъ орденовъ, видитъ въ дълъ французской революціи діло всего человічества, но вмісті съ тімь не можеть ужиться съ мыслыю «объ этихъ милліонахъ законодателей — плотниковъ, мясниковъ, портныхъ, которые съ своими топорами, ножами, молотами, иглами, верстаками, въ своихъ холстяныхъ рубахахъ и кожаныхъ передникахъ», не могутъ представить гарантій для успъшныхъ преобразованій. Вмісті съ преобладаніемъ лкобинскаго направленія въ Парижь, Виландъ сдълался ревностнымъ монархистомъ и все болбе и болбе приближался къ точкъ врвнія реакціонной.

Характеристичнъе всего отношение къ французской революціи величайшаго нъмецкаго поэта Гёте, который съ своего министерскаго поста, съ своего олимпійскаго трона въ Веймарт смотртль на совершающуюся всемірную катастрофу холодными взорами человіка солиднаго, осъвшагося въ своихъ порывахъ, разсудительнаго нъмецкаго бюргера, чуждаго истинной политической жизни и всецёло преданнаго отвлеченнымъ задачамъ космологіи -- съ одной стороны, чистаго искусства -съ другой. Свое отвращение къ французской революции Гёте пытался обосновать возэрвніями естественнонаучными. «Вы знаете», говориль онъ впоследствіи Эккерману, «какъ радуюсь я каждому совершенствованію, которое судить намъ будущее. Но мит противно все насильственное, всякіе скачки, потому что это не сообразно съ природой. Я-другъ растеній, я люблю розу, какъ наисовершеннъйшій цвътокъ, который произрастаетъ на нашей немецкой почве; но я не настолько безразсуденъ, чтобъ требовать ее теперь, въ концъ апръля въ моемъ саду. Я доволенъ, если я въ настоящее время вижу только первые зеленые лепестви; меня радуеть, какъ листъ за листомъ отъ педъли до недъли осложняеть стебель, меня радуеть, когда я вижу въ маъ почку и когда наконецъ въ іюнъ передо мной распускается во всей своей прелести ароматическая роза. Кто не хочеть выжидать временипускай идеть въ теплицы». Такимъ образомъ бурные впезапные ръшительные перевороты казались Гёте явленіемъ неестественнымъ, нарушающимъ правильный ходъ природнаго развитія. Дёло прогресса, ис его мижнію, можеть совершаться только путемъ спокойной мирной постепенной метаморфовы общественнаго организма. Съ этой точки зрънія онъ осуждаль и французскую революцію, и нѣмецкую реформацію, которыя, по его мивнію, препятствовали ходу спокойнаго совершенствованія: «Franzthum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehemals Lutherthum es gethan, ruhige Bildung zurück». Этимъ разсужденіемъ онъ какъ бы оправдываль свой политическій индифферентизмъ, свое равнодушіе къ стремительнымъ потокамъ народнаго движенія, свой «фанатизмъ покоя», не замічая или не желая замібтить въ своихъ оправдательныхъ аргументахъ довольно очевидный софизиъ. Точно не въдалъ онъ, что и во внъшнихъ отправленіяхъ природы, въ жизни стихій и міровыхъ элементовъ наступаютъ по временамъ ръщительные бурные перевороты, которые тъмъ не менъе не перестають быть естественными, которые коренятся въ прошедшемъ и воздъйствують на будущее. Онъ не хотъль усмотръть во французской революціи явленіе, подобное благотворной грозь, съ оглушительными громовыми раскатами и ослъпляющимъ блескомъ молній, грозъ. которая естественно и неизбъжно подготовляется томительнымъ лътнимъ зноемъ, разрѣщается живительными дождевыми потоками, обдаеть всю тварь освъжающими струями пахучаго воздуха и вызываетъ отяжельности и энергическому росту... Это непонимание великаго культурнаго значения французской революціи отражается и на техъ произведеніяхъ Гёте, которыя были/ имъ написаны подъ вліяніемъ французскихъ событій. Въ 1792 г. издана была Гёте комедія «Der Gross-Cophta», содержаніемъ которой послужила извъстная скандальная исторія съ ожерельемъ, случившаяся въ парижскихъ придворныхъ сферахъ незадолго до революціи *). Въ этой темной исторіи, въ которой играла роль сама королева Марія

^{*)} Митине Форстера о Gross-Cophta, см. у Koberstein IV, 291.

Антуанета, кардиналъ de Rohan, вздумавшій подкупить ее дорогимъ ожерельемъ и наконецъ извъстный искатель приключеній и чудодъй Каліостро, президенть, или «великій кофта» (такъ называль онъ себя) основанной имъ египетской ложи, - въ этой темной исторіи обнару жилось все умственное и нравственное растление представителей ста раго режима; она окончательно вооружила противъ нихъ общественное мивніе и усилила еще болве озлобленіе въ твхъ классахъ, которые уже давно бурно колыхались, чуя приближение соціальной катастрофы, а вмъстъ съ нею и своего политическаго освобожденія. Сю жетъ представлялъ много интереспаго: вышивая по данной имъ канвъ, можно было дать художественную картину французскаго общественнаго быта передъ революціей, изобразить последнія фазы любопытнаго процесса разложенія и банкротства привилегированных сословій. Въ пьесъ Гёте историческій колорить пропаль, дъйствующимь лицамь даны были общія названія, на сцену выведены просто-графъ, марвизъ, маркиза; все произведение было сведено на интригу, на личныя стольновенія, на частный анекдотъ. Историческій характеръ темы, которую можно было развить въ любопытную сцену изъ пролога къ всемірной драмь, быль непонять ньмецкимь поэтомь, и вь результать получилась безъинтересная театральная паутина.

Въ другой комедін «Гражданинъ-генералъ» (Der Bürgergeneral), написанной въ 1793 году, ръзко высказываются анти-демократическія тенденціи. Въ патріархальномъ німецкомъ помість во имя свободы и равенства нъкто-фельдшеръ Шнапсъ. Его арестують, феодальный владыка помъстья (представитель въ пьесъ авторскихъ возэрвній) объявляетъ милостивую амнистію и даетъ своимъ подданнымъ благонамъренныя наставленія-вести спокойную жизнь, воздълывать свои поля, о чужихъ странахъ не заботиться и посматривать на политическій небосклонъ разві по воскресеньямь и праздникамь развлеченія ради. «Въ странь», говорить онь, «гдь государь для всьхъ доступенъ, гдъ всъ сословія взаимно уважають другь друга, гдъ всякому предоставлена свобода самостоятельной деятельности, где находять общее распространение полезныя воззрвния и сведения, — тамъ не будетъ партій. Въ тиши мы будемъ радоваться тому, что надъ нами ясное небо и будемъ избавлены отъ злополучныхъ бурь, которыя опустошають и побивають градомъ неизмъримыя пространства». Въ такомъ радужномъ свътъ представляль себъ веймарскій министръ внутренній быть мелкаго нёмецкаго государства, жители котораго благоденствують подъ добродѣтельной державой просвѣщеннаго мѣстнаго владыки, не нуждаются въ политической свободѣ и ею не интересуются. Разумѣется подобная безмятежная вседовольная Аркадія могла существовать въ XVIII столѣтіи только въ воображеніи поэта. Фантазіи Гёте не подтверждались дѣйствительностью, къ превратному по ниманію которой его пріучила замкнутая жизнь въ мелкомъ городкѣ, мирная тѣсная домашняя обстановка, близость къ двору, наконецъ— теоретическія занятія, разобщенныя съ практическими отношеніями. «Что даже та незатѣйливая частная свобода, которую признавалъ Гёте», говоритъ Льюисъ, «не мыслима безъ свободы политической,—это, кажется, ему не приходило въ голову; онъ совершенно упускаетъ изъ виду то, что полицейскія предписанія имѣютъ рѣшающее значеніе для единицъ, а правительственные указы и для всей націи».

Въ 1794 году Гёте набросалъ неоконченную имъ политическую драму «Die Aufgeregten» (Возмутившіеся). Просвъщенная графиня усмиряеть возмущеніе въ самомъ его зародышѣ благоразумными уступками требованіямъ черни. Пьесу эту Гёте называлъ своимъ политическимъ исповѣданіемъ. «Представителя аристократіи», говоритъ онъ, «я изобразилъ въ графинѣ и выразилъ ея устами, какъ собственно подобаетъ мыслить аристократіи. Она только что вернулась изъ Парижа, была тамъ свидѣтельницей событій революціи и извлекла изъ нихъ для себя хорошее руководство. Она пришла къ убѣжденію, что надъ народомъ дѣйствительно слѣдуетъ тяготтоть, но не угнетать его и что революціонныя возмущенія низшихъ классовъ — слѣдствіе злоупотребленій высшихъ (Sie hat sich überzeugt, dass das Volk wohl zu drücken, aber nicht zu unterdrücken ist…)».

Этому отношенію къ французской революціи Гёте оставался въренъ до самой старости, и почти на туже точку зрѣнія въ девяностыхъ годахъ сталъ пѣвецъ свободы, авторъ «Разбойниковъ», Фридрихъ Шиллеръ. Изъ предыдущаго изложенія вы могли убѣдиться, что явленіе это было общее нѣмецкимъ образованнымъ классамъ того времени, что для достодолжной правильной оцѣнки французскихъ событій въ нѣмецкомъ обществѣ того времени не доставало, такъ сказать, органа, не доставало политическаго развитія. Всѣ лучшія силы націи, вся соль нѣмецкой земли, ея питательные соки направлены были въ другія сферы; они устремились на задачи философскія и литературныя. Словно на-

перекоръ сосёдямъ въ девяностыхъ годахъ прошлаго столётія нёмцы погрузились въ отвлеченныя умствованія, въ философскія разсужденія, въ анализъ эстетическій. Свои политическія немощи они старались забыть на отвлеченномъ культё философскихъ идей и художественной красоты. Туманные, неясные республиканскіе идеалы періода бурныхъ стремленій, которые держались не на продуманныхъ положеніяхъ, а только на отрицаніи существующаго, — эти идеалы скрылись передъ внезапнымъ зрёлищемъ переворота у сосёдей, смыслъ котораго остался непонятнымъ для представителей нёмецкаго народа.

Прежній пъвецъ общественной свободы Шиллеръ идетъ въ это время рука объ руку съ великимъ язычникомъ—Гёте. На его знамени по прежнему стоитъ гордый девизъ— свобода, но эта свобода— не общественная, не политическая, не реальная, а свобода нравственная, эстетическая, та свобода, которую Гёте обозваль идеальной. Объ ней буду говорить въ слъдующій разъ.

ЛЕКЦІЯ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Шиллеръ и идеализмъ.

«Боги Греціи».— «Художники».—Отношенія Шиллера въ французской революціи. — Занятія исторіей и философіей. — Идеальная свобода. — «Идеаль и Жизнь». — Эстетическія письма. — Литературное направленіе классиковъ:

1) отвращеніе отъ дъйствительности, 2) культъ искусства и «формализмъ» въ поэтической дъятельности, 3) грекоманія.

Новые идеалы Шиллера слагались въ концѣ восьмидесятыхъ и началѣ девяностыхъ годовъ. Въ эту эпоху онъ пріобрѣтаетъ себ близкихъ друзей, получаетъ мѣсто профессора исторіи въ іенскомъ университетѣ, женится, наконецъ—въ 1794 г. вступаетъ въ коротвія отношенія къ Гёте. Юность прошла, съ нею исчезли юношескія грезы и революціонный пылъ молодыхъ лѣтъ. Наступалъ зрѣлый возрастъ, матеріальныя обстоятельства улучшались, и въ поэтѣ стали создаваться другіе идеалы, которые болѣе прежнихъ отвѣчали его измѣнившемуся настроенію и той обстановкѣ, въ которой онъ жилъ....

Не въ немъ одномъ возникли подобные идеалы: они вообще носились въ нъмецкомъ обществъ того времени.

Это новое направление уже ръзко обозначилось въ двухъ стихотвореніяхъ Шиллера «Боги Греціи» (Die Götter Griechenlands) и «Художники» (Die Künstler), изъ которыхъ первое написано было въ 1788 г., второе-въ 1789 году. Въ первомъ - апотеоза греческихъ върованій и греческаго быта. Въ міровозарънія древнихъ Эдляновъ поэть находить ту гарменію, ту цельность и поэзію, которую онъ вотще ищеть въ современной жизни. Въ немъ онъ находить то непосредственное отношение къ дъйствительности, которое ставить человъка въ тъсное общение съ окружающей природой, которое еще не знаетъ различія между духомъ и матеріей, какъ между двумя враждебными противоположностями, въ которомъ человъкъ руководствуется не разлагающимъ анализомъ и не критическою мыслыю, а первобытной богатой фантавіей, наполняющей своими поэтическими образами весь міръ явленій, оживляющей всю природу человъческими силами и стремленіями. Тамъ нъть разлада между идеалами и дъйствительностью, тамъ рисовалось для тревожнаго поэта новаго времени безмятежное дътство человъчества, его эпическій быть, -- въ тъхъ совершенныхъ художественныхъ формахъ, въ которыхъ онъ могъ воплотиться благодаря прекрасному небу Греціи, благодаря роскошной и вийстй съ тимъ мягкой, благотворной для человика природи греческаго архипелага....

Въ «Художникахъ» возвеличивается искусство и его образовательное значене для человъка. Художники, жрецы искусства, являются провозвъстниками божественнаго, абсолютнаго, — идеала. Они своими произведеніями воспитывають общество, возвышають людей къ истинъ и нравственному достоинству. Черезъ посредство искусства человъкъ можеть подниматься надъ своей чувственностью, отръщаться отъ нея и приближаться въ божественному, т. е. къ истинъ и верховной морали. Искусство—этотъ символъ истины и блага—служитъ проводникомъ человъку въ его идеальныхъ стремленіяхъ: оно даетъ ему возможность постепенно совершенствоваться въ своемъ развитіи, освобождаться отъ житейскихъ невзгодъ и успоконваться въ своихъ порывахъ въ абсолютному.

Такимъ образомъ, уже въ этихъ двухъ стихотвореніяхъ намѣчены тѣ иункты, тѣ узлы, тѣ руководящія идеи, около которыхъ будетъ вращаться поэтическая дѣятельность Шиллера; уже въ нихъ намѣчены основныя очертанія тѣхъ идеаловъ, которыми опредѣлится впослѣдствіи все его міровозарѣніе. Эти основные элементы — культи искусства и греческой энеизни.... Повернувши на эту дорогу, которая удаляла его все болѣе и болѣе отъ интересовъ современныхъ, отъ отношеній реальныхъ, которая увлекала его все далѣе и далѣе въ область идеаловъ, чуждыхъ практическимъ потребностямъ новой исторической жизни, Шиллеръ забывалъ свои прежнія упованія, свои юношескія симпатіи. Онъ отнесся довольно равнодушно ко взрыву фрэнцузской революціи.

Первыя вспышки великой катастрофы застали его въ идиллической обстановив заминутаго ивмецкаго быта. Онъ быль влюблень, и читалъ сестрамъ Ленгефельдъ — своей будущей женъ и свояченицъ, въ которой онъ также быль неравнодушенъ-Одиссею въ Фоссовомъ переводъ и греческихъ трагиковъ. Онъ былъ такъ увлеченъ античными произведеніями, что вадался даже мыслью въ теченіе двухъ лътъ не читать ни одного «новаго» писателя. Шиллеръ подумывалъ также объ устройствъ своей семейной жизни, и въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сестрами Ленгефельдъ, въ дружеской перепискъ съ Кёрнеромъ, въ заботахъ о своемъ будущемъ домашнемъ очагъ, онъ только со стороны, безъ большаго вниманія посматриваль на политическое движеніе, разгоравшееся на западъ, посматриваль на него искоса и недовърчиво. Такъ онъ высказалъ между прочимъ мысль, что ему представляется невозможнымъ какое-нибудь разумное ръшение со стороны законодательного собранія въ 600 членовъ. Живъе сталь онъ слъдить въ 1792 г. за дъйствіями конвента, и въ это время ему даже пришло въ голову принять косвенное участіе въ разръшеній тъхъ великихъ вопросовъ, которые ставились въ Парижъ. Онъ собрался писать мемуарь въ защиту подсудимаго короля, мемуаръ, который бы могь оказать некоторое вліяніе на эти «безразсудныя головы» (такъ выражался Шиллеръ о членахъ конвента). Когда до него дошло извъстіе о событія 21 января 1793 года, онъ шисаль Кёрнеру: «Я въ самомъ дълъ уже началъ было защитительную статью ва короля; но эта работа равстроила меня и осталась неоконченною. Вотъ уже двъ недъли, какъ я не могу смотръть на французскія газеты: такъ противны миъ эти презрънные живодеры».... Интересно что около этого времени, въ августъ 92 года, французское законодательное собраніе присудило Шиллеру — «au sieur Gille, publiciste allemand», -- какъ другу человъчества, званіе французскаго гражданина. Это относилось разумбется къ юношв Шиллеру, котораго «Разбойники» давались въ Парижѣ на театрѣ du Marais, во французской обработкъ подъ заглавіемъ Robert chef des brigands. Обработка эта съ успъхомъ шла на французской сценъ. Разумъется, она во многомъ разнилась отъ оригинала: Карлъ Моръ сначала былъ обращенъ въ comte de Moldar, потомъ, когда о графахъ не смѣли болве заикаться, онъ превратился въ настоящаго республиканца.... Какъ мы видъли, Шиллеръ въ это время уже покинулъ свои юношескіе идеалы и, что касается до политическихъ возэрвній, сталь уже на противоположную точку зрвнія. Ходъ французской революціи, казнь короля, господство террора, -- все болье и болье убъждали его, нъмца, человъка чуждаго политической жизни и неискушеннаго въ разръшении политическихъ задачъ, что не отъ подобныхъ государственныхъ переворотовъ следуетъ ожидать желаннаго имъ идеальнаго царства свободы и гуманности. Пересоздание общественныхъ отноше). ній должно, по его митнію, развиваться по мтрт правственнаго совершенствованія единиць путемъ мирнаго эстетическаго воспитанія.

Поэтическая производительность Шиллера въ началѣ 90-хъ годовъ на время ослабъла. Онъ чувствовалъ потребность освоиться съ новымъ кругомъ идей, который постепенно завладъвалъ его міровоззрѣніемъ, установиться въ своихъ убѣжденіяхъ, окрѣпнуть во взглядахъ. Онъ посвятилъ это время изученію исторіи и философіи.

Натуру Шиллера никакъ нельзя назвать критической. Въ историческихъ трудахъ своихъ онъ никакъ не можетъ остановиться на спокойномъ всестороннемъ возстановленіи и освъщеніи фактовъ, на приведеніи ихъ во взаимную связь съ одновременнымъ, предыдущимъ и послъдующимъ. Въ исторіи Шиллеръ, какъ поэтъ, увлекается преимущественно картинными событіями и драматическими характерами. Съ особенно напряженнымъ интересомъ онъ слъдитъ за крупными личностями. Тридцатилътняя война, по выраженію Геттнера, представляется ему почти какъ поединокъ между двумя героями исполинами—Густавомъ Адольфомъ и Валленштейномъ, и интересъ его къ изображаемой эпохъ слабъетъ до такой степени, когда эти герои сходятъ со сцены, что дальнъйшія событія до вестфальскаго мира онъ приводитъ кратко, въ сжатомъ обзоръ. Какъ бы то ни было, исто-

рическіе труды Шиллера имѣли для своего времени немаловажное значеніе. Его исторія тридцатилѣтней войны пользовалась обширной нопулярностью. Вмѣсто сухихъ безжизненныхъ обозрѣній событій, которыми богата была историческая литература того времени, онъ давалъ живыя и яркія картины, художественные образы; правда, они не всегда соотвѣтствовали исторической дѣйствительности, не удовлетворяли требованіямъ исторической критики, но эти мастерскія изображенія возбуждали въ обществѣ интересъ къ исторіи, знакомили его съ фактами, которые остались бы сокрытыми для большинства въ мертвенной схоластической передачѣ записнаго ученаго или даже въ серьезномъ трудѣ изслѣдователя критика....

Къ этимъ историческимъ занятіямъ присоединилось изученіе философіи Канта, которая въ то время гремела въ Германіи. Шиллера, однако, привлекала въ системъ кенигсбергскаго философа не критическая ея сторона, а тъ практическія, нравственныя и эстетическія положенія, которыя были развиты Кантомъ въ «Критикъ практическаго разума» и «Критикъ силы сужденія». Онъ особенно сочувственно относился къ тъмъ кантовскимъ принципамъ морали, которые были изложены въ «Критикъ практическаго разума» и поставлены были кенигсбергскимъ философомъ какъ необходимыя апріорныя требованія нашего практического разума. Въ моральной системъ Канта Шиллеръ видълъ философское подтверждение тъхъ самыхъ представлений о правственной самостоятельности человъка, объ его духовной свободъ, о возможности подчинить постороннія побужденія требованіямъ долга, однимъ словомъ — тъхъ самыхъ представленій объ идеальной свободь, съ которыми онъ уже носился въ теченіе нёсколькихъ лётъ и которыя замънили для него прежнія земныя юношескія упованія.

Кантъ ръзко выставилъ съ одной стороны идею долга, съ другой — иувственныя влеченія, находящіяся въ борьбъ съ духомъ, и произнесъ свой грозный категорическій императивъ: Ты должент! Унъ требовалъ безусловнаго рабскаго подчиненія чувственныхъ стремленій этой верховной нравственной идеъ долга, которую онъ, не доныта. Въ Шиллеръ кантовскій идеалъ нравственнаго совершенства нъсколько измънился. Онъ смягчилъ ригоризмъ философа, который, какъ онъ выражался, все-таки напоминаетъ монаха, убъжавшаго изъмонастыря, но не утратившаго слъдовъ монастырской жизни. Своимъ

идеаломъ Шиллеръ выставилъ не слъпую безпревословную поворность человъка идеъ долга, а его добровольное охотное соглашение съ этой ндеей. Онъ желалъ видъть въ человъкъ склонность ко исполнению долга, любовь къ долгу, удовольствіе въ осуществленіи нравственныхъ задачъ. Это согласіе долга съ наклонностями, эту гармонію духа и матерін Шиллеръ называеть нравственной красотой, и въ подобному-то состоянію, по его мніню, приводить эстетическое развитіе, культь искусства. Такъ пытался замирить Шиллеръ ощущаемый имъ разладъ между идеалами и дъйствительностью черезъ посредство искусства. На служение искусства, на развитие эстетическихъ потребностей онъ указываеть какъ на пути для достиженія этой идеальной свободы. На этой высшей ступени развития человъкъ, по митнію Шиллера, освобождается отъ страстей, отъ жизненныхъ неудовольствій и скорбей; онъ стоитъ выше земныхъ печалей, онъ ясенъ и спокоенъ; онъ развилъ въ себъ свободное сознательное расположение къ предписаніямъ долга и соверцаетъ невозмутимымъ окомъ действительность съ высоты идеи. Человъкъ свободенъ и силенъ сознаніемъ своей нравственной независимости, а на такую высоту поднимаетъ его искусство.

Такъ перешелъ Шиллеръ отъ прежнихъ идеаловъ общественной свободы къ новымъ идеаламъ свободы нравственной и эстетической. Онъ терялъ все болѣе и болѣе подъ ногами почву реальную, все болѣе и болѣе разобщался съ міромъ дѣйствительности. Въ 1795 году Шиллеръ написалъ свое знаменитое стихотвореніе «Идеалъ и жизнь», которое другъ его Кёрнеръ называлъ поэтическимъ воспроизведеніемъ шиллеровой философской системы. Посылая свое произведеніе Вильгельму Гумбольдту, Шиллеръ писалъ: «Когда получите это письмо, удалите все мірское и читайте это стихотвореніе въ святой тишинѣ». Такъ благоговѣйно смотрѣлъ самъ Шиллеръ на эту апотеозу идеализма. «Если хотите парить въ вышинѣ, сбросьте съ себя земныя тревоги, тѣсные жизни предѣлы покиньте, въ міръ идеаловъ неситесь».

«Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch, Fliehet aus dem engen dumpfen Leben In des Ideales Reich!»

.... Проникните въ область красоты и въ прахъ у вашихъ ногъ останется матерія съ своею тяжестью.... Въ тъхъ ясныхъ блажен-

ныхъ сферахъ, гдъ обитаютъ чистыя формы, тамъ не шумятъ мрачныя бури печалей.

«Aber in den höheren Regionen, Wo die reinen Formen wohnen, Rauscht des Jammers Sturm nicht mehr!»

Около этого же времени написаны Шиллеромъ его «Письма объ эстетическомъ воспитаніи человъчества». Во вступленіи авторъ извиняется, что онъ позволяеть себъ говорить о прекрасномъ и объ искусствъ, когда взоры философовъ и мірянъ прикованы къ политической сценъ (онъ имъетъ въ виду французскую революцію), на которой, какъ предполагаютъ, будутъ ръшаться великія судьбы человъчества. Но онъ ставить своей задачей убъдить читателя, что для разръшенія политической проблемы слъдуетъ начать съ эстетической, потому что путь къ свободъ пролагается красотой. Только по этой тропъ—эстетическаго образованія—люди достигнуть истинной гуманности, и на ней, какъ на краеугольномъ камнъ, создадутъ новое государство. Каковы будутъ реальныя условія, каковъ будетъ строй этого эстетическаго государства, Шиллеръ не выясниль....

Таково въ общихъ чертахъ міровозарѣніе Шиллера въ 1794—95 годахъ, въ то время, какъ онъ сблизился съ Гёте и вмѣстѣ съ нимъ открылъ то десятилѣтіе въ исторіи нѣмецкой литературы, которое называется обыкновенно классическимъ или періодомъ чистаго искусства и чистой гуманности. Прежде чѣмъ перейти ко взаимной дѣятельности обоихъ поэтовъ, я считаю нужнымъ остановиться на указанныхъ мною принципахъ Шиллера. Они имѣютъ для насъ очень важный культурно-историческій интересъ, они характеризуютъ нѣмецкое общество того времени.

Какія явленія замітили мы въ быстромъ обзорів литературной діятельности Шиллера? Ихъ можно свести къ тремъ главнымъ пункубамъ: 1) разрывъ съ дійствительностью, 2) возвеличеніе чистаго
(искусства, 3) пристрастіе къ міровоззрінію греческому. Разсмотримъ
(эти пункты.

Разрыет ст дъйствительностью, отвращение къ жизни, къ ея реальнымъ задачамъ и требованиямъ коренится, какъ я уже не разъ указывалъ, въ исторической почвъ всей эпохи. Отъ этого разрыва всюду ищутъ спасения; одни—въ возвратъ къ старымъ върованиямъ,

другіе—въ созиданіи новыхъ идеаловъ, третьи—мучаются, колеблются и не находять выхода.... Я объ этомъ слишкомъ много говорилъ, чтобъ еще распространяться.

Въ Германіи присоединяется къ этой общеевропейской критикъ дъйствительности еще мъстное условіе: отсутствіе въ націи общих практических интересовъ, ея общественная разрозненность. Въ концъ прошлаго въка въ Германіи прогрессивное движеніе, за неимъніемъ въ ней ночвы политической, кинулось въ область искусства, литературы и науки. Стали разсуждать и писать. Но и литература находила въ современномъ бытъ мало общеинтереснаго матеріала. Взгляните на литературный матеріаль, которымь могь располагать нъмецкій поэть конца прошлаго въка. Политической жизни-ить, и воть цълая область бытовыхъ вопросовъ первой важности отнята у него самими обстоятельствами. Далбе. Даже при отсутствіи политической жизни кой-какіе общіе интересы завязываются всегда въ развитыхъ общественныхъ центрахъ, тамъ, гдв толкается и конощится много всякаго люда (возьмите напр. Парижъ въ эпоху абсолютизма Людовика XIV). Въ Гермаціи не было и этого. Берлинъ только зачинался, Въна была ужъ никакъ не нъмецкой столицей, а городомъ самыхъ различныхъ чуждыхъ другь другу національностей. — Какіе же общіе интересы были въ нъмецкой націи? Интересы теоретическіе, философія, наука, общеніе по книгамъ, по университетамъ. Затъмъ-- явленія семейнаго домашияго быта, обобщенныя, типизированныя, могли также возбуждать общій интересъ. Наконецъ, что еще? — Общимъ достояніемъ всей Германіи было одно весьма любопытное явленіе, если его опять-таки осмыслить, освътить, проследить за его различными сторонами, за его различными вліяніями на общій строй жизни, на національный характеръ и т. п. -- это сама разрозненность быта, само прозябание по захолустьямъ и провинціальнымъ парадизамъ.... Вы видите, что область литературнаго матеріала не отличается обширностью, но въ ней всетаки есть любопытныя данныя. Но припомнимъ еще другое обстоятельство. Если есть кой-какой матеріаль, съ другой стороны нужень художникъ, нуженъ литераторъ, который бы сзумпълз имъ воспольвоваться. И вотъ съ этой стороны Германія находилась опять не въ особенно выгодномъ положении. Гдъ могла быть въ ней въ самомъ дълъ хорошая школа для художника общества?.... Для того, чтобъ жизнь представлялась поэту во всей рельефности своихъ очертаній,

во всей типичности своихъ свойствъ, для того чтобъ схватить въ ея проявленіяхъ отличительныя особенности, характеристическія черты и формы ея, — нужно сравнение, сличение, нужно сопоставление контрастовъ и противоположностей. Человъкъ, промаившійся весь свой въкъ въ убадномъ городъ, не съумъетъ воспроизвести жизнь этого города такъ, чтобъ она бросалась въ глаза въ своихъ выдающихся характеристическихъ особенностяхъ, такъ чтобъ она представляла общій интересъ. Специфическіе оттёнки и краски быта семейнаго сами собой навязываются наблюдателю, знакомому съ развитой жизнью общественной и остаются непримътными для человъка, чуждаго этой жизни. Провинціалъ, житель захолустья ярче всего обозначается съ своими замашками, съ своимъ тономъ въ столицъ. Гёте ахнулъ, когда увидалъ свою возлюбленную Фридерику Бріонъ не въ горахъ и не въ лъсахъ Эльзаса, а въ самомъ Страсбургъ.... Вотъ этотъ недостатокъ сраснительного матеріала еще болье препятствоваль ньмецкому поэту конца прошлаго въка пользоваться для своихъ твореній тъми скудными данными, которыя предлагала ему окружающая дъйствительность. Этотъ недостатокъ обнаруживается и на величайшемъ поэть Германіи—Гёте. Реалисть Гёте гдь могь цыплялся за дыйствительность, лъпиль ее въ художественные образы. Теоретическія муки своего покольнія онъ воплотиль въ Вертерь и Фаусть — представителяхъ немецкихъ философскихъ и научныхъ возареній. Въ Вильгельмъ Мейстеръ, какъ мы увидимъ, онъ набросалъ множество живыхъ отдъльныхъ бытовыхъ картинъ. Въ Германив и Доротев онъ далъ идиллическую картину нъмецкаго обыденнаго бюргерскаго быта. Въ Wahlverwandtschaften на сценъ явилась семейная исторія. Но и въ произведеніяхъ этого великаго реалиста подчасъ очень резко обнаруживается недостатокъ болбе широкаго общественнаго горизонта... Нахнетъ Веймаромъ. Такимъ образомъ, вы видите, какъ въ Германіи прошлаго въка сама жизнь не предлагала ни особенно богатаго матеріала для литературы, ни средствъ воздёлывать и обработывать этотъ матеріалъ.

Само общество было лишено тёсныхъ практическихъ связей; у него была отнята всякая самодёятельность. Лицо не имёло возможности разумно дёйствовать на поприщё общественной практики; оно жило теоретическими интересами, либо подвергая критикё окружающую дёйствительность, либо отрицая ее, удаляясь въ сферу идеаловъ. Въ мел-

кихъ городахъ и провинціальныхъ гніздахъ германскаго отечества стояда душная невыносимая тоска: сплетни, дрязги, житейскія мелочи. Ученые заперлись въ кабинеты и оттуда доказывали, что весь міръ вывденнаго яйца не стоить, что дойствительно только я. Поэты дибо писали дивирамбы греческой жизни, дибо проповедовали отреченіе отъ д'яйствительности, скорб'яли, уносились въ міръ идеаловъ, и приходили тоже къ тому, что все дёло въ личности, вся суть въ собственномъ я и въ его свободной мысли и творчествъ. Жизнь, по ихъ мижнію, -- проза и стоить въ разръзъ съ искусствомъ, котораго она недостойна... Нигдъ отвращение отъ дъйствительности, отъ практики жизни не принимало такихъ комическихъ формъ, какъ въ Германіи, благодаря этому незнакомству нъмцевъ съ цълыми отраслями общественной дъятельности. Нигдъ идеализмъ не доходилъ до такихъ чудовищныхъ размъровъ, какъ въ Германіи, такъ что понятіе о нъмцъ долго связывалось съ представленіемъ объ ученомъ идеалисть, не умъющемъ ступить двухъ шаговъ въ дъйствительной жизни. Этотъ взглядъ на нёмцевъ нёсколько измёнился только за послёднія десять льтъ.

Второе. Въ противоположность попираемой погами, презираемой дъйствительности возвеличивалось искусство, какъ средство освободиться отъ узъ и путъ міра реальнаго, какъ средство жить въ области грезъ, идеаловъ и образовъ, созданныхъ личною фантазіей. Искусство разъединяется съ жизнью, провозглащается его независимость. Вы видъли, что Шиллеръ высказалъ принципъ о пересозданіи жизни посредствомъ эстетическаго воспитанія; мало того: онъ подчинялъ жизнь искусству, находя въ немъ самое върное средство отъ земныхъ немощей, отъ житейскихъ невзгодъ и печалей. Но, такъ какъ при созиданіи каждаго художественнаго произведенія необходимы два элемента: какой ни на есть матеріаль, почерпнутый изъ дъйствительности, и форма, въ которую выливаетъ этотъ матеріалъ художникъ, и такъ какъ матеріалъ-жизнь, дъйствительность - внушалъ отвращеніе и не представляль интереса, отталкиваль отъ себя поэта, вст усилія и старанія его сосредоточивались на разработкт формы, на художественной техникъ. Не само содержание занимаетъ поэта, не вопросы дъйствительной жизни, а форма, въ которую это содержаніе переливалось его творческою силою. Потому и матеріалъ представляется только необходимой рамкой, необходимымъ исходнымъ пунк-

томъ, неизбъжной точкой опоры и канвой; затъмъ предоставлялось фантазін поэта изощряться и играть по этой канвь, пользоваться ею. какъ средствомъ для упражненія эстетическихъ силъ своихъ. Все дъло въ поэзіи сводится на форму. При выборъ сюжета руковолствуются не тъмъ, насколько этотъ сюжеть, этотъ матеріалъ самъ по себъ интересенъ, а насколько удобенъ оно для приложенія извъстныхъ эстетическихъ теорій, для осуществленія на немъ такихъто и такихъ-то пріемовъ художественной техники. Однимъ словомъ, жниманіе сосредочивается не на воспроизведеніи явленія, а на самомъ процессю творчества. Этимъ формализмомъ проникнуто больчинство драмъ Шиллера изъ періода его веймарской жизни, Къ этому формализму обращался неоднократно въ эту эпоху и Гёте... Это явленіе настолько естественно и такъ тесно связано со всей общественной атмосферой, что изъ него выростаетъ и новая литературная школа романтиковъ, которая въ своемъ отвращени отъ дъйствительности, въ своей боязни реальности, въ своемъ культъ личному творчеству и поэтической формъ, пришла къ ученію о полномъ отрицаніи дійствительности. Они стали провозглащать, что поэзія есть вся суть жизни, что въ жизни только и ценно то, что можетъ быть сведено на поэзію. Это — доктрина, какъ выражается Геттнеръ, субъективной, безсодержательной, фантастической фантазіи. Такъ обнаруживается связь между формализмомъ Гёте и Шиллера и романтикой. Оба направленія глубоко коренятся въ бытъ того времени и истекаютъ изъ того же общаго источника — изъ разлада съ дъйствительностью. Романтика представляетъ только крайнее развитіе тіхъ же самыхъ положеній, которыя выставляли Шиллеръ и Гёте.

Третье. Связи съ окружающей дъйствительностью не были признаваемы. Все-таки нуженъ былъ какой ни на есть матеріалъ, нуженъ былъ берегъ, отъ котораго можно было бы отчалить въ дальній океанъ идеаловъ, канва, по которой можно было бы вышивать, исходная станція, съ которой можно было бы тронуться..... И вотъ оглядываются, выискиваютъ другіе міры, другія эпохи. Поэты рыскаютъ за своими темами въ прошедшее. Гёте и Шиллеръ раскапываютъ то греческіе, то итальянскіе сюжеты, наконецъ—берутъ даже опозоренные ложноклассическіе образцы французской литературы XVII въка и начинаютъ ихъ обработывать. Но уже давно манитъ ихъ къ

себъ міръ античный. Въ греческой жизни они видъли сильное развитіе культа красоты, искусства. Какъ извъстно, въ Греціи эта эстетическая религія была тъсно связана со всей жизнью, со всей культурой, съ условіями общественными и природными; греческое искусство было продуктомъ всего греческаго быта, греческаго неба и эллинскаго народнаго склада. То, что было результатомъ мъстныхъ культурно-историческихъ условій, Шиллеръ и Гёте, следуя Лессингу, признали за въчное, абсолютное, единственно нормальное; они поставили памятники античнаго творчества абсолютными образцами и стали проповъдовать безусловное подражание этимъ образцамъ, перенося такимъ образомъ въ новый міръ, въ новыя условія жизни и общества стародавнія представленія инаго быта, иной эпохи, иныхъ жизненныхъ отношеній.... Формы греческаго художества были ими признаны обязательными и совершенными. На греческихъ образцахъ долженъ воспитываться, по ихъ мижнію, поэть; онъ долженъ, по выраженію Шиллера, «быть вскормленъ молокомъ болье чистой эпохи, совръть подъ дальнимъ греческимъ небомъ > *).

Эта грекоманія, это страстное, скорбное порываніе (Sehnsucht) къ греческимъ идеаламъ, которое Шиллеръ такъ красноръчиво воснроизвелъ въ своихъ «Богахъ Греціи» носилось во всей Германіи. Общество, лишенное практическихъ интересовъ, оторвавшись отъ «прозаической» обыденной жизни, вторило своему поэту:

«Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder, Holdes Blüthenalter der Natur!» **)

Нъмецкие ученые, историки, филологи ревностно изучали древности античнаго міра. На сцену выступили даровитые переводчики. Фоссъ, бывшій бурный геній, бывшій членъ геттингенскаго союза бардовъ, издалъ превосходный переводъ Гомера. Греціей бредило юношество. Вся жизнь, вся дъятельность молодаго поэта Гёльдерлина—долгая скорбь по эллинскому міру. Грекоманія вошла въ моду,—вър-

^{*)} Грекоманія въ наыкъ. Римеръ говорить о веймарскомъ «Cotterie-Jargon». Такъ Гёте употребляеть (относительно Оттиліи въ Wahlverwand-schaften) слово karteriren отъ греческаго хартараї» (воздерживаться отъ пищи, отъ сна). См. Riemer, Mittheilungen über Göthe. 2, 607.

^{**) «}Прекрасный міръ! весна со всей дюбовью, Всей предестью—исторіи песна! О, возвратись!»

ный признакъ распространенности этой тенденціи. Въ числѣ курьезныхъ личностей эпохи фигурируетъ герцогъ саксенъ-готскій Эмиль Августъ; онъ написалъ романъ «Килленіонъ», задавшись цёлью, какъ онъ самъ выражается, «сгречить» (abgriechen) въ этомъ романъ греческую жизнь. Этого оригинала герцога Жанъ Поль Рихтеръ называлъ «олицетвореннымъ туманомъ» и говорилъ, что онъ страдаетъ «титаноманіей»... На нізмецкой сценіз появились драмы съ хорами, написанныя въ рабскомъ подражаніи греческимъ трагедіямъ. Эллинизмъ былъ такимъ образомъ настоящимъ повътріемъ. Почти одновременно съ нимъ показалась другая сродная струя, которая вскоръ получила значение господствующаго направления. Романтика еще далъе отъ міра дъйствительности ставила свои туманные идеалы, а образы своей поэзіи она прикрупляла уже не къ классической почву Эллады, уже не къ ясному гармоническому быту древнихъ греческихъ республикъ. Она заволакивалась средневъковыми туманами, витала въ мрачныхъ лъсахъ старинной Германіи, носилась по бурнымъ волнамъ съверныхъ морей. Она вздыхала по міру феодализма, католичества и готики. Герои романтической поэзіи — печальные, съ головы до ногъ закованные въ латы рыцари, у которыхъ, по выраженію Гейне, итъ ни плоти, ни разума, а только чувство, да броня.....

Пъвцы эллинизма — Шиллеръ и Гёте — враждебно отнеслись къ этому новому мистически-средневъковому направленію, не замъчая того, что какъ ихъ грекомънія, такъ и этотъ готическій культъ вытекали изъ общаго исто мика — изъ разрыва съ дъйствительностью, современною обстановкой и жизнью вообще, изъ отсутствія общественной дъятельности и общественныхъ интересовъ, изъ презрѣнія всякой реальной практики.... Это необходимо вело къ самоуглубленію въ свою личность, въ свои личныя произвольныя фантазіи и грезы, къ абсолютному культу своего я, своихъ творческихъ способностей. Открещиваясь отъ «будничной прозаической» дъйствительности, нъмецъ искалъ прибъжнща въ отвлеченной философіи и наукъ, въ памятникахъ греческаго быта или въ мечтахъ о средневъковой старинъ. Этотъ идеализмъ долженъ былъ необходимо отразиться и на литературномъ движеніи, и въ произведеніяхъ великихъ поэтовъ.... Поэзія твердила то, что напъвалось въ самомъ обществъ:

«Fliehet aus dem engen dumpfen Leben In des Ideales Reich».

Если смотрѣть на Гамлета, какъ на человѣка преимущественно *теоретическаго*, обладающаго богатымъ внутреннимъ міромъ мыслей, грезъ и фантазій, какъ на человѣка, которому не по силамъ приходятся задачи жизни практической, который не можетъ справиться съ обстоятельствами и который, погруженный въ постоянную мучительную рефлексію, въ тревожный анализъ своихъ ощущеній, презираетъ внѣшній міръ и отвращается отъ него, если *такъ* понимать Гамлета, то безъ сомнѣнія нужно согласиться съ возгласомъ Фрейлиграта о нѣмцахъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія: «Германія— это Гамлетъ!»

ЛЕКЦІЯ ДВАДЦАТАЯ.

Эллинизирующее направленіе Гёте и Шиллера.

Переходъ Гёте къ эллинизму: «Ифигенія» и «Тассо».—Взаимная дъятельность Гёте и Шиллера.— «Горы».— «Ксеніи».— Выборъ сюжетовъ.— «Орлеанская Дъва», «Мессинская Невъста», «Вильгежьмъ Телль».— Эллинизирующія произведенія Гёте.— «Германнъ и Доротея».

Я указалъ вамъ въ прошедшій разъ на тѣсную связь между эллинизирующимъ направленіемъ нѣмецкой литературы 90-хъ годовъ и самимъ общественнымъ бытомъ Германіи того времени. Бѣдность реальныхъ интересовъ въ обществѣ отражается и на литературѣ, которая перестаетъ заниматься явленіями современной жизни, бросаетъ дѣйствительность и упосится въ міръ идеаловъ. Этимъ самымъ пренебреженіемъ практическихъ задачъ литература вторитъ обществу.... Идеализмъ въ обществѣ порождаетъ идеализмъ въ литературѣ, которая въ свою очередь воздѣйствуетъ на общество, укрѣпляя, распространяя и развивая въ немъ извѣстное направленіе.

Эпоха должна была отразиться и на Гёте. Несмотря на глубокій реализмъ его натуры, который съ такимъ блескомъ обнаружился на его юпопескихъ произведеніяхъ, на его Вертеръ и Фаустъ, и на который пріятель Гёте Меркъ указывалъ, какъ на отличительную черту его талапта, поэтъ еще въ концъ семидесятыхъ годовъ сталъ обращаться
къ эллинизму, а вмъстъ съ тъмъ и къ формалняму въ искусствъ. Стра-

стныя порыванія его къ міру античному обнаружились уже на «Ифигеніи», которая сначала была написана въ прозв въ 1779 г., а потомъ, въ Италіи, въ 1786 году получила форму стихотворную. На «Ифигенію» можно смотреть какъ на первую попытку Гёте возсоздать въ художественномъ произведении сюжетъ изъ греческой жизни въ строгой, обработанной, выглаженной формъ. Въ этомъ нервомъ опытъ Гёте еще старается примирить греческую тему съ новымъ міровозарѣніемъ матеріаль, заимствованный имь изъ Еврипида, онь обработываеть самостоятельно, въ духѣ новаго времени, въ духѣ гуманнаго направлемя XVIII въка, и дъйствующія лица въ «Ифигеніи» являются проникнутыми идеями и чувствованіями просвътительнаго стольтія. Впосльдствін, когда Гёте въ своей грекоманін заходиль все дальше и дальше. когда онъ уже не удовлетворялся самостоятельной обработкою античныхъ сюжетовъ, а стремился къ рабскому подражанію древней классической литературь во всьхъ частностяхъ и мелочахъ, -- тогда «Ифигенія» представлялась ему и Шиллеру пьесой совершенно новой по направленію, а потому и далеко несовершенной.

Ивсколько позже, въ 1789 г. Гёте окончиль «Тассо», большая часть котораго была написана также въ Италіи, подъ южнымъ небомъ, въ обстановкъ міра античнаго. И въ «Тассо» мы встръчаемъ стремленія, навелиныя изученіемъ древнеклассическаго искусства, -- стремленіе къ строгой правильной формь, къ простоть сюжета, къ возможно болье общима характерамъ. Ныть того яркаго колорита, которымъ окрашены юношескія произведенія поэта, нітъ тіхль-живыхъ и блестящихъ характеристикъ, той резкой индивидуализаціи, которую мы встричаемъ въ Вертери и Фаусти. Образы дийствующихъ лицъ намъчены въ самыхъ общихъ очертаніяхъ, они уже не дышатъ полной жизнью. Но и «Тассо» — пьеса еще переходная. Какъ ни идеальны дъйствующія лица, какъ ни стремится поэтъ отръшиться въ произведеніи отъ интересовъ современныхъ, отъ мъстнаго и индивидуальнаго, -- на немъ все-таки видны следы действительно пережитаго самимъ Гёте; оно не возникло изъ чисто формальныхъ цълей. Рисуя Феррару, Гёте видитъ Веймаръ; Альфонсъ напоминаетъ герцога Карла Августа; изображая Леонору, поэтъ вспоминалъ о г-жъ Штейнъ и наконецъ въ отношеніяхъ самого Тассо къ феррарскому двору намекалъ на свое собственное положение при дворъ веймарскомъ. Распутывать всв эти подробности невозможно; ясно только то, что въ «Тассо»

вплетены мотивы веймарской придворной жизни, — то, что создавая пьесу Гёте неръдко обобщалъ свои личныя впечативнія, пережитыя имъ самимъ минуты. Такимъ образомъ въ «Тассо» два элемента: съ одной стороны поэть стремится отрёшиться оть окружающей дёйствительности и создать строгое художественное произведение на манеръ античнаго — безъ ръзкой опредъленной индивидуализаціи и характеристикъ; съ другой -- онъ еще не можетъ покинуть реальную почву, не въ силахъ забыть обстановку. И этотъ реализмъ Гёте тутъ же, въ Италіи, обнаруживается съ замічательной силой на «Эгмонть», драмі, которая была набросана имъ еще во Франкфуртв и окончена въ 1787 г. въ Римъ. Останавливаться на этихъ трехъ произведеніяхъ восьмидесятыхъ годовъ я не имъю времени и покорнъйше прошу прочитать о нихъ у Геттнера и Льюнса. Я указываю на «Ифигенію» и «Тассо», какъ на произведенія переходныя между юношескими, исполненными жизненной правды, твореніями, какъ Вертеръ и Фаустъ, и тъми эллинизирующими, разобщенными съ жизнью произведеніями, концепція и исполнение которыхъ относится къ 90-мъ годамъ прошлаго столътия и первымъ годамъ нынъшняго. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ самаго духа времени, самой общественной атмосферы, зараженной идеализмомъ и грекоманіей, Гёте пришель въ 90-хъ годахъ къ тъмъ самымъ принципамъ, которые въ то время пропагандировалъ Шиллеръ. Гёте сошелся съ Шиллеромъ на возвеличения чистаго, независимаго отъ современной жизни, искусства и на культъ эллинизма. Оба они презрительно смотрели на действительность, которая подъ ихъ взорами была воплощена въ жалкія формы нъмецкаго быта того времени, и рвались изъ германской духоты въ область идеальнаго искусства и яснаго поэтическаго эдлинизма. Въ чистомъ искусствъ и въ духовномъ общеніи съ поэтическими образцами древняго міра они надѣялись найти спасение отъ печальныхъ общественныхъ отношений своего времени. Витая въ сферахъ эстетическихъ вопросовъ, они старались забыть окружающее, и въ этомъ отношении они шли параллельно съ лучшими представителями своей народности, которые уносились въ міръ теорій и идеаловъ и закрывали глаза передъ задачами общественной правтики.

Гёте и Шиллеръ сблизились другъ съ другомъ въ 1794 году и съ этого времени находились въ постоянныхъ сношенияхъ, дъйствовали сообща. Обладая натурами различными, они сошлись на указан-

ныхъ мною принципахъ и положили ихъ основаніемъ своей взаимной дъятельности. Шиллеръ затъваетъ литературный журналъ Die Horen — «Время» (Горы — фраг — были въ древней миссологіи богини времени, дочери Зевса), къ участію въ которомъ приглашаетъ всёхъ передовыхъ литераторовъ того времени. Задачей учреждаемаго органа была пропаганда чистой гуманности. Въ предварительной программъ Шиллеръ товорилъ, что ставитъ цълью своего журнала возбуждать въ публикъ интересъ къ чисто-человъчному, къ тому, что стоитъ выше современныхъ случайностей, выше задачъ политическихъ, т. е. къ истинъ и красотъ. Такимъ образомъ журналъ былъ исключительно посвященъ вопросамъ теоретическимъ, преимущественно эстетическимъ, былъ проникнутъ самыми идеальными тенденціями. Издатель былъ доволенъ сбытомъ журнала, который имълъ до тысячи подписчиковъ. цифра очень почтенная для того времени: но Шиллеръ ожидалъ гораздо большаго: онъ предполагалъ, что его предпріятіе будеть настоящимъ поворотнымъ пунктомъ, станетъ деломъ первой важности, «ein epochemachendes Werk», какъ онъ выражался въ письмъ къ Кёрнеру. Такой расчетъ быль слишкомъ смёль и разумёется не могь оправдаться. «Горы» были черезъ-чуръ серьезны для большинства публики, которая не была настолько развита, настолько вышколена, чтобы рядомъ философско-эстетическихъ статей, помъщенныхъ въ журналь, увлечься и заинтересоваться такъ, какъ ожидалъ Шиллеръ. Шиллеръ, а вмъстъ съ нимъ и Гете были недовольны своей публикой. Она не удовлетворяла ихъ. При всемъ своемъ идеализмъ, нъмецкое общество не могло возвыситься до той отвлеченной философской эстетической теоріи и практики, которая была выработана поэтами.

Въ сущности—направленіе у поэтовъ и направленіе самого общества, какъ мы видъли, были сродны. Но была большая разница въ степени умственнаго и эстетическаго развитія поэтовъ и публики. Веймарскіе поэты были слишкомъ требовательны: они расчитывали на невозможное, они полагали, что образованное большинство проникнется ихъ глубокомысленными теоріями и оцѣнить ихъ произведенія, написанныя на основаніи этихъ теорій. Въ этомъ они обманулись.... и стали во враждебное отношеніе къ журналистикъ и публикъ. Этотъ фактъ въ литературной исторіи стоитъ не одиноко: не трудно подобрать къ нему аналогіи. Если послѣдовательно проводить теорію чистаго или идеальнаго искусства, т. е. такого, кото-

рое стоитъ въ разрезе съ действительностью и само по себе образуетъ замкнутый самобытный мірь, то необходимымь следствіемь этой теоріи будеть какъ апотеоза художественныхъ формъ и личнаго произвола поэта, такъ и пренебрежение публики. Если искусство не доджно подчиняться жизни, то поэту незачёмъ принимать въ соображение требованія общества: онъ чувствуєть себя выше публики, относится къ средъ презрительно, замыкается въ самого себя и ищетъ для своей поэтической деятельности руководства исключительно въ игре своего воображенія, потерявшаго реальную почву; онъ воздёлываеть форму. Такимъ образомъ, увлекшись своимъ служеніемъ чистому искусству, своими эстетическими теоріями и формализмомъ, убъжденные въ обявательномъ значенім этихъ теорій, Гёте и Шиллеръ теряли изъ виду то, что публика, при всемъ ея сочувствіи къ идеализму, все-таки не стояла на той ступени умственнаго и эстетическаго развитія, на которой стояли поэты: ихъ интересы были для нея слишкомъ отвлеченны, слишкомъ теоретичны. Итакъ-направление поэтовъ обусловливалось самимъ обществомъ, но у нихъ оно получило такое развитіе, такую систематизацію, которая самому обществу приходилась уже не по плечу.... Это-одна изъ причинъ разлада Гёте и Шиллера съ публикой. Были и другія. Въ обществъ продолжали жить еще кой какіе старые литературные вкусы, продолжали действовать представители старыхъ литературныхъ теорій. Почитатели Клопштока, приверженцы Николаи недоброжелательно посматривали на Шиллера и Гёте, на ихъ новые литературные пріемы. Фанатики, какъ Штольбергъ, вооружались противъ анти-христіанскаго направленія, которое они усматривали напр. въ «Богахъ Греціи» Шиллера. Кром'в того, въ нъмецкомъ обществъ было много поклонниковъ Иффланда и Коцебу, бездарныхъ драматурговъ, писавшихъ пошлыя слезливыя бюргерскія драмы, которыя коробили эстетическія возэрвнія Гёте и Шиллера. И вотъ оба поэта ръшились сообща на борьбу съ литераторами и плочикой....

Все, что топорщилось противъ литературнаго направленія Гёте и Шиллера и въ то же время все, что противоръчило ихъ міровоззрънію, ихъ нравственнымъ, эстетическимъ, общественнымъ понятіямъ, должно было сдълаться предметомъ острыхъ эпиграммъ, которыя оба друга издали въ 1797 году, подъ заглавіемъ «Ксеній» (Ксеніи—греческое слово, которое означаетъ «подарки для гостей»; такъ обозвалъ

свое собраніе эпиграммъ римскій писатель Марціалъ, и отъ него заимствовали это заглавіе Гёте и Шиллеръ). «Ксеніи» произвели въ Германіи неслыханное броженіе. Это была цёлая литературная революція. Объ нихъ судили и рядили во всемъ образованномъ обществъ. Въ короткое время разошлось три изданія. Со стороны противниковъ посыпались возраженія. Поднялась литературная травля.... Это въ высшей степени характеристическій факть въ общественной исторіи Германіи. «Ксеніи» наглядно показывають, въ какую сторону направлены-были интересы нъмецкаго народа. Въ то самое время, какъ Франція была увлечена политическимъ движеніемъ и на историческомъ горизонтъ уже обрисовывалась грозная фигура Бонапарта, Германія занята была борьбой литературной, полемикой по вопросамъ эстетическимъ и философскимъ. Въ «Ксеніяхъ» Шиллера и Гёте много въскихъ й справедливыхъ нападокъ. Въ извъстномъ отношеніи можно смотръть на нихъ, какъ на перчатку, брошенную литературнымъ и философскимъ преданіямъ, какъ на ударъ, нанесенный свободною мыслью во имя идеаловъ гуманности темнымъ людямъ и фанатизму, наконецъ какъ на борьбу таланта съ бездарностью. Но въ «Ксеніяхъ» есть и другая сторона: они проникнуты тъмъ небрежнымъ презрительнымъ отношениемъ ко всему обществу, которое является непременнымъ условіемъ теоріи чистаго-искусства. Послъ «Ксеній» Гёте и Шиллеръ еще болье утвердились въ своемъ культъ чистаго, поставленнаго особнякомъ, идеальнаго искусства, еще болбе отдалились отъ дбиствительности и замкнулись въ свой веймарскій мірокъ, предаваясь разработкъ отвлеченныхъ теоретическихъ вопросовъ и приложенію ихъ на практикъ.

Предлагая вамъ обратиться за подробностями къ Геттнеру, я сдълаю быстрый обзоръ эллинизирующихъ произведеній Гёте и Шиллера. На этомъ слѣдуетъ хоть не надолго остановиться, тѣмъ болѣе, что эпоха нѣмецкаго эллинизма изображается обыкновенно въ учебникахъ нѣмецкой литературы пристрастно, въ слѣпомъ поклоненіи Гете и Шиллеру.

Наши поэты принимаются разыскивать темы; въ погонъ за сюжетами они усердно копаются по книжкамъ....

Думали ли Гёте и Шиллеръ въ юности отыскивать и изобрътать себъ темы?—Гёте пожиль въ Страсбургъ, побродиль по Эльзасу, посбиралъ народныя пъсни, посмотрълъ на страсбургскій старинный соборъ, побушевалъ съ своими пріятелями.... и въ результатъ явился Гёцъ. Потомъ-помучился, побился надъ вопросами своего въка, пожиль въ Ветцааръ, влюбился въ Шарлотту-и даль Вертера. Въ немъ разростались сомнёнія, его терзаль душевный разладъ, онъ изжилъ тревожныя минуты скептических волебаній, и сталь отливать въ художественное произведение скорбь свою, своего поколъния и всего человъчества новаго времени: выросталь Фаусть. Такъ создаются великія произведенія творчества. Передумалось, пережилось, перечувствовалось, - восприняты и собраны впечатлёнія, уловлены, подмёчены и сгруппированы типическіе образы дійствительности, — и является истинное художественное произведение, во всей прелести и красъ жизненной правды; оно является необходимымъ продуктомъ міровозарънія художника и его времени; имъ задуманное, оно просится наружу изъ его внутренняго міра на свъть божій, въ жизнь, — людямъ на утъху, наслаждение и подъзу. Такъ созданы были и Шиллеромъ его Разбойники, его Фіеско, его Коварство и Любовь, и, что бы ни говорили эстетические учебники ученыхъ нъмцевъ, за этими произведеніями пъвца свободы изъ той его эпохи, когда онъ пълъ дъйствительную земную свободу, когда онъ бородся за действительные реальные интересы человъчества, останется честь и слава. Не даромъ за нихъ получилъ Шиллеръ звание французского граждонства.

Одинъ изъ юношей былъ геній, другой — великій талантъ. Послъ блестящихъ подвиговъ юности, когда молодая кровь стала успокоиваться, когда стала проходить весна жизни, они остлись, определили свое положение къ средъ. Они были втянуты въ бытъ германскаго отечества, въ душную кухонно-семейную атмосферу нъмецкихъ провинціальныхъ угловъ. Одна часть общества прозябала въ мелочахъ, сплетничала, кляузничала.... другая мечтала и училась, и все училась, училась до тъхъ поръ, пока не разучилась жить. Шиллеръ покинулъ земныя низины и унесся въ царство идеаловъ. И Гёте пытался дёлать то же самое, хотя ему это и не удавалось въ такой степени, какъ Шиллеру: въ немъ было слишкомъ много трезвости, слишкомъ много жизни, чтобы забыть окружающій міръ. Оть одного онъ отръшился — отъ интересовъ общественныхъ и политическихъ. Но природа-это была до гроба его «слабость», предметъ особенной любви его, и чёмъ менте находиль онь удовлетворенія въ обществь, тымь болье прилынлялся онъ къ природъ, къ ея изученію....

Куда же направить творческую силу?.... Окружающее предлагаетъ

мало интересовъ. «Ach, noch leben die Sänger, говорить Шиллеръ, nur fehlen die Thaten, die Lyra freudig zu wecken». Начался формализмъ, культъ художественной формы, искусства для искусства, эстетическихъ теорій, поэтической техники. Темы приходится отыскивать, — такія темы, которыя удовлетворяли бы требованіямъ извъстныхъ теорій. Какія же это требованія?

Верховными образцами Шиллеръ считалъ произведенія грековъ. Вамъ извъстно, какую роль играетъ въ греческой трагедіи fatum судьба, которою обусловливается катастрофа; все сводится на извъстное действіе, приготовляемое и определяемое судьбою. Этотъ мионческій fatum, согласно съ върованіями древнихъ грековъ, царитъ надъ всёми людскими поступками; опъ предопредёляетъ участь людей. Потому и въ античной трагедіи на главномъ мість не характеристика лицъ, не индивидуализація, а dracmeie, событіе, катастрофа, которой руководить судьба. Характеристика лиць дается самая общая: нътъ психологическихъ подробностей, итть строгаго анализа; все дело въ мпонческой судьбъ, и будь человъкъ хоть семи пядей во лбу, онъ непремънно пострадаетъ въ силу того самаго сверхъестественнаго предопредъленія, которое уже осудило его до рожденія, которое обрекло на погибель еще отца и мать его. Припомните, что въ противомоложность античной трагедіи, въ новой драмь-у Шекспира-центръ тяжести перепесенъ на человъка, на лицо, на характеръ, который особенно интересуеть и зрителя и поэта, который съ особеннымъ стараніемъ обрисовывается во всъхъ подробностяхъ и мелочахъ въ драматическомъ произведеніи. Такимъ образомъ, въ греческой трагедіи мы видимъ fatum и самую общую, блёдную характеристику действующихъ лицъ. Эти принципы греческой драмы Шиллеръ призналь за обязательные для драмы новой. Почти всѣ его драмы изъ веймарскаго неріода — не болье, какъ опыты приложенія къ практикь - греческихъ теорій; вы видите теоретичность, искусственность подобныхъ стремленій: не жизнь, не дъйствительность, не бытовыя и общественныя особенности привлекаютъ поэта и руководятъ имъ при выборъ сюжета, а то обстоятельство, пригодна ли будеть извъстная тема для выясненія на ней такихъ-то и такихъ-то эстетическихъ принциповъ. И это стоитъ Шиллеру большаго труда. Онъ видить, что ни въ fatum, ни въ олимпійцевъ никто не въритъ, что навязать новому человъку эти античныя върованія невозможно. И воть онь бьется, бакъ бы замъпить fatum

чъмъ-нибудь подобнымъ и приходить иногда къ самымъ чудовищнымъ построеніямъ. Въ этомъ отношеніи очень любопытна записная книжка Шиллера, въ которую онъ заносилъ обыкновенно свои задачи и планы. Мы находимъ въ ней, напримъръ, слъдующія замътки. Тема — «Графиня Фландрская»; «дъйствіемъ», пишетъ Шиллеръ, «руководить верховная десница, органъ ея — монахъ... сны и видънія». Мы встръчаемъ у него тему «Полиція, комедія», содержаніе — изъ времени Людовика XIV, дъйствіемъ должна заправлять, подобно миническому фатуму грековъ, полиція. Шиллера привлекаетъ, напримъръ, извъстный мотивъ греческой трагики: последовательныя бедствія нескольких членовь того же рода, и онъ находитъ удобнымъ прикръпить этотъ мотивъ къ катастрофамъ, которыя произвела французская революція въ аристократическихъ родахъ прирейнскихъ провинцій..... Предоставляю вамъ судить, прилично ли называть подобные пріемы художественными. Не есть ли это просто литературныхъ дёлъ мастерство, замётьте притомъ — мастерство, которое вытекало изъ самыхъ чистыхъ побужденій, изъ возвышеннаго культа искусства: Но къ такому исходу приводитъ всегда одностороннее служение чистому художеству, разобщенному съ жизнью; искусство для искусства есть вмёстё съ тёмъ гибель искусства....

Возычите трагедію «Орлеанская Діва». При всей художественной прелести частностей, при всемъ мастерствъ отдълки, посмотрите, какими крайними несообразностями страдаетъ драма. Чъмъ руководится Шиллеръ при выборъ сюжета? — Въ фабуль объ Іоаннъ Даркъ онъ находилъ тотъ мотивъ, которымъ можно было, по его мненію, замънить греческій fatum, это именно — активное вмъшательство въ дюдскія дёла Провидёнія. Богородица приказываетъ орлеанской дёвё покинуть свой поля и стада и выступить на защиту отечества. Она объщаеть дъвъ успъхъ съ тъмъ условіемъ, чтобъ Іоанна воздержалась отъ земной любви и сохранила бы свою дъвственную чистоту. Трагическій конфликть заключается въ томъ, что Іоанна падаеть жертвою человъческой слабости и увлекается любовью къ Ліонелю; витстт съ этимъ ее покидаетъ божественная сила и постигаетъ наказаніе. Сознаніемъ вины и покореніемъ страстей она искупаетъ свой грёхъ, снова дёлается причастной благодати, одерживаетъ побёду надъ врагами, но вмёстё съ тёмъ и погибаетъ, раненая на смерть въ рёшительномъ бов. Смертью она окончательно смываеть съ себя прежнее пятно и возносится къ небесамъ... Такимъ образомъ весь ходъ

дъйствія, всъ поступки героини опредъляются вмъшательствомъ Верховной силы, которой Шиллеръ навязываеть въ своей трагедіи роль греческаго фатума. *Психологически* характеръ дъвы остается невыясненнымъ: онъ развивается не самостоятельно, а обусловливается внъшней сверхъестественной силой.

«Мессинская Невъста» Шиллера написана въ рабскомъ подражаніи греческимъ образцамъ. Дъйствіемъ руководитъ fatum, на сцену введенъ хоръ. Характеры изображены въ самыхъ общихъ очертаніяхъ, на греческій манеръ; не только общее содержаніе, но и частности построены на греческихъ ладахъ: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ берутся цъликомъ заимствованія изъ античныхъ трагиковъ. Тѣ пріемы греческаго искусства, которые являлись вполнъ естественными среди эллинскаго быта, эллинскихъ върованій древнеклассическаго міровозартнія, были насильственно перенесены на сцену новоевропейской жизни. Дъйствующія лица лишены всякой индивидуализаціи, это-куклы, которыми двигаеть сленая судьба. Дальше подобнаго опыта трудно было идти. Несмотря на успъхъ, которымъ увънчалось представление трагедіи на веймарскомъ театрь, несмотря на восторгъ, съ которымъ привътствовали ся появленіе друзья Шиллера и многіе нъмецкіе литераторы, а особенно филологи, поэть все-таки увидаль, что ставить такого рода пьесы на сцену новаго времени дело довольно неудобное даже въ ученой, проникнутой идеализмомъ Германіи. Слишкомъ отвлеченны, слишкомъ теоретичны были подобныя произведенія. — И вотъ въ последней оконченной имъ за годъ до смерти драме, въ «Вильгельмъ Теллъ» (1804), Шиллеръ понытался приблизиться къ дъйствительности, и создалъ въ ней едва ли не самую удачную свою пьесу. Матеріаломъ была сага о Теллъ, которая переносила поэта въ намвный, идиллический, патріархальный быть швейцарскаго народа въ средніе віка. Этотъ матеріаль даваль ему то, что Шиллерь находиль въ античной трагедіи, чего онъ давно хотёль искусственными средствами достичь въ своихъ произведеніяхъ, — именно: общіе, просто и несложно выкроенные характеры. Въ самомъ бытъ, которымъ об--ставлена сага о Теллъ-говоритъ Геттнеръ-еще нътъ ръзко обозначенныхъ индивидуальностей, единица еще не отдълилась отъ племени. Это простой быть, роевая стадная жизнь эпическаго илемени, въ которомъ отдъльная личность еще не играетъ важной роли. Такимъ образомъ одна цель Шиллера была уже достигнута: при такомъ сюжетъ

можно было создавать обще характеры, безъ ръзкой индивидуализаціи, на манеръ античныхъ. Но было еще другое обстоятельство, которое дало ему возможность создать въ «Вильгельмъ Теллъ» нъчто живое, дъйствительно мастерскую картину замкнутаго патріархальнаго быта, чуждаго сложныхъ общественныхъ формъ, тесно привязаннаго къ семьв и очагу: это — опыть. Въдь итито аналогическое, подобное такой жизни онъ видълъ вокругъ себя, въ Германіи.... Для «Вильгельма Телля» Шиллеръ могъ черпать живительныя струи изъ дъйствительной обстановки, и вотъ почему эта драма вышла ярче, искрениве, живве всвхъ прочихъ. Вы видите, какое благотворное двиствіе на искусство производить даже косвенное случайное сближеніе съ действительностью, какъ вдругъ разростаются силы самого таланта, лишь только онъ заглядываеть въ жизнь. Потому-то въ «Вильгельмъ Теллъ» есть такая правда, которую мы не найдемъ ни въ Маріи Стюарть, ни въ Орлеанской Деве, ни темъ менее въ Мессинской Невъстъ.

Нъкоторые смотрятъ на «Вильгельма Телля», какъ на драму политическую. Они видять въ Телль борца за свободу, и глубоко ошибаются. Объ общественной и политической свободъ Телль и швейцарцы не имъютъ никакого понятія. Они борятся за старину, за свою патріархальность, за свои преданія и обычай; они вызваны на эту борьбу новыми порядками, которые нарушають спокойствіе ихъ семейнаго очага.... Они еще не дожили до попятія о свободъ общественной и чужды политическихъ идей. Мы знаемъ, что и самъ Шиллеръ въ этотъ періодъ своей жизни не сталь бы воспъвать политическую свободу. Гёте, которому сюжетъ Телля подвернулся во время одного изъ его путешествій по Швейцаріи и который уступилъ Шиллеру этотъ сюжетъ, предполагалъ сначала обработать его въ форму эпической поэмы, — что было бы гораздо удачиве. Телль — тема собственно эпическая, содержание ея относится къ жизни племенной. И вотъ почему, переливая эту тему въ драматическую форму, Шиллеръ находился въ затруднительномъ положеніи: какъ мотивировать поступки Телля, какъ приковать интересъ къ его личности, однимъ словомъ-какъ сдълать изъ него драматического героя, по нашимъ понятіямъ. Выдълить его изъ среды, придать ему ръзкій яркій особенный характеръ-значило нарушить картину всего быта внесеніемъ въ эту картину посторонняго элемента. И Телль у Шиллера не вышелъ героемъ, его дъйствіями руководить случайность; это не лицо, поступающее по опредъленнымъ планамъ, руководящееся извъстными иделми. Случай, судъба выдъляеть его изъ среды. Самъ онъ не доросъ до того, чтобъ быть героемъ, сама по себъ натура Телля невыдающаяся.... Онъ — не интересенъ, какъ драматическая личность.

Я указаль вамь на нѣкоторыя характеристическія черты поэтической дѣятельности Шиллера этого періода. Вы видѣли, сколько неестественнаго было въ его литературныхъ пріемахъ, какъ разыскиваль онъ сюжеть за сюжетомъ, интересуясь не содержаніемъ, не сутью явленія, а внѣшними эстетическими побужденіями. Перейду теперь къ аналогическимъ произведеніямъ Гёте.

Шиллеръ былъ въ своемъ идеаленомо направленіи посл'ядовательнъе и натуральнъе Гете. По самой природъ своей онъ не былъ критикомъ; идеализмъ вторилъ его характеру и склонностямъ. Онъ съумблъ сдблаться пбвиомъ идеализма - и самымъ національнымъ ибмецкимъ поэтомъ-не вдаваясь въ аллегоріи, въ непонятную символику, въ археологическую ученость. Гёте, напротивъ, былъ реалистъ по натуръ. Мы увидимъ, какъ даже въ эту эллинизирующую эпоху силою своего таланта онъ схватывается за явленія современнаго ему быта и воплощаеть ихъ въ художественныя произведенія. Въ эту эпоху онъ обработываетъ «Вильгельма Мейстера», позже — уже на старости — творить Wahlverwandtschaften. Сверхъ того у него было еще одно сильное влеченіе, которое сводило его на реальную почву, это -- естественныя науки.... Такимъ образомъ въ Гёте мы видимъ художника реалиста, увлеченнаго эпохой и обстановкой въ идеальныя области, несоотвътствующія его таланту. Когда онъ следуетъ своимъ природнымъ влеченіямъ, онъ творитъ живые образы и картины дъйствительности; когда онъ силится подражать античнымъ образцамъ, когда онъ стремится созидать произведенія идеальнаго искусства, у него выходить возня съ непонятными символами и аллегоріями, самыя неестественныя, натянутыя фигуры — безъ какого бы то ни было подобія жизни, безъ психологическихъ оттънковъ, маски и куклы... Такъ не соотвътствовали эти задачи способностямъ Гёте; онъ былъ вовлеченъ въ нихъ временемъ.

Въ pendant къ крайнему эллинизирующему произведенію Щиллера, въ pendant къ его «Мессинской Невъстъ», можно поставить Гётеву «Ахиллеиду». Наши поэты бредили Гомеромъ, и не одни они. Съ тъхъ поръ, какъ Фоссъ началъ издавать свои образцовые періоды, съ тъхъ поръ какъ извъстный филологъ Вольфъ издалъ свои «Пролегомены» къ Гомеру (1795), въ которыхъ онъ обнаружилъ рапсодическій составъ греческаго эпоса, Гомеръ быль въ настоящей модъ. Гёте прилежно изучалъ Иліаду и въ слепомъ раболенстве передъ Гомеромъ писалъ «Ахиллеиду», въ которой проводилъ построчное мелочное подражаніе своему образцу. Онъ следоваль антикамъ даже въ томъ, какъ онъ самъ выражался, что противоръчило его вкусу. Неоконченный фрагментъ «Ахиллеиды» представляетъ жалкую, блёдную безжизненную копію съ греческаго эпоса. Къ подобнымъ же произведеніямъ относятся Гётевы пьесы: Палеофронъ, Пандора и трагедія Побочная дочь (Die natürliche Tochter). Послёднее произведеніе особенно характеристично. Идея судьбы, греческого фатума тягответъ надъ всей пьесой.... Ничего опредъленнаго, мистинаго, временнаго; дъйствующія лица-маски, вялыя аллегоріи, исключена всякая индивидуализація. Въ этой пьесъ Гёте хотьль дать аллегорическое изображеніе французской революціи: побочная дочь знатныхъ родителей должна была быть посредствующимъ звеномъ между аристократіей и демократіей, символомъ ихъ примиренія. Это отръщеніе отъ всего яркаго, характеристическаго, живаго, отъ всякой локализаціи сюжета, и было, по мивнію поэтовъ, признакомъ чистаго искусства, чистой формы, свободной отъ оковъ содержанія, - чистой гуманности, свободной отъ всего случайнаго, мъстнаго и временнаго. Что же остается?-Непонятные аллегорические образы, которые блуждають гдь-то впъ времени и пространства, у которыхъ нътъ ни плоти, ни крови. Такими аллегоріями наполнена и вторая часть Фауста, о которой я буду говорить впоследствіи. Понятно, что, увлекшись подобнымъ направленіемъ, поэты свысока смотръли на Шекспира: ихъ теперешнимъ воззрѣніямъ противорѣчила рѣзкая индивидуализація его характеровъ, его пренебрежение формой. На придворномъ веймарскомъ театръ, директоромъ котораго быль Гёте, шекспировскія пьесы даются очень ръдко, и то въ передълкахъ обоихъ поэтовъ; для этой же сцены обработываются пьесы Расина и Вольтера. Актеровъ мунітрують постоянными пробами, мучають на декламаціи, пріучають къ искусственнымъ твлодвиженіямъ... все направлено не на то, чтобъ изображать действительность, а чтобъ выполнить те формы, пріемы и

манеры, которые наиболъе приближали бы новую сцену къ античной и идеальной.

И вогь среди этихъ печальныхъ и неудачныхъ опытовъ, рабскаго подражанія отжившимъ формамъ греческаго искусства, среди этихъ теоретическихъ утёхъ, Гёте нападаетъ на действительно благодарную тему и создаеть произведение, которое можно поставить въ параллель Шиллерову Теллю. Въ 1797 г. была окончена имъ эпическая идиллія «Германнъ и Доротея». Форма, стихъ, ходъ повъствованія напоминаетъ Гомера, но это не «Ахиллеида», не ученое подражание греческому образцу, а самостоятельное поэтическое произведение, творение дъйствительно художественное. Откуда же взялась въ «Германиъ и Доротев» эта свежесть, этотъ живой колорить, эта искренность и естественность, которыми проникнуто все произведеніе? Опять-таки потому, что сюжеть быль взять изь самой окружающей действительности, изъ той сферы реальных отношеній, которая была близка поэту, съ которой опъ былъ знакомъ. Это картина бюргерскаго. патріархальнаго німецкаго быта. Если вы пайдете въ этомъ произведенін изображеніе интересовъ ограниченных — частных ь, семейных ь, изображение безмятежнаго тихаго прозябания у домашнихъ очаговъ въ глуши быта изолированнаго, отчужденнаго отъ вопросовъ политическихъ и общественныхъ; если вамъ станетъ душно и тоскливо въ этой обстановкъ, то не забудьте, что такова на самомъ дълъ была нъмецкая дъйствительность, таковы были тенденціи нъмецкой народности. «Германнъ и Доротел», это — блестящая иллюстрація внутрепней нъмецкой исторіи прошлаго въка. Понятно, почему такого рода сюжетъ отлился такъ естественно и рельефно въ эпическую, гомеровскую форму: само содержаніе, самъ незамысловатый быть, сама воспроизводимая жизнь просилась въ спокойныя рамки эпоса и идиллін (это не драма, это не борьба, а блаженная снячка - сонъ-Обломовки)... Разсказывать вамъ содержание «Германна и Доротеи» я не имъю времени; покорнъйше прошу познакомиться съ нимъ изъ самой поэмы. «Германнъ и Доротея» увънчались въ публикъ необывновеннымъуспъхомъ. Поэма была для всъхъ близка, понятна, всъмъ сродна, во всёхъ шевелила живыя струны.... Шиллеръ быль илененъ главнымъ образомъ формой. Онъ писалъ по поводу «Германна и Доротеи» слъдующія строки въ Мейеру: «па той высоть, на которой стоить теперь-Гёте, онъ долженъ стремиться не столько къ новому матеріалу, сколько къ воспроизведенію выработанной имъ художественной формы, короче теперь онъ долженъ всецъло посвятить себя поэтической практикъ». Вы видите, какъ жестоко заъдало поэтовъ формальное направленіе. Шиллеръ терялъ чутье поэтическаго матеріала....

Въ заключение нозвольте снова напомнить вамъ: 1) что смыслъ эллинизма и формальнаго или идеальнаго направленія объясняется изъ характера всей эпохи, изъ общественнаго быта Германіи того времени; 2) что поэты — жрецы формы — зашли въ своихъ теоретическихъ стремленіяхъ еще дальше общества: отсюда вытекаютъ враждебныя отношенія ихъ къ публикѣ и распаденіе съ ея требованіями; 3) что предоставленные своимъ личнымъ соображеніямъ, не обращая вниманія на окружающую дъйствительность, они необходимо становились въ противорѣчіе съ сущностью поэтической дъятельности и, исходя изъ апотеозы искусства, приходили въ своихъ нроизведеніяхъ къ его искаженію.

ЛЕКЦІЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Вильгельмъ Мейстеръ.

«Lehrjahre». Ихъ два отдёла. — «Wanderjahre» и ихъ культурно-историческое вначеніе.

Романъ Гёте «Годы ученья Вильгельма Мейстера» (Wilhelm Meisters Lehrjahre) создавался имъ отъ 1777 до 1796 года. Въ исторіи происхожденія этого произведенія слёдуеть различать двё эпохи и сообразно съ этими двумя эпохами въ самомъ романѣ слёдуеть различать два отдѣла. Первыя четыре книги были написаны Гёте до путешествія въ Италію, и если впослѣдствіи, при изданіи романа, Гёте подвергнуль ихъ обработкѣ, то все-таки общій характеръ ихъ, направленіе и колорить остались прежніе. Послѣднія четыре книги были главнымъ образомъ написаны отъ 1794 до 1796 года: онѣ носятъ печать уже другой эпохи. Такимъ образомъ первоначальный планъ романа и его первыя четыре книги относятся къ концу семидесятыхъ и началу восьмидесятыхъ годовъ,—къ тому времени, когда Гёте

еще не утратилъ живаго, непосредственнаго отношенія къ дъйствительности, когда для своихъ художественныхъ произведеній онъ черпалъ матеріалъ изъ самой жизни. Изъ переписки Гёте мы видимъ, , какъ усердно собирадъ онъ въ то время данныя изъ обстановки, какъ занималь его процессъ восприниманія впечатленій, съ какимъ интересомъ относился онъ въ темъ частностямъ действительности, которыя могли оживить его романъ. Такъ напр. въ 1781 году онъ познакомился съ графомъ Вертерномъ и его женой, образы которыхъ послужили ему для личностей графа и графини въ «Вильгельмъ Мейстерв». Графъ, -- пишетъ Гёте -- значительно обогатилъ мои «драматическіе и эпическіе магазины». Въ 1782 г. Гёте пишетъ изъ Лейпцига: «вчера пособралъ я прекрасныя данныя для моего Вильгельма и дополниль ими некоторые пробеды. Я многое слышу и вижу.... хорошо было бы остаться здёсь мёсяца на три, потому что здёсь скучено невъроятно много всякой всячины». Въ 1785 году, разсказывая въ письм в о знакомств в своем в съ однимъ сановникомъ, поэтъ говорить: «сношенія съ нимъ доставляють мив болбе удовольствія, чемъ когда-нибудь. Онъ помогъ мнъ кое въ чемъ для характеристики сословій». - Такъ рось по-немногу романъ по мітрів накопленія реальныхъ матеріаловъ, по мере художественнаго группированія впечатльній, получаемыхъ изъ обстановки.

Посмотримъ, каково же было то главное бытовое явленіе, которое легло въ основу этихъ первыхъ четырехъ книгъ Вильгельма Мейстера, какія стороны дъйствительной жизни Гёте намъревался въ нихъ воспроизвести. Въ 1778 году поэтъ сообщаетъ Мерку, что онъ занятъроманомъ, предметомъ котораго будеть театръ. Дъйствительно по первому плану Гёте предполагалъ изобразить въ Вильгельмъ Мейстеръ жизнъ актера, закулисный бытъ и театральную обстановку вообще; съ этимъ первымъ планомъ согласны первыя четыре книги. Впослъдствіи, когда задачи автора значительно измънились, Шиллеръ указывалъ своему другу на то, что романъ въ нъкоторыхъ отношеніяхъ слишкомъ спеціаленъ, точно онъ написанъ для актеровъ. Гёте соглашался съ этимъ и объяснялъ Шиллеру, что все это остатки нервоначальнаго плана.

Итакъ, содержаніе первыхъ четырехъ частей — быта актерова. Герой Вильгельмъ Мейстеръ — человъкъ, пылающій самою горячею страстью къ драматическому искусству и намъревающійся посвятить

себя сценъ. Таково было явленіе, которое Гёте воспроизводилъ въ своемъ романь, и если мы взглянемъ на нъмецкій быть того времени. то безъ труда заметимъ, что это явление было въ немъ действительно типическимъ, общимъ, что поэтъ не даромъ, не по одной личной прихоти своей вызваль его изъ вившней обстановки въ литературу. Съ семидесятыхъ годовъ прошлаго въка страсть къ театру съ особенной силой овладъла нъмецкой молодежью и образованными кружками того времени. Это была та же литературная и художественная манія, о которой мий такъ часто случалось вамъ говорить, но съ тою разницею, что страстное отношение къ сценъ и сценической дъятельности возпикало главнымъ образомъ въ натурахъ подвижныхъ, активныхъ, которыя не могли удовлетворяться отвлеченными занятіями, работой сидячей, комнатной. Если мъстный бытъ не давалъ распуститься ихъ силамъ на задачахъ практическихъ, то они стремились по крайней мъръ разыгрывать жизнь на сцень и на театральныхъ подмосткахъ искали того, чего не находили въ обстановкъ; здъсь они искусственно могли переживать самыя разнообразныя положенія, здісь они могли переноситься въ среду самыхъ сложныхъ и затъйливыхъ отношеній. Театръ восполняль для нихъ недостатки самой жизни. Понятно, почему сцена и вся ея обстановка до мелочей были въ то время такимъ общеинтереснымо предметомъ. Къ 70-мъ и 80-мъ го дамъ прошлаго въка относится дъятельность знаменитаго актера и театральнаго писателя Шрёдера, который познакомиль нъмецкую публику съ Шекспиромъ на сценъ. Путь Шекспиру на нъмецкіе подмостки проложенъ былъ «Гамлетомъ», представленія котораго ув'єнчались необыкновеннымъ успъхомъ въ Гамбургъ и Берлинъ. Таковы были отношенія нъмецкаго общества къ театру въ концъ XVIII и началь XIX выка. Геттнеры обзываеть эту эпоху золотыми годами нъмецкой сцены. Это восторженное отношение въ театру вообще, а затъмъ-къ Шекспиру и въ частности къ его Гамлету, составляетъ главное содержание первыхъ книгъ Вильгельна-Мейстера. Исполненный идеальныхъ стремленій юноша Вильгельмъ изъ тесныхъ бытовыхъ отношеній уб'ягаетъ въ міръ драматическаго искусства. Онъ сближается съ труппой странствующихъ актеровъ, принимаетъ участіе въ ихъ похожденіяхъ и наконецъ выступаеть на сцену — въ налюбленной имъ роли Гамлета. Отношенія Вильгельма къ сценъ и его приключенія со странствующей труппой исчерпывають первый

отдълъ романа, происхождение котораго, какъ мы видъли, относится къ 70-мъ и 80-мъ годамъ прошлаго въка.

Затемъ Гете продолжалъ писать романъ, но довольно медленно и съ продолжительными перерывами. Мы знаемъ, что въ 90-хъ годахъ дъятельность его приняла другое направленіе, которое и отразилось на второмъ отдълъ романа. Въ первыхъ книгахъ мы встръчаемся съ живыми и разнообразными бытовыми картинами, съ яркими, мастерски обрисованными фигурами: между ними стоитъ только указать на Филину, какъ на необыкновенно рельефный художественный образъ. Во второмъ отделе выступають на сцену фигуры абстрактныя, изображаются темныя, непонятныя комбинаціи событій. Самъ поэть уже бросиль первоначальный плань; его занимають другіе интересы, онъ витаетъ въ отвлеченныхъ сферахъ идеальнаго искусства. Онъ начинаетъ мудрить и чудить въ своемъ романъ. Вильгельмъ оказывается неспособнымъ къ дъятельности артиста и отдаляется отъ театра. Гервинусъ совершенно върно замътилъ, что въ первоначальномъ планъ Гёте вовсе не имълъ въ виду этой неспособности въ своемъ героъ, напротивъ-сначала онъ намъревался изобразить въ немъ истиннаго талантливаго актера.... Но теперь у автора ужъ другія задачи. Вильгельмъ Мейстеръ долженъ по-немногу бросить безпокойныя фантастическія стремленія юности и приближаться къ тому спокойному, идеальному міровоззрѣнію, которое проповѣдовали въ 90-хъ годахъ Гёте и Шиллеръ. Годы ученья Вильгельма должны завершиться пріобрвтеміемъ тъхъ неопредъленныхъ идеаловъ чистой гуманности, къ которымъ стремились оба поэта. Задачей Вильгельма становится личное нравственное- и астетическое совершенствование, свобода отъ страстей, внутренняя душевная гармонія. Романъ завершается бракомъ Вильгельма съ Наталіей — воплощеніемъ чистой гуманности. Последнія книги Мейстера блёдны и непонятны, какъ тё идеалы, которые носились въ это время передъ веймарскими поэтами. Романъ, въ которомъ сначала Гёте предполагалъ представить театральный бытъ своего времени, перешелъ въ довольно вялое и темное изображение стремлений героя къ примирению съ жизнью, къ личному совершенствованию. Поэтомъ были введены посторонніе эпизоды, которые разстраивають общій складъ произведенія, малов роятныя случайности и происшествія, и даже таинственная интрига: какой-то мистическій союзъ на подобіе масонскаго, который такъ и остается невыясненнымъ. Вообще

интересоваться въ «Годахъ ученья В. Мейстера» можно только первымъ отдёломъ, гдё поэтъ стоитъ еще на почве реальной: какъ я уже сказаль, это картина общественнаго быта того времени, которая вся сосредоточивается около главнаго действующаго лица-артиста, художника. Относительно культурно-исторического значенія «Годовъ Ученья» можно повторить слова Ю. Шмидта: «В. Мейстеръ изображаетъ нравственную атмосферу Германіи прошлаго въка. Духъ нъмецкаго народа освободился отъ преданій религія перестала быть живымъ организмомъ, государство и все, что къ нему относилось, находилось въ пренебреженіи; жизнь практическая сосредоточивалась на частныхъ интересахъ; стремились въ универсальному образованію и къ благопріятной, веселой, обезпеченной обстановкі въ среді частныхъ отношеній. Если были стремленія религіозныя, то они окрашивались эстетическимъ и пістистическимъ оттънкомъ (представителемъ подобныхъ стремленій въ Мейстерь служить одинь женскій типъ — «die schöne Seele»). Единства не было ни въ церкви, ни въ государствъ; публичное эло старались выносить какъ можно равнодушите или, лучше сказать, его не чувствовали, если оно не врывалось въ мирную обстамивиж йонтову улвон «.

Произведение Гёте вызвало множество подражаній. Стали плодиться романы, изображавшіе жизнь артистовъ и поэтовъ *). Изъ этихъ подражаній особенно рѣзко выдъляется романъ Новалиса «Генрихъ фонъ Офтердингенъ». Новалисъ — одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей романтической школы—находиль, что Гёте въ своемъ произведеніи унижаль искусство и подчиняль его жизни. Реальные образы Вильгельма Мейстера ръзали глаза чувствительному, бользненному Новалису. Онъ задался мыслью написать біографію артиста, которая была бы вийстй съ тимъ апотеозой искусства, которая бы топтала действительность и разрешала бы всю жизнь въ мечту, въ чув: ство, въ фантазію. Разумбется для такого сумасшедшаго идеалиста, какъ Новалисъ, Вильгельмъ Мейстеръ долженъ былъ представиться произведеніемъ, проникнутымъ, какъ выражался самъ Новалисъ, атеизмом искусства. Мы видъли, что въ сущности врайнее эстетическое направление романтики и идеальныя стремленія Гёте и Шиллера имъли общія основанія.

^{*)} Chaym, Die Romantische Schule; Prutz, erp. 110-111.

Для чистаго эстетика представляется неутъщительной задачей разборъ того продолженія Вильгельма Мейстера, которое Гёте писаль въ глубокой старости, которое онъ издалъ въ первый разъ въ 1821 году, а затъмъ, въ послъдніе годы своей жизни, снова обработалъ. Продолжение носило заглавие «Годы Странствий Вильгельма Мейстера» (Wilhelm Meisters Wanderjahre). Въ произведени нътъ художественной цъльности, образы еще отвлеченнъе, еще блъднъе, чёмъ во второмъ отдёлё «Годовъ Ученья»; разсказъ перемещанъ съ отдёльными побасенками и исторійками, изъ которыхъ нёкоторыя не имъютъ никакого отношенія къ изображаемымъ въ романъ событіямъ, другія даже неокончены; наконецъ--въ сочиненіе включены были совершенно постороннія моральныя изреченія и естественнонаучныя наблюденія. Несомивино въ этомъ продуктв паденіе творческой силы поэта. И однако историкъ литературы останавливается не безъ осо беннаго интереса на этомъ старческомъ произведеніи великаго мужа, стоящаго на порогъ двухъ въковъ, двухъ міровозаръній. Онъ руководствуется однаво при этомъ интересомъ не эстетическимъ, а соображеніями другаго рода.

Въ этихъ очеркахъ, насильственно сбитыхъ въ одно цълое, не имъющихъ между собой строгой художественной связи, не обладающихъ поэтическою органичностью, есть однако нечто такое новое, такое оригинальное, что невольно привлекаеть къ себъ внимание изслъдователя. Здёсь мы встрёчаемся съ новой идеей, съ новымъ вопросомъ. И нужно удивляться прозорливости человъка, воспитаннаго на общихъ гуманитарныхъ идеальныхъ началахъ нёмецкаго XVIII вёка, увлеченнаго эпохой въ сферы чистой идеальной эстетики, далекаго отъ политической жизни, -- нужно удивляться прозордивости этого человъка, который въ преклонныхъ годахъ старости съумълъ уловить новую идею, только что зарождавшуюся въ общественномъ сознаніи, прочуять новый универсальный вопросъ, ръзкая и категорическая постановка котораго была отложена еще на многіе годы..... Вотъ съ этой культурно-исторической точки зрвнія для насъ интересны «Годы Странствій В. Мейстера». Это-пророческія чаянія геніальнаго старца.....

Мы снова встръчаемся съ Вильгельмомъ, но это уже не тотъ артисть, проникнутый общими гуманитарными стремленіями XVIII въка, котораго мы видъли въ «Годахъ Ученья». Онъ преслъдуеть теперь

другія ціли, задается другими задачами. Вильгельмъ принадлежить къ ассоціаціи людей, которые следують новымъ принципамъ. Цель каждаго изъ нихъ-отречься отъ прежнихъ туманныхъ идеаловъ и посвятить себя определенной общеполенной деятельности, достичь совершенства въ какомъ-нибудь ремеслю. Многосторонность должна быть предварительнымъ фундаментомъ для спеціальной разработки какой-нибудь отдъльной отрасли теоретическихъ или практическихъ вопросовъ, въ рвшеній которых в нуждается общество. Припомните, как в обща, как в неопредъленна была пропаганда чистой гуманности, тъ теоріи эстетическаго развитія, которыя проповъдовали Гете и Шиллеръ въ посябднихъ годахъ XVIII въка. Тогда они силились возможно болъе отрёшиться отъ всякой реальной почвы, отъ всякихъ реальныхъ требованій, отъ историческихъ условій, отъ нуждъ и потребностей общества и государства: все это въ ихъ глазахъ было земное — «das irdische» оковы котораго следовало сбросить, чтобы воспарить въ чистый міръ формъ и идеаловъ. Стремленія сосредоточивались на нравственномъ и эстетическомъ усовершенствованіи индивидуума и совершенно не принимали во вниманіе тёхъ общественныхъ отношеній, среди которыхъ эта личность живеть... Теперь, въ «Годахъ Странствія В. Мейстера», мы встречаемъ поворотный пунктъ. Люди въ своихъ стремленіяхъ руководятся не туманными мечтами о личной гармоніи, а болбе опредъленными стремленіями выбрать тоть или другой родъ дъятельности, который бы соотвътствоваль запросамь общества. Въ «Годахъ Ученья» на первомъ планъ-лицо, художникъ. Въ «Годахъ Странствія» выступаетъ на сцену союзъ, ассоціація, общество, и отдельная личность начинаетъ ему подчиняться. Самъ Видыгельмъ-врачъ, хирургъ; Ярно, другой членъ союза, посвящаеть себя горному дълу; третье лицо, аббать, — дъятельности педагогической. Каждый долженъ развивать данную ему отъ природы навлонность до возможно большаго совершенства для того, чтобъ сдёлаться полезнымъ членомъ человъческаго общества; каждый долженъ приготовляться къ извёстному определенному делу, къ извъстному ремеслу, выработать себъ опредъленную технику на служение обществу. Итакъ-индивидуумъ должент сообразоваться ст общественными нуждами. Люди стараго покроя, какъ Вильгельмъ, приходять къ сознанию этого принципа посят продолжительной борьбы. Они, эти баловни-артисты, эти Вертеры и титаны, вскормленные на индивидуалистическихъ началахъ переходной эпохи, выросшіе въ средъ, которая только и твердила о лицъ, о его самобытности, о законности самыхъ крайнихъ его притязаній, они, для того чтобъ примириться съ новыми требованіями времени, для того, чтобъ укръпиться въ новомъ направленіи, должны были наложить на себя обътъ отреченія: они члены ордена отренающихся (die Entsagenden)..... Молодому покольнію, представителемъ котораго является Феликсъ, сынъ Вильгельма, задача облегчена самимъ воспитаніемъ, и вотъ Гёте рисуетъ картину общирнаго педагогическаго учрежденія, педагогической провинціи.

Въ этой картинъ много курьезнаго, много комическаго. Я остановлюсь только на главныхъ принципахъ образованія, указанныхъ въ этомъ отдълъ Гетева романа. Въ основу воспитанія положено развите чувства почтенія (Ehrfurcht); воспитанникамъ должно быть внушаемо уважение къ старъйшимъ, къ равнымъ себъ и къ самой жизни. Приложение этой теоріи къ практикъ обставлено у Гёте довольно странными подробностями. Воспитанники провинціи упражняются вижшинить образомъ въ различныхъ видахъ почтенія: они принимаютъ повы, которыя должны выражать это чувство. Такъ, въ знакъ благоговенія къ божеству и старейшимъ, они держатъ руки скрестивши на груди и радостно смотрятъ на небо и т. п. Встръчаясь съ подобными курьезами, нужно помнить, что намъ разсказываеть это старець, которому на восьмомъ десяткъ естественно могли приходить въ голову самые странные образы; не забудьте и того, что это пишетъ человъкъ, который въ течение своей жизни стоялъ дадеко отъ практическихъ общественныхъ вопросовъ. Но все-таки въ этомъ принципъ уваженія, на которомъ построено воспитаніе въ пресловутой педагогической провинціи, есть извъстное серьезное значеніе. Это реакція противъ того безпардоннаго индивидуализма, который достигъ высшей точки въ концъ XVIII и началъ XIX въка, реакціявыраженная, правда, въ сгранной формъ. Старецъ точно силится изобръсти какія-нибудь положительныя основы, на которыхъ можно было бы построить общественныя отношенія будущаго. Индивидуализмъ съ своей критикой шаталъ старину, но не сооружалъ новаго, не организовала. Умственная анархія, которая развивалась параллельно съ индивидуализмомъ, имъла въ высшей степени благотворное значеніе, но главнымъ образомъ-отрицательное, какъ торжественное низложение прошедшаго.... Для того, чтобъ построить новыя общественныя отношенія, для того, чтобы организовать новый умственный и соціальный строй, недостаточно отрицанія: нужны опять какія нибудь общія, обязательныя, подожительныя начала, которыя стояли бы выше индивидуальных затьй. Поэтому, если этотъ принципъ почтенія изображенъ въ комическихъ и странныхъ формахъ и не выдерживаетъ критики, то все-таки следуетъ отдать справедливость стремленіямъ старца - предупредить своей педагогической системой тъ бользиенныя, абсурдныя, противообщественныя проявленія индивидуализма, который безусловно требовалъ подчиненія всей дійствительности фантазіямъ лица, и, опираясь на новое абсолютное учепіе-на абсолютный личный критицизмъ, не прочь быль сомивваться въ общеобязательности таблицы умноженія, не прочь былъ въ своемъ слепомъ культе терпимости признать свободу совести въ ариометике. Таковъ, по моему мевнію, смысль этого педагогическаго принципа почтенія, который быль высказань Гёте въ «Годахъ Странствія В. Мейстера». Что Гёте действительно съ этой точки аренія смотрель на этотъ принципъ, видно изъ его разговоровъ съ Буассере: «не слѣдуетъ угнетать индивидуальное», говоритъ Гёте, «потому и наставники должны заботливо развъдывать прирожденныя склонности отдъльныхъ субъектовъ. Но затъмъ и индивидуальное не должно высокомърно щетиниться. Вёдь Вертеръ потому и погибъ, что онъ смотрёлъ на свое сердечко, какъ на больное дитя, и давалъ ему полную волю » Этотъ принципъ сознанія необходимости ограничить индивилуальность, подчинить отдёльные интересы общимъ, готовитъ воспитанниковъ педагогической провинціи быть членами общественнаго союза.... Титанизмъ не укладывается въ общественныя требованія, онъ не можетъ ужиться ни съ какими ограниченіями. Онъ антисолидаренъ, потому и антиобществененъ. Таково этическое начало педагогической системы, илображенной Гете. Затъмъ собственно образование, обучение, должно сосредоточиваться на приготовленіи каждаго лица къ опредъленной дъятельности, которая наиболъе соотвътствовала бы его природнымъ способностямъ и вмъстъ съ тъмъ служила бы извъстнымъ цълямъ и нуждамъ общества.

Такъ готовятся члены для будущаго общественнаго союза, основанія котораго намъ рисуеть поэть въ самыхъ общихъ и далеко неясныхъ очертаніяхъ. Этотъ общественный союзъ долженъ держаться трудома всъхъ и каждаго, иначе—это союзъ рабочихъ силъ. Только

тоть—членъ этого союза, который выработаль въ себъ способность къ извъстному дълу, къ извъстной работъ. Взаимный трудъ является такимъ образомъ принципомъ новаго общества, въ которомъ нътъ болъе никакихъ сословныхъ различій.... Обстоятельнаго изображенія этихъ новыхъ отношеній въ романъ Гёте мы не имъемъ, да онъ и не могъ ихъ дать по причинамъ, на которыя я уже не разъ указывалъ. Притомъ вопросъ о коренномъ и неизбъжномъ пересозданіи экономическихъ отношеній въ обществъ только еще зарождался. Нельзя требовать отъ старика поэта, принадлежавшаго своими лучшими годами другому стольтію — «гуманитарно-либеральному» — систематическаго выясненія идей, которыя только начали всплывать на поверхность общественнаго сознанія. Онъ почуялъ новое въяніе, и уже въ этомъ обнаружилъ геніальность своей личности.

Вообще, на серьезныхъ подробностяхъ новаго соціальнаго устройства старикъ не останавливается. Зато его тъщатъ игрушки и мелочи. Въ новомъ государствъ напр. должно быть возбуждено особенное уважение къ течению времени: будеть очень много часовъ, которые будуть бить каждую четверть и такимъ образомъ постоянно напоминать, что время есть величайшее благо, которое не нужно терять попусту; «внимательность есть жизнь», говорить одно изъ действующихъ лицъ романа. Постояннаго войска не будетъ, вмъсто него милиція. При этомъ поэтъ замічаеть, что необходимо уничтожить барабаны (точно такъ же, какъ и колокола) и замѣнить ихъ пѣніемъ: съ пъніемъ и игрой на духовыхъ инструментахъ будетъ идти на войну эта милиція.... Эта возня съ мелочами и бездълками служитъ признакомъ-съ одной стороны старчества, съ другой - того теоретическаго замкнутаго направленія, которое издавна отвлекало поэта отъ знакомства съ общественными вопросами. Следы этого гуманитарно-эстетического направленія заметны на всемъ романе. Вильгельмъ является врачемъ-хирургомъ; онъ ревностно изучаетъ анатомію человъческаго тъла, но при этомъ случается во-первыхъ, что съ его научною пытливостью борется эстетическое чувство, а во вторыхъ онъ встръчаетъ затруднение въ добывании самихъ труповъ. Извъстно, что въ 20-хъ годахъ въ Англіи образовался цёлый промысель добыванія труповъ для анатомовъ, воровство мертвыхъ тель обратилось въ ремесло, и поставщики подобнаго товара прибъгали иногда даже къ убійству, — такъ выгодны были эти коммерческія операціи. Вследствіе этого англійскій парламенть постановиль доставлять въ анатомическіе театры трупы умершихь въ богадёльняхь и пріютахъ. Вопросъ этоть сильно занималь газеты того времени. И воть Вильгельмъ необыкновенно сочувственно относится къ средству, придуманному однимъ скульпторомъ, съ которымъ онъ сблизился: изучать анатомію по гипсовымъ и восковымъ моделямъ органовъ, приготовляемымъ художниками въ сообществе съ врачами. Вильгельмъ увлекся эстетической стороной вопроса, въ немъ забила художественная жилка, и въ этомъ обнаруживается его двойная натура: это врачъ и изследователь, воспитавшійся на эстетическихъ и идеальныхъ представленіяхъ нёмецкаго XVIII столетія. Онъ не можеть отрёшиться отъ эстетическихъ побужденій даже тамъ, гдё они могуть затруднять дёло научнаго изследованія.

Въ романъ насъ поражаетъ наивность Гете въ его общественныхъ и политическихъ возэрвніяхъ. Такъ, выставляя принциномъ необходимость для каждаго изъ членовъ общества выбирать опредъленную профессію и прилагая этотъ принципъ къ дъйствующимъ лицамъ романа, онъ, между прочимъ, предназначаетъ одного изъ героевъ къ должности шталмейстера-конюха, другаго дёлаетъ скорописцемъ, третьяго-экзерцирмейстеромъ. Все это - очень способные люди, которые могли бы оказать несравненно боле пользы на другихъ поприщахъ и найти себъ дъятельность, которая несравненно болъе соотвътствовала бы ихъ дарованіямъ. Но для Гёте такъ непривычны эти соціальныя сферы, ему такъ несвойственны пріемы общественной техники, что, когда представляется вопросъ для решенія, для практическаго осуществленія, --- онъ теряется, путается и приходить къ наивнымъ и забавнымъ выходкамъ. Не следуетъ придираться въ этимъ наивностямъ, къ этому старческому ребячеству. Не нужно забывать того, что въ романъ своемъ Гёте — одинъ изъ первыхъ — коснулся тъхъ идей, которыя начинали носиться въ воздухъ, затронулъ въ немъ тотъ коренной общественный вопросъ, который въ XIX столътіи выступиль на историческую очередь и все болье и болье завладъвалъ теченіемъ исторической жизни.

На знамени новой эпохи начертанъ не принципъ безграничносвободнаго распущеннаго индивидуализма, не знающаго и не хотящаго знать предъловъ, а девизъ солидарности и гармоніи всъхъ единичныхъ интересовъ. Лицо ставитъ себъ границы: въ міръ явленій вообще оно перестаетъ искать абсолютное, въ мірь практическихъ общественныхъ отноменій оно обуздываеть свои титаническія желанія и личныя затви. Проходить мода на то, чтобы парить орломъ подъ облаками, на то, чтобъ презрительно à la Byron смотреть на окружающее съ высоты своей субъективности.... Настаетъ время массъ и служенія интересамъ большинства. Если въ XVIII въкъ пробудилось сознание въ людяхъ образованныхъ и зажиточныхъ, и за этимъ сознаніемъ последовало и освобожденіе этого люда — «выдающихся личностей», то въ XIX столетіи на западе Европе зарождается въ самих массах сознание своих интересов и своих силь. Въ общество все болье и болье проникаеть убъждение, что изъ историческаго собранія единиць для собственнаго благосостоянія оно должно обратиться въ организованный союзо съ общими интересами, задачами и цёлями, въ союзъ, который даваль бы возможность каждому члену вполнъ развивать свои силы и способности и пользоваться благами умственными и матеріальными наравит съ прочими членами. Признаки этого сознанія въ большинствѣ мы замѣчаемъ въ началѣ стольтія. Оно зарождается въ техъ узлахъ цивилизаціи, где историческія судьбы скучили, сгустили и уже внішнимъ образомъ сплотили народонаселеніе -- въ міровых в городах и промышленных центрахъ Европы. Однимъ изъ проводниковъ этого сознанія служить голодъ.... Не разъ указываетъ Гёте въ своемъ романъ на нищету и голоданіе рабочаго люда въ густонаселенныхъ мъстностяхъ и на переворотъ, произведенный въ экономическихъ отнощеніяхъ введеніемъ машиннаго производства. Онъ высказываеть при этомъ опасенія за будущее....

Итакъ, вотъ въ этомъ культурно-историческомъ отношеніи для насъ важны «Годы Странствій Вильгельма Мейстера», къ которымъ съ такимъ высокомърнымъ пренебреженіемъ относятся записные эстетики. На этомъ романъ отразилось начало извъстныхъ идей, которыя все болье и болье пріобрътаютъ универсальное значеніе. Нъкоторые литераторы видъли въ этомъ сочиненіи признаніе со стороны Гёте началъ соціализма. Это было бы преувеличено. Повторяю, опредъленныхъ, строгихъ, ръзкообозначенныхъ теорій Гёте не проводилъ, да и пе могъ проводить. Онъ только указываетъ на новый соціальный вопросъ, на вопросъ массъ и ихъ благосостоянія, разъяснить и осмыслить который онъ разумъется былъ не въ состояніи.

Такъ пришли мы отъ ученическихъ годовъ В. Мейстера къ го-

дамъ его странствій, отъ артиста, художника, отъ чувствительнаго идеалиста, отъ прихотливо-субъективной личности, исполненной общихъ неопредъленныхъ гуманитарныхъ стремленій XVIII въка къ врачу, къ члену общественнаго союза, къ дъятелю XIX стольтія. — къ дъятелю «въ рядахъ и шеренгахъ» своихъ собратьевъ....

ЛЕКЦІЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

«Wahlverwandtschaften» и второй Фаустъ.

Мотивы романа. Сродство. Принципъ брака. — Страсти въ ихъ зависимости отъ общихъ возврѣній. Второй Фаусть. Основная идея. Выли ли вторые Фаусты въ обществъ? — Симводика произведенія. — Универсальность Гёте и національность Шиллера

Въ галлерев великихъ историческихъ дъятелей ръдко приходится сталкиваться съ такою многостороннею и полною жизни личностью, какъ Гёте. Благопріятная обстановка дала ему возможность развить до высокой степени совершенства тъ богатыя наклонности, которыми одарила его природа: онъ былъ не только поэтомъ вселенной, но п великимъ естествовъдомъ, оригинальнымъ натурфилософомъ въ серьез/ номъ смыслъ этого слова. И вмъстъ съ темъ творецъ Фауста не могъ быть аскетомъ пуританиномъ или суровымъ отшельникомъ, для котораго закрыты целыя области человеческих отправлений. На своемъ въку Гёте много и сильно любилъ. Біографія Гёте до самой его старости обставлена многочисленными женскими образами, которые поочереди, такъ сказать, сопутствують поэту, оживляють и вдохновляють его.... Но никогда страсть не овладъвала исключительно всей его личностью, никогда не отдавался онъ ей всецело, никогда не поглощала она всъ другіе его интересы. Общія стремленія Гёте въ концъ концовъ всегда одерживали въ немъ верхъ надъ частнымъ влечениемъ. Сильныя чувства періодически зарождались въ его здоровой, могучей и живой натурь, онъ даваль имъ волю, наслаждался, но когда развитіе ихъ начинало принимать ненормальные размітры. Гёте для своихъ порывовъ находилъ всегда отпоръ въ тъхъ общихъ вопросахъ, которые его занимали, - въ художественномъ творчествъ или въ естественнонаучномъ изследованіи: онъ находиль всегда прибежище въ идель.

Въ 1807 году, когда Гете было уже 58 лътъ, онъ влюбился со всъмъ пыломъ юноши, какъ говорять его біографы, въ Минну Герцлибъ, пріемную дочь одного книгопродавца въ Іенъ, которая съ своей стороны отвъчала старику такою же любовью. Гете былъ женатъ и признавалъ принципъ нерасторгаемости брачныхъ узъ. Онъ покорилъ въ себъ свою страсть къ Миннъ, — и вмъстъ съ тъмъ по горячимъ слъдамъ своего чувства написалъ романъ Die Wahlverwandtschaften (избираемое сродство), въ которомъ отразились его собственныя мученія и та внутренцяя борьба, изъ которой опъ вышелъ побъдителемъ. Вотъ въ двухъ словахъ содержаніе романа.

Богатый баронъ Эдуардъ, человъкъ слабый, чувствительный, капризный, женать на сравнительно твердой и решительной Шарлотте. Они живуть не только въ полномъ согласіи, но и чувствують другъ къ другу сильную привязанность; но глубокой истинной любви въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ итть: это разнородныя натуры. На сцену выступаютъ двъ другія личности: другь Эдуарда — капитанъ и воспитанница Шарлотты — Оттилія, и туть завязывается узель романа. Эдуардъ и бользненная чувствительная Оттилія чувствують непреодолимое страстное природное влечение другъ къ другу; въ свою очередь Шарлотта незамътно сближается съ болъе серьезнымъ и положительнымъ капитаномъ. Затввается борьба между этими естественными влеченіями и принципомъ ненарушимости брачнаго союза, который прианается въ большей или меньшей степени всёми дёйствующими лицами романа. Въ болъе сильныхъ личностяхъ — въ Шарлоттъ и капитанъ — принципъ одерживаетъ верхъ надъ страстью, слабъйшія— Эдуардъ и Оттилія — погибаютъ жертвою этого конфликта: Оттилія умираеть, сознавая свою виновность и вмёстё съ тёмъ не будучи въ состояніи побъдить страсть свою къ Эдуарду; вслёдъ ва ней умираетъ и Эдуардъ. Такова драматическая канва Гётева романа. Я постараюсь освътить ее исторически. Вы видите, что романъ построенъ на столкновеніи страстнаго влеченія съ идеей нерасторгаемости брака; разсмотримъ оба элемента этого столкновенія.

1) Шарлотта и капитанъ съ одной стороны, Эдуардъ и Оттилія съ другой чувствують взаимное влеченіе, которое Гёте уподобляетъ химическому сродству. Тъ отношенія, которыя въ области химическихъ

явленій существують напримітрь между известняком и кислотами. между хлоромъ и натромъ, поэтъ усматриваетъ и на людяхъ. Извъстныя натуры при встрёчё чувствують непреодолимую симпатію пруга къ другу, какое-то натуральное сродство, которое слъпо и необходимо привлекаетъ и связываетъ ихъ; напротивъ того, другія остаются взаимно чуждыми, несродными въ силу своихъ природныхъ свойствъ, какъ масло и вода, которыя никогда не смъщиваются, не сливаются воедино бсзъ посредствующаго элемента. Съ такими химическими явленіями Гёте сопоставляеть отнощенія между дъйствующими лицами своего романа, на которомъ сильно отразились занятія поэта естественными науками. Гётс глубоко сознавалъ единство на з чаль, по которымь совершаются всь міровыя отправленія, какъ вф природъ, такъ и въ человъкъ. Сознание этого единства навело его, какъ мы увидимъ въ следующій разъ, на великія естественнонаучныя открытія, оно дало ему возможность приводить въ тъсную связь, разсматривать съ одной точки зрънія, подъ однимъ и тъмъ же угломъ всъ явленія нравственныя и физическія, всъ разнообразныя формы организмовъ. Такимъ образомъ и въ этой идет нравственнаго сродства, уподобляемаго химическому, есть своя доля правды, насколько это — попытка пріурочить объясненіе психических в явленій къ даннымъ физіологическимъ. Но если слъдуетъ цънить самый принципъ, то съ другой стороны необходимо замътить, что съ приложениемъ этого принципа на дълъ, - къ частностямъ, слъдуетъ обходиться очень осмотрительно. Для того, чтобъ приводить въ связь опредъленный психическій факть съ опредпленным физіологическим основаніемь, нужно строго держаться опыта, наблюденія, нельзя отступать отъ реальнаго научнаго матеріала. Между тімь Гёте, увлекаемый этой идеей, даль слишкомъ широкій просторъ воображенію и пришелъ въ своемъ романъ къ фантастическимъ комбинаціямъ, не оправдываемымъ научнымъ опытомъ; влечение героевъ другъ къ другу онъ облекъ какой-то мистической формой, оно является для насъ непонятной демонической силой и на подобіе греческаго фатума сліпо, самовластно распоряжается людскими отношеніями. Разумъ бездъйствуеть, мы находимся въ какомъ-то непонятномъ заколдованномъ кругу симпатическихъ вліяній, магнитныхъ притяженій, невъдомыхъ факторовъ. Мы становимся втупикъ, встречаясь напримеръ съ такими подробностями: «Они жили подъ однимъ кровомъ; но даже не думая другъ о другъ, зани-

маясь чёмъ-нибудь постороннимъ, находясь въ обществе, они незамътно другъ къ другу приближались. Когда они были въ одной комнать, то въ самомъ непродолжительномъ времени они уже стояли другь около друга или сидели рядомъ. Ихъ могла успокоить только взаимная близость, и уже одна эта близость успокоивала ихъ вполит: не нужно было взоровъ, словъ, движеній, прикосновеній; для нихъ было достаточно быть вмъстъ. Тогда это не были два человъка, а одно лицо, исполненное совершеннаго довольства, согласія съ собой и съ окружающимъ. Мало того, еслибъ одного изъ нихъ удерживали на одномъ концъ дома, то другой постепенно, самъ по себъ, безъ намъренія сталь бы къ нему подвигаться». Такого рода магнитизмъ не подтверждается действительностью и наукой, это фантастическія предположенія поэта. Вы видите, какъ легко можно унестись на волнахъ фантазіи отъ виолив раціональнаго принципа въ область непонятныхъ мистических толкованій. Таким мистицизмом проникнута была модная въ то время натурфилософія Шеллинга....

Отбросивъ странныя формы, въ которыхъ изображенъ у Гёте этотъ мотивъ, мы сведемъ его на страстное болѣзненное влеченіе Оттиліи и Эдуарда и на глубокую страсть капитана и Шарлогты. Въ натурахъ, въ наклонностяхъ, въ стремленіяхъ, въ характерахъ этихъ двухъ паръ много сходнаго, и это служитъ сильнымъ стимуломъ къ взаимному сближенію.

2) Въ то время какъ Гёте писалъ свои Wahlverwandtschaften, онъ твердо держался принципа ненарушимости, нерасторгаемости брачныхъ отношеній. Онъ уже давно отрѣшился отъ того пылкаго юношескаго задора, съ которымъ нѣкогда авторъ Вертера, вождь кружка мятежныхъ геніевъ, громилъ общественные институты и преданія и гордо несъ знамя индивидуализма. Гёте сталъ старше и спокойнѣе. Онъ пришелъ къ сознанію о необходимости ограничивать субъективные порывы и готовъ былъ склоняться передъ господствующими учрежденіями. Романтическія теоріи, освящавшія во имя какихъ-то выстихъ правъ фантазіи самыя дикія и своевольныя выходки личности, провозглашавшія безграничную распущенность индивидуума, сильно раздражали и сердили шестидесятилѣтняго поэта. Подчасъ онъ даже стыдился прежнихъ своихъ идеаловъ, ему какъ-то совѣстно было вспоминать о своихъ подвигахъ семидесятыхъ годовъ въ голубомъ вертеровскомъ фракѣ бурнаго генія. —Воззрѣнія первыхъ романтиковъ

на брачныя отношенія очень характеристичны. Съ понятіемъ романтизма мы обыкновенно соединяемъ представление о консервативномъ и реакціонномъ направленіи, которое вторило обскурантнымъ тенденціями правительствъ. Таковъ действительно былъ характеръ поздивишаго романтизма — втораго и третьяго десятилътія XIX въка, когда европейская реакція находила въ немъ върнаго помощника своимъ темнымъ стремленіямъ. Но въ эпоху своего зарожденія романтическое направленіе выражалось нёсколько въ иныхъ формахъ. Постоянною его чертою быль мистицизмь, культь чувства и личной фантазіи. Жо сначала этотъ мистицизмъ опирался на отрицание всякихъ правильныхъ установленныхъ общественныхъ отношеній, всякой прозы. Прежде чемъ сделаться ревностными приверженцами католичества и среднихъ въковъ, романтики ополчались противъ существующихъ институтовъ вообще во имя безграничныхъ правъ лица, во имя чистаго культа, отръшеннаго отъ жизни искусства, и въ числъ этихъ институтовъ отрицали бракъ. Теологъ романтики — проповъдникъ Шлейермахеръ въ это время находить напримъръ возможнымъ бракъ à quatre, какъ онъ самъ выражается, и говоритъ, что истинному брачному союзу должны предшествовать разнообразные опыты: изъ трехъ, четырехъ супружескихъ паръ — говорить онъ — можно при посредствъ обмъна женъ и мужей образовать очень хорошія брачныя комбинаціи. Я привожу вамъ это въ примъръ тъхъ курьезныхъ отношений къ браку, которыя проповедовали первые романтики. Въ этихъ теоріяхъ не следуеть ни въ какомъ случае видеть попытку разумно уяснить значеніе и сущность брачнаго института, не следуеть видеть серьезнаго стремленія преобразовать существующія брачныя отношенія, указать на изъяны и недостатки ихъ организаціи. Это не болье какъ фантастическія приложенія общихъ началь романтизма, его грезъ объ индивидуальной свободь, его пренебреженія всяких общественных в отношеній — къ институціи брака. Бракъ для романтиковъ представлялся тормазомъ личнаго произвола, субъективной распущенности, тормазомъ артистической свободы. Бракъ, какъ и положительную религію, какъ и науку, какъ и государственныя отношенія и всякія общественныя связи, следовало, по мненію романтиковъ, разрешить въ искусство, въ поэзію, т. е. подчинить игръ личнаго чувства, фантазін, индивидуальному произволу.-И воть, какъ бы на зло этимъ распущеннымъ баловнямъ, Гёте является въ своемъ романъ защитникомъ ненарушимости, постоянства, безусловности брачныхъ отношеній.

Припомните, что когда Гёте изображалъ отношенія Вертера къ Шардотгъ, всъ симпатіи его были на сторонъ Вертера, на сторонъ любовника; мужъ — Альбертъ — личность, отталкивающая отъ себя читателя, проповъдывающая избитыя моральныя изреченія, ходячую бюргерскую доктрину; положенія Альберта съ блескомъ разбиваетъ Вертеръ. Въ Wahlverwandtschaften мы видимъ другое. Авторъ относится съ большимъ расположениемъ въ тъмъ лицамъ, которыя стоятъ за бракъ, которыя противятся разводу во имя идеи нерушимаго супружескаго союза, т. е. къ капитану, Шарлоттъ и Оттиліи; между тъмъ Эдуардъ представляется слабой, безхарактерной, пустой личностью, безъ твердыхъ убъжденій, безъ серьезнаго нравственнаго направленія. «Ты долженъ почитать брачный союзъ», говорить одно изъ действующихъ лицъ романа; «ты долженъ радоваться, взирая на любящихъ другъ друга супруговъ и сочувствовать ихъ счастью. Если отношенія отуманятся, ты долженъ стараться объ ихъ просвътлъніи; стремись умиротворить, успоконть ихъ, представить имъ взаимныя выгоды и указать на то, какое блаженство истекаетъ изъ исполненія всякаго долга». Въ этихъ словахъ изображается отношение къ вопросу самого поэта.

Таковы два мотива, на которыхъ построенъ ромапъ. Съ одной стороны—страстныя природныя влеченія, съ другой—идея святости брака. Я попытался объяснить вамъ историческій смыслъ этихъ двухъ элементовъ: 1) зависимость теоріи о непосредственной симпатіи, о сродствъ душъ, отъ натурфилософскихъ фантазій поэта, 2) его воззрънія на бракъ въ связи съ общимъ характеромъ его тенденціи въ зръломъ возрастъ и въ противоположность къ ученію романтиковъ. Таковы были вліянія, подъ которыми сложился романъ.

Теперь, оставивъ эти темы, взглянемъ на катастрофу и попытаемся распознать въ романъ отблескъ современной ему дъйствительности.

Дъйствіе происходить въ семью, въ частномъ быть нъмецкаго барона, въ его «дворянскомъ гнъздъ». На поэтической сцень люди богатые, сытые, которые могутъ жить во все свое удовольствіе, и при этомъ люди правдные, далекіе отъ общечеловическихъ интересовъ, какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ. Серьезно они ничъмъ не занимаются: они только проводять время. Они ухищряются разбивать новыя мъста для прогулокъ въ паркъ, устраивать аллеи и павильоны,

они пишутъ и старательно обработываютъ свои дневники и путевыя заниски, играють черезъ пень-колоду дуэты, организують домашнія празднества. Насъ поражаетъ отсутствіе общих элементов въ этой жизни: ее не освъжаетъ въяніе духа научнаго или общественнаго. Этотъ ньмецкій адмокъ начала XIX стольтія, этотъ праздный быть ньмецкихъ аристократовъ невольно наноминаетъ намъ бытовыя картинки тургеневскихъ романовъ. Эта замкнутая, обезпеченная, сытая помъщичья обстановка — удобная почва для развитія личныхъ страстей. Если вы прибавите къ этому, что лица уже одблены отъ природы воспріимчивыми, нервными темпераментами, какъ Эдуардъ, и слегка, поверхностно. тронуты кой-какимъ безпорядочнымъ чтеніемъ, фриводынымъ образованіемъ, которое не могло благотворно подвиствовать на ихъ умственныя способности, а между темъ возбудило силы воображенія, то для васъ будетъ ясно, какъ удобно при подобныхъ условіяхъ зарождаются страсти; какъ безпрепятственно они развиваются, не встръчая сопротивленія въ слаборазвитыхъ умственныхъ и нравственныхъ силахъ, до какихъ страшныхъ размъровъ достигаютъ онъ, подогръваемыя бездёльемъ и прихотливыми привычками. Однимъ словомъ, это настоящая арена для такъ называемой безумной несчастной любви. На любви сосредоточиваются всъ силы организма, погруженнаго въ интеллектуальную дремоту, силы, которыя не находять инаго выхода и инаго приложенія. При такой обстановкі любовь можеть сділаться гигантскимъ факторомъ, который всецёло завладёваетъ человёческимъ существомъ.

По этому случаю я позволяю себѣ высказать два соображенія относительно роли любви въ различные историческіе періоды человѣчества: 1) крайнее развитіе личныхъ страстей въ членахъ извѣстнаго общества сопутствуетъ бѣдности общихъ интересовъ и задачъ; 2) оно выдастся особенно рельефно въ лирическихъ или субъективныхъ періодахъ человѣчества, въ эпоху разложенія общихъ бытовыхъ началъ (теоретическихъ и практическихъ). Къ этимъ періодамъ относятся презимущественно вычурныя и изысканныя формы и толкованія этого чувства, эротическія теоріи и эпидеміи влюбляться. Въ примѣръ я укажу на разсматриваемый нами періодъ, затѣмъ на эпоху средневѣковой лирики и разложенія рыцарства,—на время миннезенгеровъ (пѣвцовъ любви) и соигя d'amour, наконецъ на послѣднія столѣтія древняго міра,— на поэтовъ императорскаго Рима (Овидій «Искусство любить»,

Катуллъ, Тибуллъ и др.). Этотъ вопросъ настолько интересенъ, что я не могъ не обратить на него вашего вниманія....

Въ этомъ темномъ царствъ личныхъ страстей, которое изображается въ романт Гёте, мы встртчаемся съ одной личностью, которая стоить какъ бы особнякомъ и вноситъ въ него лучъ свъта. Это архитекторъ, занимающійся въ усадьбѣ барона. Надъ нимъ не властвуютъ мятежныя страсти, онъ защищенъ отъ ихъ губительнаго вънія. «Личность архитектора», говорить Сольгерь, разсматривая Wahlverwandtschaften, «такъ прекрасна для насъ не потому, что она свободна отъ тъхъ заблужденій и столкновеній, жертвою которыхъ гибнутъ другіе характеры, а потому, что она и не можеттъ увлечься подобными заблужденіями». И это оттого, что архитекторънеловъкъ съ общими задачами и интересами, это человъкъ идеи; для него есть вопросы, которые дороже прихотливой игры личныхъ страстей, которые всегда уберегуть, сохранять его отъ болотной тины субъективныхъ порывовъ и частныхъ интригъ. Онъ серьезно относится въ своему дълу-къ искусству. Въ формъ этого теоретического интереса къ искусству пропикаетъ въ Германіи начала нынвшняго стольтія общее въ темень частныхъ дрязгъ и узкихъ интересовъ. Я завершу обзоръ романа Гёте нъсколькими красноръчивыми замъчаніями автора статьи «По поводу одной драмы»: «....Закулисная вина несчастія этихъ людей-таснота и неестественная для человака жизнь праздности, преступное отчуждение отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человъческому внъ ихъ тъснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Еслибъ человпиность ихъ не ограничилась первой ступенью, т. е. семейной жизнью, - катастрофы этой конечно не было бы.... Ихъ жизнь была бъдная жизнь въ сферъ частной любви, выхода не имъла и при неудачь лопнула.... Любовь-одинъ моменть, а не вся жизнь человъка; дюбовь вънчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи, но за исключительною личностью есть великія области, которымъ также принадлежить человъкъ, и въ которыхъ его личность, не переставая быть дичностью, теряетъ свою исключительность. Сравните Эдуарда съ широкоразвернутыми людьми, у которыхъ субъективному кесарю отдана богатая доля, но и доля общечеловъческая не забыта; сравните его съ Карломъ Моромъ, съ Максомъ, съ архитекторомъ. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила,

не всосада въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отръзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ, они внесли все одушевление ея, весь пламень ея въ эти области и, наоборотъ, ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Оттого любовь ихъ—счастлива или нътъ—но не вырождается въ помъщательство. Человъкъ долженъ развиться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ частномъ мірѣ, онъ надъваетъ витайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на негахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цъли, ведетъ къ страданіямъ? Самыя эти страданія—громкій голосъ, напоминающій, что человъкъ сбился съ дороги.»—Этотъ голосъ вернулъ самого Гёте отъ страсти его къ Миннъ Герцлибъ къ общимъ вопросамъ, къ дъятельности научной и художественной.

Много судили и рядили нѣмецкіе критики о второй части «Фауста». Надъ ней съ особеннымъ усердіемъ изощряли свои діалектическія наклонности гегеліанцы: они толковали аллегоріи и символы поэмы, рыскали по ней за всякими идеями и системами, вносили въ нее свои метафизическія бредни, умствовали, фантазировали. Вторая часть ставилась выше первой: ее паходили глубже, потому что она была темнѣе; ее находили серьезнѣе, потому что она была отвлеченнѣе. Нѣмецкимъ метафизикамъ XIX вѣка особенно любо было то, что надъ второй частью можно было въ сласть предаваться всякому кабинетному глубокомыслію, всякимъ схоластическимъ хитросплетеніямъ. Она поддавалась самому разнообразному комментарію, и ни одинъ комментарій не могь ее достаточно выяснить....

Вторая часть «Фауста» — произведение старческое. Правда, одинъ эпизодъ ей (объ Еленъ) былъ набросанъ еще въ 1800 г., во время дружбы поэта съ Шиллеромъ, въ эпоху ихъ эллинистическаго культа. Затъмъ — остальная поэма создана была въ послъдние годы жизни Гёте, между 1824 и 1831 г. Она была напечатана въ годъ его смерти. Во второй части Фауста Гете выводитъ своего героя на поприще практической дъятельности: онъ играетъ роль при дворъ императора, оказываетъ ему различныя услуги, увеселяетъ его, пріобрътаетъ его довъріе, побъждаетъ съ помощью Мефистофеля непріятеля и получаетъ отъ императора въ ленное владъніе обширную береговую полосу. Въ этихъ владъніяхъ Фаустъ предается кипучей дъятельности, строитъ

плотины, прорываеть каналы. Онъ достигаеть глубокой старости и можеть наконець сказать, что теперь среди своихъ неутомимыхъ занятій онъ наслаждается высшимъ мгновеніемъ своей жизни. Туть онъ умираеть. Но Мефистофель не имъеть власти надъ Фаустомъ, который своей дъятельностью и своими глубокими стремленіями къ истинъ заслужилъ блаженство; ангелы возносять къ небесамъ его душу. Такимъ образомъ во второй части обнаруживается идея необходимости ограничить неопредъленные порывы и стремленія къ абсолютному и сосредоточить свои силы на общеполезной дъятельности, — на дъятельности среди общества. Это та же идея, которая сквозить и въ «Годахъ Странствія Вильгельма Мейстера», гдъ точно также прежніе идеалисты и титаны палагають на себя объть отреченія и становятся общественными дъятелями.

Въ пятомъ дъйствіи Фаустъ слъдующимъ образомъ подводитъ итогъ къ имъ пережитому и передуманному: «....изъ житейскихъ бурь я пришелъ къ благоразумію и спокойствію. Я хорошо ознакомился съ кругомъ земной жизни, простирать виды далье — для насъ прегражденъ путь. Глупъ тотъ, кто прищуривалсь устремляетъ туда свои взоры и расписываетъ себъ за облаками аналогіи земнымъ образамъ-Стой эдпсь твердо на ногахъ, эдпсь озирайся кругомъ. Этотъ міръ полонъ интереса для честнаго дъятельнаго человъка и отзовется на его стремленіяхъ. Зачёмъ гадать ему о вёчности? Пусть держится онъ видимаго, осязаемаго, пусть идетъ на землъ по земному; пусть опъ безостановочно стремится впередъ, и въ этомъ прогрессъ онъ найдеть для себя какъ муку, такъ и счастье». Такъ пришелъ Фаустъ во второй части отъ бользненныхъ стремленій къ абсолютному, отъ мучительныхъ гаданій о кантовскихъ нуменахъ къ сознанію границъ своей роли: онъ спустился въ нашъ человъческій — научный и житейскій міръ явленій — феноменовъ.

Указывая вамъ на эту основную идею второй части Фауста, которая сама по себъ, безъ труда, представляется каждому читателю, для сознанія которой не нужно ни филологическихъ походовъ на текстъ памятника, ни мучительныхъ метафизическихъ упражненій въего истолковываніи, я вмъстъ съ тъмъ отказываюсь разсматривать въ подробностяхъ вторую часть поэмы Гёте. Развитіе элементовъ этого произведенія, его художественная организація для насъ непонятны. Это рядъ туманныхъ аллегорическихъ эпизодовъ, въ которыхъ нѣтъ поэти-

ческой плоти и крови. Вы теряетесь въ догадкахъ, вы становитесь втупикъ, читая, напримъръ, классическую вальпургіеву ночь, помъщенную во II части, или изображение маскарада. Къ чему всв эти аллегоріи, эти ходячія формулы, эти безжизненныя куклы? — Очевидно паденіе творческой силы поэта. Онъ уже не въ состояніи дать живыхъ образовъ, онъ утратилъ способность индивидуализировать дъйствующія лица, сообщать имъ живые оттенки, природныя движенія, яркія естественныя краски. Защитники второй части указывають на глубину ея идей и засыпають вась тотчась же ворохомъ всякихъ отвлеченій, набранныхъ изъ поэмы. Но идеи должны же быть понятны, онъ должны намъ бить въ глаза, должны воплощаться передъ нами въ образы. Между темъ эти мнимыя идеи второй части каждый объясняетъ по-своему: поэтъ писалъ такъ темно, что давалъ возможность самымъ произвольнымъ толкованіямъ. Тѣ полные жизни образы Фауста, Мефистофеля, Вагнера, которые мы встрътили въ первой части, обратились въ какіе-то мертвые маннекены. На мъсто Гретхенъ является классическая Елена, съ которой соединяется бракомъ Фаустъ (символъ его общенія съ классической древностью), и Льюисъ справедливо замъчаетъ, что одинъ попълуй Гретхенъ стоитъ тысячи Еленъ. Это не поэтическій образъ, а аллегорическое чудище.

Вторая часть Фауста не могла выйти удачной уже по причинамъ, не зависъвшимъ отъ личности поэта. Въ этомъ продолжении Фауста очевидно должна быть развязка, долженъ быть результать, на которомъ остановился бы въ своихъ стремленіяхъ герой первой части, иначе-вторая часть должна быть отвётомъ на первую, въ которой Фаустъ исчезаетъ для насъ со сцены и заставляетъ насъ невольно задать вопросъ: что-же далее? что-же делать, где-же выходъ? Въ этомъ смыслѣ Гёте уже давно сознавалъ необходимость второй части,--еще тогда, когда онъ быль во цвъть льть и не утратиль творческой силы. Онъ уже давно лелвялъ мысль изобразить примирение своего героя съ жизнью, примиреніе, къ которому пришель самъ поэтъ благодаря извъстнымъ специфическимъ условіямъ своей личности и обстановки. И однако онъ все откладывалъ исполнение своего плана, онъ видимо не зналъ, какъ за него взяться, на чемъ, на какихъ началахъ, на какихъ твердыхъ незыблемыхъ основахъ успокоить своего героя. Дело въ томъ, что это желанное примирение не состоялось еще въ современномо ему человъкъ. Если самъ Гёте силою своего

генія пришель къ гармоническому реальному міровозарьнію, то современныя ему покольнія отстали отъ него. Когда писалась вторан часть Фауста, общество зачитывалось Байрономъ, и на литературное поприще выступиль еще новый скорбный поэть съ могучимъ талантомъ, поэтъ-софистъ, Генрихъ Гейне. Въ самой дъйствительности не было типа, преемственнаго Фаусту первой части. Въ ясныхъ чертахъ этотъ типъ не обрисовался еще до сихъ поръ, мм. гг., многіе изъ людей мысли нашего времени переживають еще фаустовскія муки, а нъкоторые еще гибнутъ ихъ жертвою. Такимъ образомъ, сама дъйствительность не могла дать Гёте художественнаго матеріала для второй части Фауста, она не могла дать отвътъ на вопросъ, поставленный первой частью: гдъ-же спасенье? — Еслибъ даже въ Гёте и не ослабела его творческая способность, личность втораго Фауста должна была выйти бледною, неясною. Новые типы еще не созреди въ самомъ обществъ. Попытка создать образъ человъка новаго, закала трезваго, реальнаго, который не мучился бы разладомъ міровоззрѣнія, а выработаль бы себь строгое научное отношение къ окружающему, -- такая попытка не могла увънчаться усибхомъ. Она могла въ то время привести развъ къ изображению (въ противоположность идеальной личности Фауста) мелкаго бюргерскаго типа, лишеннаго фиктивных идеаловъ, за неимъніемъ какихъ бы то ни было идеаловъ вообще, -- другими словами: какихъ бы то ни было общих теоретических стремленій. И воть личность втораго Фауста действительно выходить у Гёте въ извъстномъ отношеніи мелочна и буржуазна. Для принципа, который проводится во второй части, еще не находится воплощенія въ дъйствительности; потому и поэтическое олицетвореніе этого принципа исполнено страниостей и тумана. Фаусть не находить себъ лучшаго дъла, какъ копать канавы и строить плотины. Это смахиваеть на то, какъ въ «Годахъ Странствія Вильгельма Мейстера» герои обращаются въ канцелярскихъ скорописцевъ и берейторовъ. Такимъ образомъ приходилось невольно изображать чаянія новаго періода въ символическихъ образахъ, въ аллегоріяхъ, въ туманныхъ очертаніяхъ, какъ во второмъ Фаустъ и въ Wanderjahre, или схватить только отрицательную сторону новаго міровоззрівнія и сділать носителемь ее безплотнаго духа, какъ это сдълалъ Гёте въ своемъ Мефистофелъ первой части. Итакъ. тотъ новый типъ, который могь бы явиться на смену метафизикаскорбника, новый типъ общественнаго дъятеля -- реалиста, который могъ

бы стать преемникомъ Фауста, въ началъ нынъшняго столътія еще не опредълился въ самомъ обществъ.

Мудрено было писать вторую часть Фауста. Гёте только указаль на новую фазу, на тоть общій характеръ, которымъ будуть отмѣчены представители новыхъ отношеній, но яснаго живаго изображенія этого типа онъ не моть представить.

Затъмъ, какъ я уже сказалъ, вторая часть Фауста — старческое произведение, и на немъ обнаруживаются всѣ признаки паденія поэтической способности. Мив кажется даже сомнительнымь, чтобъ самъ старикъ Гёте понималъ всъ тъ намеки и символы, которыми онъ наводниль свое произведение. Въ последние годы своей жизни онъ особенно вдался въ таинственность, любилъ мистификацію. Его даже забавляло то обстоятельство, что публика вопросительно относилась къ его поздивнимъ произведеніямъ, не могла ихъ понимать. Старивъ вносиль въ свои сочиненія самый разнообразный матеріаль: философскій, научный, литературный, газетный, полемическій, вносиль его безь связи и иногда безъ смысла. Разобрать всю эту литературную амальгаму нътъ возможности, да и не представляетъ интереса. Скучно слъдить за этими вычурными комбинаціями ослабъвшаго воображенія. При всемъ уваженій къ основной идет произведенія приходится махнуть рукой на его составныя части. Самъ Гёте затруднялся разъяснять подробности своего творенія, которое онъ называль инкомменсурабельнымъ.

Однажды въ 1830 г. Гёте читалъ Эккерману ту сцену, въ которой Фаустъ отправляется къ матерямъ, къ таинственнымъ существамъ, обитающимъ въ нѣдрахъ земли, при помощи которыхъ Фаустъ надѣется вызвать Елену. Эккерманъ, при всемъ своемъ стараніи, не понималъ смысла сцены и просилъ у поэта объясненія. «На это, Гёте», разсказываетъ Эккерманъ, «по своему обыкновенію таинственно посмотрѣлъ на меня своими большими глазами и повторилъ стихъ:

Die Mütter, Mütter! s'klingt so wunderlich!

Я могу открыть вамъ только то, прибавиль онъ, что я прочиталь у Плутарха о нѣкихъ матеряхъ, богиняхъ, извѣстныхъ Греціи. Это все, что я заимствоваль изъ источника, остальное мое собственное измышленіе. Возьмите рукопись, проштудируйте все какъ слѣдуеть и посмотрите, какъ то вы себѣ это растолкуете». Эккермань дѣйствительно принялся за работу и наплель себѣ въ разъясне-

ніе какую-те непонятную чепуху. Вотъ вамъ образчикъ тьмы, которою облечена вторая часть Фауста, и которую самъ Гёте преднамъренно напускалъ на свое произведеніе. По поводу этихъ загадочныхъ матерей замѣчу, что гегеліанцы объясняли ихъ категоріями своей логики, другіе комментаторы видѣли въ нихъ идеи Платона, — перво образы всего существующаго. Этой сценой между прочимъ восхищался нашъ Бѣлинскій, увлеченный московскими гегеліанцами сороковыхъ годовъ...

При мысли о «Фауств» намъ всегда должна представляться первая часть поэмы, которую справедливо можно назвать эпопеей новаго человъчества, Божественной Комедіей новой исторіи въ pendant къ католической средневъковой поэмъ Данта. Вторая часть стоить особнякомъ. Мы можемъ съ почтеніемъ относиться къ верховной идеъ, руководящей произведеніемъ, но для того, чтобъ наслаждаться его подробностями и благоговъть передъ всъми его символами, гаданіями, аллегоріями, нужно быть отчаяннымъ гётоманомъ или пройти тяжкій искусъ гегеліанства и выработать въ себъ особенное пристрастіе ко всему темному, призрачному, бездонному и поднебесному, для того, чтобъ потомъ всякими правдами и неправдами, вкривь и вкось, утъщаться якобы разоблаченіемъ этой темени, разръшеніемъ этихъ неясностей и артистическимъ сниманіемъ (Aufhebung) противоръчій путемъ праздныхъ діалектическихъ умствованій.

Въ послъдніе годы своей жизни Гёте сильно интересовался общеевропейской литературой. Онъ постоянно слъдилъ за французскими
журналами, знакомился со всъми выдающимися произведеніями Франціи, Англіи и Италіи, завязывалъ сношенія съ иностранными поэтами
и часто возвращался къ мысли о необходимости міровой литературы
(Weltliteratur), общенія всъхъ цивилизованныхъ націй, ихъ тъснаго
взаимодъйствія на пути культурнаго совершенствованія. Вмъстъ съ
тъмъ творенія самого Гёте проникали за предълы Германіи и получали все болье и болье популярности въ чужихъ странахъ. Одинъ
за другимъ появлялись переводы его произведеній.... Франція особенно
сочувственно относилась къ художественной дъятельности великаго
нъмецкаго поэта, который съ своей стороны такъ высоко ставилъ
литературныя произведенія французскихъ писателей, съ такой любовью
и съ такимъ уваженіемъ относился къ Вольтеру, Мольеру, Дидро,
Беранже и дъятелямъ позднѣйшаго періода. Гёте первый издалъ въ

нъмецкомъ переводъ одно изъ самыхъ замъчательныхъ произведеній Дидро Le neveu de Rameau—по рукописи, которая случайно попала въ его руки въ 1805 году.... Едва ли не самымъ распространеннымъ сочинениемъ Гёте быль Вертеръ, который тёсно связанъ съ настроеніемъ самой эпохи; за нимъ медленно, но глубоко проникалъ въ европейское сознаніе Фаустъ. Мотивы Вертера и Фауста вторили воззрвніямъ всей образованной Европы того времени: вместе съ поэмами Байрона они были самымъ полнымъ отраженіемъ идей, задачъ и стремленій цивилизованнаго человічества той эпохи. На пессимистическій тонъ Вертера и Фауста была настроена вся литература временъ реакціи: онъ звучалъ въ романахъ и поэмахъ французской романтической школы, въ скорбной лирикъ итальянскихъ поэтовъ, находилъ отголоски въ Иснаніи, охватилъ поэзію Мицкевича, вошелъ значительнымъ элементомъ въ первыя произведенія Пушкина и сдівлался основной стихіей всей художественной дізтельности нашего великаго поэта—нашего русскаго Байрона—Лермонтова. Все это общеевропейское литературное направленіе, вся эта міровая литература, проникнутая такою же міровою скорбью, группируется около Гётева Фауста, какъ около величайшаго поэтическаго творенія новаго времени, въ которомъ раздатающееся міровозэрвніе новаго историческаго періода отражается съ наибольшей чистотой, въ своихъ основныхъ наиболье выдающихся элементахъ, въ наиболте строгой теоретической формъ. Фаустовское «Und sehe, dass wir nichts wissen können», можетъ служить эпиграфомъ ко всёмъ крупнымъ произведеніямъ того времени. Такъ является Гёте универсильными, общеевропейскимъ ноэтомъ. Нъмецъ виденъ въ немъ, но гораздо менъе, чъмъ въ Шиллеръ, и вотъ почему Гёте имълъ несравненно болъе Шиллера значенія въ европейской литературъ.

Въ свою очередь Шиллеръ остается истинымъ нъмецкимъ національнымъ поэтомъ, котораго твердятъ вст нъмцы отъ мала до велика, который вторитъ гораздо болъе, чъмъ Гёте, специфическимъ германскимъ національнымъ элементамъ. Если въ великихъ твореніяхъ Гёте воплотились общеевропейскія тенденціи, если въ нихъ отразилась та общая болюзнь истины, которой охвачены были цивилизованныя покольнія того времени, если въ нихъ обнаружился душевный кризисъ и непримиримое раздвоеніе между началами преданія и критики, между старымъ и новымъ, между върой и знаніемъ, которымъ мучилось человъчество при переходъ изъ юности въ зрълые годы, — то въ произведеніяхъ Шиллера обозначились главнымъ образомъ спеціальныя психологическія черты нъмецкаго общества, — то состояніе, въ которомъ оно искало выхода изъ душевнаго разлада, т. е. нюмецкій идеализмъ, полпое слъпое отчужденіе отъ міра дъйствительности, блаженное витаніе въ области призраковъ и идеаловъ, стремленіе забыть все внъщнее, отречься отъ него, сосредоточиться всецъю на мечтъ, на абстракціи.

Принципъ природы, ея нерушимыхъ законовъ, ея спокойнаго мърнато теченія, жельзной необходимости ел отправленій — наполняеть поэзію Гёте. Съ этимъ принципомъ борятся его Вертеры и Фаусты, которые не могутъ доработаться до сознанія своей природной ограниченности, своей зависимости отъ окружающаго его міра, которые хотять во что бы то ни стало убъдиться въ противоположномъ, --- въ своей личной мощи, въ своей духовной самостоятельности, въ способности сопротивляться силою собственной личности незыблемымъ гранитнымъ законамъ всего существующаго. Они съ прискорбіемъ смотрять на то, какъ этотъ вившній міровой порядокъ, какъ эта міровая кутерьма («das irdische Gewühl») ставить предълы ихъ порывамъ, какъ эта враждебная матерія, этоть fremder Stoff пятнаеть, теснить ихъ гордые замыслы и не даеть имъ простора. Этоть принципъ природы и необходимости, это начало реализма быеты ключемы вы произведенияхы Гете и свидътельствуетъ свое превосходство надъ титаническими замыслами героевъ. И мы видъли, какъ въ его последнихъ сочиненіяхъ, во второмъ Фаустъ и въ Годахъ Странствія Мейстера, передъ этимъ принципомъ склоняють свою выю прежніе прометеи, признають его и направляють свою діятельность на области, доступныя ихъ человоческимо силамъ. Природа, внѣшній міръ, обстановка (а къ обстановкѣ принадлежить и общество) заставляють наконець лицо сознаться въ томъ, что и оно не болъе какъ частица этой природы, какъ мелкій элементь ея, какъ одинъ изъ ея разнообразныхъ продуктовъ.... У Шиллера напротивъ — принципъ свободы духа, духовной иниціативы. Шиллеръ стоитъ на старой метафизической точкъ зрънія. Онъ признаетъ самостоятельность и свободу человъческой воли. Онъ закрываетъ глаза на внёшній міръ, онъ не хочеть слышать критическаго голоса. Для того, чтобъ не слышать его, и для того, чтобъ не видать тягостную общественную обстановку, онъ отворачивается отъ нея, -- отъ Германіи,

отъ дъйствительности вообще, и сосредоточивается на себъ, ухватывается за начало своей духовной независимости, своей внутренней свободы. Замъчательно, что Шиллеръ главнымъ образомъ писатель драматическій, между тъмъ, какъ Гёте болье эпикъ и лирикъ. Драма-та литературная форма, въ которой наиболье играеть роль мицо, его якобы свободная воля и идея долга, дъйствовать сообразно съ которой вивняется лицу въ нравственную обяванность. Гёте не могъ никогда ужиться съ рамками драмы. Драма требовала отъ него законченности, сжатости, большей или меньшей простоты въ действіи, завязке и развлакъ; драма изображаетъ лицо въ ръщительную минуту его жизни. Это тъснило Гете. Онъ видълъ, что обыкновенно въ дъйствительности все гораздо сложные, онъ усматриваль всюду воздъйствіе обстановки, онъ слёдилъ за постепеннымъ развитіемъ, за генезисомъ извёстныхъ фактовъ; онъ избъгалъ ръзкой строго ограниченной формы, потому что въ дъйствительности взоръ его всюду находилъ сложныя запутанныя связи, отношенія, видоизміненія, взаимодійствіе самыхъ разнообразныхъ силь и факторовъ. Всв эти сложныя комбинаціи двиствительности нельзя переливать въ драматическую форму, для которой нуженъ опредъленный рашительный моменть. разкій внезапный обороть дайствія.... Потому-то и драмы Гёте выходять всегда слабыми съ технической стороны: это скорбе драмативированные разсказы, бытовыя картины, втиснутыя въ рамки драмы, это высоко-художественные діалоги и сцены, между которыми часто нътъ драматическихъ отношеній; въ нихъ нътъ тъхъ трагическихъ уздовъ и эффектныхъ конфликтовъ, которые вънчаютъ успъхомъ драматическія произведенія.... Гёте глубже смотрълъ на жизнь; его интересовали не только подмостки, но и закулисныя происшествія и вся бытовая атмосфера. Всябдствіе этого глубокаго взгляда на людскія отношенія, на ихъ многочисленныя пружины, связи и условія, на ихъ вависимость отъ обстановки, отъ одновременнаго и предыдущаго, — Гёте не могъ изображать героевт въ томъ смысль, въ какомъ обыкновенно употребляется это слово. Ему не удавались эти всесильныя, общія, однообразныя личности одного сколка, одной масти. Для него непонятны тъ образцовые добродътельные люди и тъ черные какъ смоль демоны-злодъи, которыхъ мы массами встръчаемъ въ драматическихъ произведеніяхъ-и даже у Шекспира. Гёте заглядываль дальше. Для него человекь быль продуктомь очень сложныхъ и разнообразныхъ вліяній, занимательное существо, на которое

онъ смотрълъ съ самыхъ различныхъ сторонъ его бытія, за которымъ онъ следиль въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ его натуры. Припомните мастерское исихологическое изображение Вертера, монологи и сцены Фауста, образы Эгмонта, Клерхенъ, Филины. Это — созданія великаго художника реалиста, которому герои правда не удаются, зато удается нѣчто большее: у него выходять живые люди. И воть въ этомъ отношеніи Гёте стоить опять въ тъсной связи съ новымъ общеевропейскимъ литературнымъ направленіемъ, которое въ воспроизведеніи дійствительности стремится къ большей правдь, отчетливости и (позволю себъ прибавить вмъсть съ французскими критиками Сентъ-Бёвомъ и Тэномъ) къ большей научности... Напротивъ у Шиллера мы на каждомъ шагу встръчаемъ эти сплотныя героическія личности, расписанныя широкими штрихами, изображенныя въ самыхъ общихъ очертаніяхъ. Маркизъ Поза--- личность симпатичная, говоритъ все прекрасныя вещи; но затёмъ, въ конце концовъ, это все-таки ходульный герой, блёдное воплощение идеи гуманности. Неудивительно, что мы, избалованные нашимъ новымъ литературнымъ направленіемъ, этваемъ надъ Донъ Карлосомъ и Валленштейномъ. Въ параллель общимъ научнымъ стремленіямъ нашего времени, въсвязи съ нашимъ научнымъ реальнымъ міровозарѣніемъ наши новые художники силятся быть анатомами, физіологами, историками личности и общества. При этомъ доля героизма въ личностяхъ дъйствительно умаляется, зато изображенія ихъ выигрывають въ жизненной правдъ.

ЛЕКЦІЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Ж. П. Рихтеръ и о «литературномъ» періодѣ.

Оба влемента произведеній Ж. Поля. — Юморъ. — Отношеніе къ литературной формъ.—«Титанъ». — Идиллін. — Манія патріархальности. — Аналогіи Гётева періода и 30-хъ—40-хъ годовъ въ Россіи.

Жанъ Поль Рихтеръ принадлежитъ къ числу самыхъ замъчательныхъ современниковъ Гёте и Шиллера. Въ его произведеніяхъ ярко отражаются объ противоположности нъмецкой дъйствительности того

времени: стремленіе въ поднебесныя сферы недостижимыхъ идеаловъ н печальное прозябание въ тесной замкнутой обстановке бюргерскаго быта. Онъ рисуеть либо прометеевъ и фаустовъ, которымъ пътъ мъста въ этомъ міръ, которые не могуть успоконться и остановиться ни на какихъ реальныхъ задачахъ, ни на какой «прозъ», которые стремятся все выше и выше-за предълы человъческихъ способностей,либо ограниченныхъ, самодовольныхъ, блаженныхъ обитателей провинціальных трущобь, школьных учителей и сельских пасторовь, которые, забившись въ теплые углы своихъ уютныхъ норъ, находять полное удовлетвореніе для своихъ прихотливыхъ желаній въ безмятежномъ кругъ частнаго семейнаго быта. Жанъ Поль — поэтъ титановъ и пигмеевъ. Онъ то поднимается въ высь за облака, откуда ему весь міръ представляется, по его собственному выраженію, детскимъ садикомъ, то спускается въ самый садикъ и свиваетъ себъ въ немъ теплое гивадо. Это столкновение двухъ полюсовъ-самыхъ общихъ неопредёленныхъ и туманныхъ ндеаловъ и современной поэту мелкой пошлой действительности—приводить его къ юмору, который и составляеть одно изъ отличительныхъ свойствъ его міровоззрвнія.

Много толковали и писали о различіи сатирическаго и юмористическаго смъха. Происхождениемъ своимъ какъ юморъ, такъ и сатира обязаны критическому отношенію къ д'айствительности. Юморъ обыкновенно называють улыбкой сквозь слезы: юмористъ соверцаетъ дъйствительность, но выраженію нашего Гоголя, сквозь видимый міру смъхъ и незримыя для него слезы. Онъ постоянно ощущаетъ разногласіе между темъ, что существуеть на самомъ деле, и идеалами, которые онъ составиль себъ о существующемъ, между тъмъ, что есть и темъ, что должно быть, и глубоко скорбитъ объ этомъ разногласіи. Въ его насмъщкъ прорывается печаль по дъйствительности, которая противоръчить идеаламъ, въ ней видно живое сочувствие къ интересамъ человъчества.... Напротивъ того, насмъщка сатирика, какъ говорять теоретики, есть насмъшка человъка болъе равнодушнаго, который спокойно указываеть на зао, на недостатки и изъяны действительности и при этомъ считаетъ себя выше окружающаго, не страдаеть вслудствіе замічаемых имь вь обстановкі уклоненій оть идеаловъ и нормъ. Его смъхъ ръзовъ, холоденъ и безучастенъ. Спокойно изображая смъшныя стороны дъйствительности, онъ самъ держить себя въ сторонъ, особнякомъ, равнодушнымъ эрителемъ. Это оеззвучный хохотъ Мефистофеля. Съ другой стороны юмористъ вноситъ въ свои картины свою личность, свои субъективные порывы, свой внутренній міръ, свою печаль; онъ самъ всегда на лицо въ своихъ произведеніяхъ. Онъ смѣется какъ Гамлетъ въ бесѣдахъ съ Офеліей или съ могильщиками.

Въ связи съ юморомъ Жанъ Поля находится его отношение къ литературной формъ. Личность поэта, его фантастические порывы, его субъективныя грезы и мечты сливаются съ самими произведеніями. Онъ вплетаетъ въ разсказъ самыя разнообразныя мысли, которыя приходять ему въ голову, когда онъ пишеть, онъ всюду прицепляеть свои затъйливыя шутки или чувствительныя изліянія, онъ никогда не въ состояніи отдёлиться отъ создаваемыхъ имъ образовъ, онъ бестдуетъ съ ними, совътуется, смъется. Всюду сквозитъ субъективизмъ, игра художественнымъ матеріаломъ, и не мудрено, что произведеніями Жанъ Поля восторгались романтики, которые видели въ нихъ тъ прихоти и тотъ произволъ фантазіи, который они сами пропов'й довали и вм'єняли въ обязанность поэту. Строгой правильной литературной формы у Жанъ Поля не было: это было бы тормазомъ для его субъективности. Онъ ръшительно не владълъ стихотворнымъ складомъ и даже, когда однажды къ нему пристали съ просьбой написать стихи, онъ прямо отказался и предложиль взамънь этого прозаическій отрывокъ. При этомъ отсутствіи правильной и опредёленной формы, мы замъчаемъ въ сочиненіяхъ Жанъ Поля необыкновенную вычурность и прихотливость какъ въ изложеніи, такъ и въ общемъ построеніи сюжета. Истый представитель литературнаго періода, онъ очень любить писать, ему очень нравится процессъ авторства. Здёсь мы сталкиваемся съ свойствомъ, которое Рихтеръ раздёляетъ съ романтиками. Пренебрегая всякой правильной, общеустановленной формой, они въ то же время придають необыкновенное значеніе всякой оригинальной, субъективной, вычурной формь, которую каждый изъ нихъ создаеть себь на свой ладъ, которую они противополагаютъ общепринятому, въ которой они именно видять верхъ художественнаго совершенства. Потому-то въ произведеніяхъ романтиковъ мы замъчаемъ такое разнообразіе и такую изысканность стихотворныхъ размеровъ; они гоняются за оригинальными формами, пишутъ волшебныя сказки, драмы въ 8 и 10 действіяхъ. Главное для нихъ-безграничная свобода и произволъ поэта, художникъ для

нихъ самъ себъ царь; потому онъ не долженъ ни въ какомъ случаъ серьезно относиться въ содержанію, не долженъ при этомъ также стъсняться казенными формами; его дъло — мечтать, бредить, сумашествовать. Жанъ Поль никогда не доходиль до этихъ геркулесовыхъ столбовъ романтизма; сравнительно съ романтиками въ немъ еще слишкомъ много серьезнаго отношенія къ воспроизводимой действительности. Но мы уже замъчаемъ на его произведеніяхъ эту вычур. пость, эту замысловатость, это искусственное безпутство формы. Онъ очень любить писать и поэтизировать. Разъ взявшись за перо. онъ отдается теченію своихъ представленій, ассоціаціи своихъ грезъ и фантазій и наслаждается своей работой; онъ преднамъренно втискиваетъ въ свои сочиненія разнаго рода лирическія отступленія и постороннія разнышленія. «Я знаю только одну вещь», говорить онъ, «которая еще упонтельные чымь писать: это проектировать сочиненіе». Такъ наслаждался Жанъ Поль литературнымъ процессомъ созиданія и проектированія произведенія, въ которое онъ вносиль, опираясь на теоріи художественнаго произвола, самые разношерстные и разнокалиберные элементы и оживляль ихъ игрою своего юмора. Жанъ Поль придумываетъ иногда для своихъ романовъ особыя дёленія, которыя по большей части объясняются изъ самихъ сочиненій: вмісто обыкновенныхъ главъ и отдёловъ онъ дёлитъ ихъ то на циклы, то на секторы, то на цветки или на ящики съ записками (Zettelkasten). на часы отдохновенія (Ruhestunden).... Я остановился на этомъ отношеніи Жана Поля къ литературной форм' потому, что оно въ высшей степени характеристично для разсматриваемаго нами литературнаго періода. Только въ такой періодъ, только въ подобную эпоху литературы для литературы, писаныя изъ любви въ писанью, могутъ развиваться такія курьезныя отношенія къ литературной формъ, такой интересъ къ литературнымъ манерамъ. Формализмъ сквозить въ самомъ этомъ старательномъ, преднамфренномъ отступленіи отъ формы общепринятой, въ этой погонъ за всякой новой оригинальной литературной одеждой...

Я уже сказаль вамъ, что Жанъ Поль воспроизводиль объ стороны иъмецкой жизни того времени, оба ея элемента, которые онъ самъ переживалъ и выносилъ на своихъ плечахъ. Согласно съ этимъ и романы его распадаются на два отдъла: въ однихъ воплощаются отчаянныя и болъзненныя стремленія въ область идеаловъ, — они по-

строены на мотивахъ Вертера и Фауста; другіе изображаютъ обыденный будничный быть въ узкихъ рамкахъ частной местной жизни. Изъ числа первыхъ сочиненій ярче всего выдъляется «Титанъ», -- таково знаменательное заглавіе романа (или лучше «фаустіады»), изданнаго Жанъ Полемъ отъ 1800 до 1803 г. и который онъ считалъ главнымъ своимъ произведеніемъ. Разсматривать его я не буду, потому что на главныя черты воспроизводимаро здёсь типа я имёль уже не разъ случай вамъ указывать, говоря о Фаустъ и о Байронъ. Это все тотъ же безграничный индивидуализмъ, все то же умственное и нравственное раздвоеніе. Въ «Титань» есть одна очень замычательная личность, которая напоминаетъ намъ фигуры тъхъ пресыщенныхъ жизнью развратныхъ героевъ, наполняющихъ европейскую литературу начала нынтыняго стольтія. Это-Роквайроль, одицетвореніе самаго высокомърнаго и преступнаго индивидуализма и въ то же время безумныхъ артистическихъ тенденцій. Послѣ своихъ преступленій Роквайроль играеть на театръ роль самоубійцы и застръливается на самомъ дълъ передъ всей публикой зрителей. Такимъ образомъ онъ даже оканчиваеть свою жизнь театральнымь эффектомь, тымь отождествленіемь дъйствительности и фантазіи, которое проповъдовали романтики. Въ романъ интересно и то, что въ немъ выведена Жанъ Подемъ въ образь Линды титаническая женщина; черты для этого образа авторь почерпнуль изъ дъйствительности. Рихтеръ быль одно время въ очень тесныхъ сношеніяхъ съ извёстной въ то время титанидой, какъ ее называли, — съ Шарлоттой фонъ Кальбъ, женщиной, копировавшей выходки бурныхъ геніевъ и романтиковъ и пользовавшейся большой популярностью въ нъмецкихъ литературныхъ кружкахъ того времени; въ 80-хъ годахъ въ нее былъ влюбленъ самъ Шиллеръ. Шарлотта фонъ Кальбъ въ высшей степени типическая дичность той эпохи. Жанъ Поль называеть ее «женщиной съ всемогущимъ сердцемъ, съ гранитнымо я (mit einem Felsenich)». «У нея есть двъ большія вещи», пишеть о Шарлоттв нашъ поэть, «большіе глаза, какихъ я еще не видалъ, и большое сердце. Она говоритъ точно такъ, какъ пишетъ Гердеръ въ письмахъ о гуманности.... Можете судить, какъ распространена была въ обществъ того времени титаноманія.

Гораздо выше въ художественномъ отношении второй отдъль романовъ Жанъ Поля — его идиллии. Это замъчательно рельефныя и яркія картины мелкаго нъмецкаго быта (Kleinleben) или, какъ выражается самъ авторъ, «микрологія» нѣмецкой жизни. Здѣсь обнаруживаются во всей силѣ поэтическія дарованія Жанъ Поля и его юморъ.

Вообще, какъ извъстно, нъмецкая нація не имъетъ того природнаго божьяго дара остроумія, которымъ такъ богато надваены французы. Нъмецкая острота обыкновенно тяжела, неповоротлива и можеть потвинать только немца. Притомъ, для того, чтобъ постигнуть ел прелесть, нужно обладать во-первыхъ терптніемъ, заттить-извть-.. стной кабинетной ученостью или по крайней мара имать подъ руками энциклопедическій словарь. Наконецъ, когда острота постигнута, пронадаетъ всякая охота сибяться. Во французской шуткв пленяетъ именно ея понятность, ея естественность и летучая форма. Въ сочиненіяхъ Жанъ Поля постоянно встречаешься съ германскимъ остроумісмъ, которое очень скоро становится положительно невыносимымъ. Его шутки такъ сложны, такъ запутаны, въ нихъ вплетено стольковсякой всячины, столько учености, что безъ подробнаго объясненія онъ часто не даются пониманію простаго смертнаго и не нъща. Жанъ Поль поступаетъ при этомъ очень добросовъстно, какъ честный нъмецъ: внизу страницы онъ приводитъ комментарій къ своей остроть, толкуетъ ее и при этомъ нередко ссылается на источники, на древнихъ авторовъ и т. п. Наконецъ, когда въ потъ лица уразумъешь смысять, приходишь къ заключенію, что овчинка не стоила выдёлки и что несравненно добросовъстиве было бы, не утруждая читателя, обойтись безъ остроты. Такого рода германскими глубокомысленными шутками наполнены особенно героическіе романы Рихтера. Но слъдуетъ прибавить, что подчасъ шутка ему действительно удается и именно, когда онъ не особенно напрягается, не мудрствуетъ, не силится острить во что бы то ни стало. Такимъ неподабльнымъ юморомъ пронивнуты его идилліи.

Одна изъ этихъ идиллій, изданная въ 1790 году, описываетъ жизнь блаженнаго школьнаго учителька Вуца (Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal). Это — полная противоположность душевной разрозненности и необузданнымъ стремленіямъ титановъ. Вуцъ всегда былъ доволенъ собою и окружающимъ. Утромъ радовался онъ завтраку, послѣ завтрака его утѣшала мысль объ объдѣ, вечеромъ онъ радовался ужину. Послѣ питья онъ гладилъ себя по животу и приговаривалъ: «вкусно, Вуцъ» (das hat meinem Wuz geschmeckt); чихнетъ ли онъ—то скажетъ: «на здоровье, Вуць!» (helf

dir Gott, Wuz!). У Вуца была большая библіотека. Разумъется покупать книги онъ не быль въ состояніи; зато всё свои книги онъ собственноручно писалъ. У него была всего одна печатная книга-каталогъ тёхъ сочиненій, которыя выходили ко времени ежегодной лейпцигской ярмарки. Пасторъ отмечаль ему въ каталоге заглавія достопримъчательныхъ изданій, и Вуцъ принимался сочинять самыя книги. Иногда бывало много работы школьному учительку. Однажды ему заразъ пришлось сочинять «Критику чистаго разума» и «Разбойниковъ» Шиллера; сынъ Вуца даже жаловался, что отецъ его за такой страшной работой едва успъвалъ чихать. Такъ проходилъ день, а вечеромъ слъдовало приниматься за описание Кукова путешествія къ южному полюсу; положимъ-говоритъ Рихтеръ-что Вуцъ никогда не выбажалъ изъ своего захолустья, но зато онъ и располагалъ большимъ запасомъ времени, чтобъ описывать нутепіествіе. Прочитавъ объявленіе о выходь въ свыть Лафатеровой Физіономики, онъ сейчась же нанисалъ самъ Физіономику, озаглавилъ свою тетрадь «Лафатеровы фрагменты» и присоединилъ замътку, что онъ собственно ничего не имъетъ противъ печатнаго изданія, но надвется, что почеркъ его такъ же разборчивъ, если не лучше хорошаго типографскаго шрифта.

Въ «Жизни Фикслейна», изданной Жанъ Полемъ въ 1795 г., выводится на сцену учитель гимназіи, который получаетъ м'ясто сначала помощника ректора, потомъ-сельского пастора. Фикслейнъэто та же личность Вуца, развитая поэтомъ и очерченная имъ еще ярче, еще типичнъе. Фикслейнъ точно также всецъло поглощенъ тъснымъ кругомъ отношеній того закоулка, въ которомъ онъ прозябаетъ: онъ не видитъ ничего дальше своего городка и того села, гдв онъ стремится сдъдаться пасторомъ. Иногда въ длинные осенние вечера онъ читаеть газеты-впрочемъ прошлогоднія, которыя онъ какъ-то раздобылъ себъ даромъ въ нередней барона. Онъ пишетъ и ученые труды, между прочимъ -- работаеть надъ собраніемъ опечатокъ въ нъменкихъ сочиненіяхъ: онъ сравниваетъ опечатки между собою, укавываеть на тъ, которыя встръчаются чаще, замъчаеть, что это можеть дать важные результаты и предлагаеть читателю выводить подобные результаты. Если вспомнить, на какія непроизводительныя научныя задачи бывають иногда направлены труды немецкихъ ученыхъ, которые подчасъ пишутъ целые толстые томы о какихъ-нибудь грамматическихъ частицахъ, то образъ Фикслейна не покажется

особенно каррикатурнымъ. Фикслейнъ любитъ вечеркомъ сидъть дома, гръться около печи и писать расписание уроковъ въ своей гимназіи это самое важное его дъло; особенно любо ему, если на дворъ моровъ и непогода: ему такъ уютно, такъ gemüthlich сидъть съ трубкой во рту въ своей теплой конурт. Фикслейнъ — человъкъ смирен. ный и чувствуеть благоговъніе къ высокопоставленнымъ особамъ. Когда онъ проходитъ около замка мъстнаго барона, онъ снимаетъ всегда шляпу. При встрвчв съ какимъ-нибудь барономъ никто не кланяется ниже его, — и это, прибавляеть Жанъ Поль, не изъ плебейскаго смиренія, не изъ самоуниженія съ какой-нибудь корыстной цълью, а потому что онъ думаетъ: баронъ всегда остается тъмъ, чъмъ онъ есть (ein Edelmann bliebt doch immer das, was er ist). Это необыкновенно мъткое психологическое наблюдение: Фограниченныя гоз ловы очень склонны къ такого рода безсодержательнымъ аксіомамъ. на которыхъ они останавливаются всякій разъ, какъ пытаются что-нибудь уяснить себъ; попадается подъ руку подобное глубокомысленное изреченіе, и челов'якъ спокоенъ, не находить нужнымъ идти дальше и любуется своей аксіомой, какъ вънцомъ человъческой премудрости...

Въ этихъ наивныхъ формахъ патріархальнаго быта, въ этомъ первобытномъ складъ жизни Жанъ Поль искалъ душевнаго успокоенія и замиренія той дисгармоніи, которую онъ усматриваль въ міровоззрвній современнаго ему образованнаго человека. Въ эти ограниченныя сферы мъстнаго и домашняго прозябанія не проникала безпокойная критическая мысль, эти люди не знали бользни своего въка и, спокойно наслаждаясь радостями замкнутой жизни, недоступные разлагающему въянію скентицизма, прододжали эпическое существованіе своихъ предковъ. На эти тихіе безмятежные парадизы, въ которыхъ лицо жило въ животномъ состояніи простоты, невинности и безсмыслія, устремляли свои измученные рябью цивилизаціи взоры разоча рованные, разбитые и надломленные люди разлагающагося историческаго періода. Не находя покоя и гармоніи въ мятежномъ міръ цивилизаціи среди борющихся противортчій переходнаго міровозартнія, они съ искусственно-нодогратой любовью относились къ патріархальнымъ формамъ жизни, идеализировали, изображали даже въ симпатическихъ привлекательныхъ чертахъ стародавнія бытовыя отношенія, давно отжившія для передоваго человічества. Жанъ Поль завидуєть этимъ Вуцамъ и Фикслейнамъ, которыми такъ удачно распоряжался его юморъ.

Ему и смѣшно, и грустно: онъ рисуетъ комическія стороны этой жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ высказываетъ неподдѣльное сочувствіе ея цѣльности, ея идиллическому покою и тишинѣ. «Благо тебѣ, милый Вуцъ», говоритъ онъ, «что надъ твоею обросшей травою могилѣ я могу сказать: при жизни онъ былъ счастливѣе всѣхъ насъ». И все таки поэтъ чувствуетъ, что самъ онъ не захотѣлъ бы влѣзть въ шкуру Вуца, что для цивилизованнаго человѣка новаго времени нѣтъ средствъ вериуться къ этому растительному счастью, въ тотъ эпическій парадивъ, который Гегель называетъ паркомъ для животныхъ. Этотъ болѣзнепрый минорный тонъ звучитъ во всѣхъ произведеніяхъ Жанъ Поля и мѣшаясь съ его насмѣпкой, отливается въ форму юмора.

При взглядь на всьхъ этихъ отрицателей цивилизаціи, на всьхъ этихъ Руссо и Байроновъ, читая бользненныя причитанія Жанъ Поля, встрьчаясь съ поэтическими софизмами и софистической поэзіей переломнаго періода, невольно вспоминаются аналогическія фигуры възпоху распаденія древняго міра. Въ памяти возстаєть величественный и печальный образъ историка императорскаго Рима. Подобно пессимистамъ новаго времени Тацитъ мрачно взираєть на картину окружающей его дъйствительности; отъ зрълища дряхльющаго античнаго міра онъ отдыхаєть на изображеніи быта германскихъ варваровъ и какъ бы на зло міровому городу древней цивилизаціи, въ противоположность чернымъ краскамъ своихъ анналь онъ рисуетъ въ идеальныхъ очертаніяхъ племенныя отношенія первобытныхъ германцевъ и радуется простой, стройной, «неиспорченной культурой» стихійной жизни юной народности...

Еще въ началѣ курса я вамъ указывалъ на то, что періодъ нѣмецкой цивилизаціи, простирающійся приблизительно отъ 1770 до
1830 г., и къ которому относится дѣятельность Гёте, — что этотъ періодъ литературный по нреимуществу, другими словами, въ теченіе
этого времени лучшія силы націи сосредоточились на области литературной, т. е. на вопросахъ философскихъ, научныхъ и эстетическихъ.
На литературу были направлены въ то время общіе интересы націи....
Въ началѣ XIX вѣка правда стали пробуждаться въ нѣмецкомъ народѣ практическія стремленія. Подъ вліяніемъ французскихъ идей зародилось броженіе политическое, которое приняло форму патріоти-

ческаго возстанія за освобожденіе Германіи отъ французскаго ига *). Революціонный энтузіазмъ направился, руководимый владыками нѣмецкаго народа, на борьбу съ иноплеменниками и затъмъ, послъ 1815 года, быль придавлень гнетомъ реакціи, которая усердно искореняла запавщія на німецкую почву сімена либерализма, съ одной стороны неумолимо преследовала политическія тенденціи, съ другой -- старалась отвлечь націю отъ практическихъ общественныхъ вопросовъ, покровительствуя интересамъ чистаго искусства и отвлеченной науки. За политическимъ сномъ, въ который погружена была Германія XVIII въка, потянулись снова, послъ 1815 г., годины — если не полнаго сна, то дремоты, искусственнаго усыпленія. Ивмецкое общество, пріученное въками къ политическому индифферентизму, поддавалось безъ ръзкаго сопротивленія крутымъ мърамъ правительственной реакціи. — Новый періодъ начинается съ конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ. Туть обнаруживается — сначала слабо, потомъ все сильнее и сильнее стремление въ серьезному сближению съ правтическими вопросами, и литература — это върное зеркало дъйствительности — принимаетъ новую-соціальную, политическую окраску. Основу этого новаго литературнаго направленія кладеть такъ называемая Молодая Германія и во главъ ся Генрихъ Гейне; это уже другая эпоха: интересы чистаго искусства и кабинетной начки начинають слабыть и по-немногу вытъсняться задачами общественными.

Такимъ образомъ время Гёте, Шиллера и романтической школы можно назвать литературнымъ періодомъ, который во многихъ отношеніяхъ представляєть аналогій съ эпохой 30-хъ и 40-хъ годовъ въ Россіи. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ живые представители русскаго общества либо вабирались на каведры, либо пускались въ литературу. Но слову науки могли внимать только очень немногіе избранные; журналистъ-литераторъ и особенно поэтъ дъйствовали на болье широкомъ поприщь: ихъ читалъ, ими интересовался болье многочисленный классъ людей полуобразованныхъ, —публика, которую нужно было еще воспитать, вымуштровать, приготовить къ серьезному пониманію теоретическихъ вопросовъ, которую слъдовало пріучить къ мысли, пріохотить къ чтенію. Литература, и въ ней именно поэзія,

^{*)} Любонытныя замічанія о культурно-историческомъ вначеніи войнъ за освобожденіе у Prutz'a, Vorlesungen, стр. 190 и сл., 203 и слід.

была въ то время общенитересной почвой, единственной областью, которая сближала наше общество съ общечеловъческими вопросами и задачами. Черезъ литературу, черезъ поэтическое отражение дъйствительности въ художественномъ произведении, общество по-немногу пріучалось распознавать черты самой действительности и критически къ ней относиться. Припомните, что съ одной стороны непосредственное знакомство съ вопросами политическими, религіозными и даже иногда просто научными, было уже вившнимъ образомъ устраняемо отъ общества; съ другой-оно еще не могло съ ними освоиться въ серьезной форм'в за недостаткомъ подготовки. Нашимъ великимъ дитераторамъ, ученымъ и критикамъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, и между ними болье всего Бълинскому, принадлежить честь этого общественнаго воспитанія.... Понятна та страсть къ поэзін, которая господствовала у насъ въ это время, то обаяніе, которое имъла для читатедя личность поэта, литератора. Въ литературъ, въ поэзім концентрировались въ то время всё наши обще интересы.... На все свое время, мм. гг. Если въ 60-хъ годахъ для нашего общества выступили на историческую сцену другіе вопросы, если оно стало обращаться все съ большимъ и большимъ интересомъ къ задачамъ практическимъ, если оно стало серьезнъе относиться къ жизни и подчинять жизни, ея требованіямъ и нуждамъ-пскусство и науку, если въ наше время почти пропалъ интересъ къ такъ называемой чистой поэзіи, если мы къ современнымъ литературнымъ произведеніямъ въ правъ придагать иные масштабы и критеріи, то это никакъ не уполномочиваетъ насъ съ высокомъріемъ смотръть на дъятелей 30-хъ и 40-хъ годовъ, видъть въ стихотвореніяхъ Пушкина и Лермонтова правдную ничего не стоящую утвау или ругать Евгенія Онвгина за то, что онъ не занимался политической экономіей или медициной *). Тъ люди дълали, что было возможно и что нужно было въ то время. Разумбется, еще болбе странно и безразсудно въ наше время скорбъть о томъ, что чистое искусство не пользуется прежнимъ значеніемъ и что перестали зачитываться безсодержательными стишками. Этимъ ламентаторамъ, которые вадыхають о добромъ старомъ вре-

^{*)} Это ожесточенное ратованіе противъ нашихъ поэтовъ минувшаго періода, которому съ такимъ рвеніемъ предавались нѣсколько лѣтъ тому навадъ петербургскіе утилитаристы, обличаетъ отсутствіе въ нихъ историческамо отношенія къ дѣйствительности.

мени и объ угасшихъ эстетическихъ тенденціяхъ, можне напомнить слова, сказанныя въ 1840 г. Гервинусомъ, въ предисловіи къ 4 тому его исторіи нѣмецкой поэзіи: «въ настоящее время», говорить нѣмецкій историкъ, «я какъ Шекспировъ Пёрси предпочелъ бы сдѣлаться кошкой и мяукать, чѣмъ писать стинки; теперь на этомъ поприщѣ таланты не могутъ найти себѣ путнаго дѣла: имъ слѣдуетъ обратиться къ дѣйствительности, къ нуждамъ общества, лить въ новые мѣхи новое вино.» Такъ говоритъ въ 1840 г. Гервинусъ, великій знатокъ нѣмецкой исторіи и литературы и сверхъ того честный человѣкъ, высокій нравственный образъ котораго еще недавно такъ рѣзко обозначился надъ оравой ликующихъ пруссофиловъ...

Вы видите изъ этихъ словъ, какъ измѣнились общественные интересы и потребности въ Германіи въ 1840 г., когда чисто-литературный періодъ ея цивилизаціи уже закатился и смѣненъ былъ другой эпохой, которая ощущала стремленія къ задачамъ общественнымъ. Этими практическими вопросами, этими общественными задачами овладѣли для своихъ твореній литераторы новаго періода.

ЛЕКЦІЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Естественнонаучные труды Гёте.

Ихъ вначенів. — Os intermaxillare. — Метаморфова растеній. — Теорія черена. — Дарвинизмъ. — Отношеніе къ эпохъ. — Теорія цвътовъ. — Реадизмъ мірововзрънія.

Труды Гёте по естествовъдънію интересны въ двоякомъ отношеніи. Во-первыхъ — они важны по тъмъ даннымъ и положеніямъ, которыя они внесли въ область положительнаго знанія, по тъмъ идеямъ и плодотворнымъ гипотезамъ, къ которымъ они привели Гёте; это доставляетъ имъ видное мъсто въ исторіи естественныхъ наукъ. Вовторыхъ — они выясняютъ для насъ характеръ міровозэрънія вели каго поэта, освъщаютъ намъ его отношенія къ дъйствительности. Занятія естествовъдъніемъ — очень важный факторъ въ исторіи самого Гёте. Своему интересу къ явленіямъ природы, своимъ неутомимымъ

изследованіямъ въ области натуральной исторіи онъ главнымь образоми обязанъ темъ гармоническимъ міросозерцаніемъ, которое сложилось у него въ годахъ эрълости. Разумъется, были и другія обстоятельства, которыя способствовали душевному успокоенію поэта: я уже не разъ указывалъ вамъ на его ровный темпераменть, на ту разсудительность, дёльность и солидность, которую можно услёдить въ немъ еще въ годы дътства и которую онъ самъ обозначаеть, какъ унаследованное имъ отъ отца «des Lebens ernstes Führen». Следуетъ обратить внимание и на счастливую жизненную обстановку, на обезпеченное матеріальное положеніе Гёте, которое избавляло его отъ многихъ житейскихъ невзгодъ. Но изучение природы, наука естественная играла главную родь въ примиреніи поэта съ жизнью. Гёте семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ — Гёте-Вертеръ и Гёте-Фаусть отъ мучившихъ его метафизическихъ противоръчій нашелъ прибъжище въ естественнонаучныхъ изслъдованіяхъ. Въ теченіе восьмидесятыхъ годовъ онъ съ особенною ревностью предается этимъ изследованіямъ и, руководимый ими, приходить къ замиренію борющихся въ немъ сомнъній, постепенно создаетъ себъ стройный и реальный взглядъ на жизнь, на ея требованія и задачи, какъ бы указывая черезъ это самое и будущимъ поколъніямъ на путь къ умственному освобожденію. Тъ возарьнія, до которыхъ доработался поэтъ, на которыхъ онъ успокоился отъ своихъ вертеровскихъ мукъ и фаустовскаго разлада, лягуть основой новъйшаго міросозерцанія и повернуть человъчество отъ метафизическихъ сумерокъ лицомъ къ заръ научнаго свъта.

Естественнонаучныя работы Гёте проникнуты идеей единства въ природъ и взаимной связи всъхъ явленій, идеей, которая и есть краеугольный камень научнаго міровоззрънія. Усмотръть дъйствительныя соотношенія цълаго ряда явленій, указать на общую основу, на общій типъ цълой группы фактовъ, свести разбитое внъшнимъ образомъ, изолированное, разрозненное къ внутреннему единству и связи, — таково стремленіе, которымъ опредъляются почти всъ задачи Гёте.

Въ 1784 г. Гёте открылъ существование междучелюстной кости у человъка. У всъхъ млекопитающихъ между объими половинами верхней челюсти находится небольшая кость, называемая междучелюстной, примътить которую очень легко. Но у человъка присутствие этой кости обозначается далеко не такъ ясно, и вотъ до времени Гёте

анатомы и физіологи отрицали ея существованіе въ челов'як'; н'якоторые изъ нихъ считали даже это мнимое отсутстве кости у человъка признакомъ кореннаго различія между человъкомъ и обезьяною. Съ такого рода положениемъ не могъ согласиться Гёте: изъ общаго закона о существовании междучелюстной кости у всёхъ млекопитающихъ онъ пришелъ къ дедуктивному заключенію объ ея необходимости и въ млекопитающемъ-человъкъ. Онъ сталъ изслъдовать многочисленные черепа; сталъ сравнивать формы, которыя принимаетъ междучелюстная кость у различныхъ животныхъ и нашелъ, что эти формы обусловливаются пищей животныхъ и величиною зубовъ, нашелъ, что кость эта существуеть точно также у человека, какъ и у прочихъ млекопитающихъ; на черепахъ нъкоторыхъ субъектовъ она дъйствительно обозначается, но въ большинствъ случаевъ она сростается съ верхнею челюстью, и какъ самостоятельная кость замътна только не очень молодыхъ черепахъ. Это открытіе характеризуетъ цёльныя возартнія Гёте на дъйствительность. Стремясь неудержимо къ единству, онь не могь отдёлять человека отъ прочихъ животныхъ; его глубокой творческой натурь быль противень тоть метафизическій дуализми, который разбиваеть на враждебныя и другь другу противоположныя сферы какъ самого человъка, такъ и весь міръ, проводя ръзкую грань, изобрътая какую-то пропасть между природой и человъчествомъ, выдъляя человъка изъ міра прочихъ тварей, какъ какое-то особое привилегированное существо. «Междучелюстную кость», пишетъ одинъ натуралистъ незадолго до изследованій Гёте, «имеють все животныя, начиная съ обезьянъ, но она никогда не встръчается въ человъкъ; ва исключеніемъ этой кости нътъ строгаго различія между строеніемъ человъка и другихъ млекопитающихъ». Эти слова указывають вамъ на важный смыслъ и на серьезное значение Гётева открытія.

Въ 1790 году вышло сочинение Гёте «Метаморфоза растений» Въ немъ онъ пытается объяснить вст разнообразныя формы растения изъ развития одного основнаго органа — листа. Листъ представляется для него общимъ, простымъ типомъ; прочия формы — чашечка, втичкъ, почка, тычинки, пестикъ, цвтокъ, плодъ — все это видоизмънения общаго кореннаго типа. Въ настоящее время наука упладальте: она знаетъ, что и листъ — сложный продуктъ элементовъ низшаго порядка, онъ образуется изъ размножения, видоизмънения и соединения клъточекъ; клъточка и есть основная форма всего раститель-

наго міра. Но это положеніе, къ которому пришли новые изслѣдователи съ помощью микроскопа, не противорѣчить теоріи Гёте: какъ справедливо замѣчаеть Льюисъ, оно только расширяеть ее, представляеть результатъ дальнѣйшаго анализа, болѣе тщательнаго и болѣе совершеннаго изслѣдованія въ томъ же направленіи. Своимъ сочиненіемъ Гёте положилъ основаніе морфологіи — наукѣ о формахъ организмовъ и объ ихъ развитіи.

Третій важный вопросъ, выясненный Гёте, касался строенія черепа. Гёте показаль, что черепь человіка и всіхь другихь позвоночных вивотных представляеть видоизміненіе и развитіе позвоночнаго столба. Онъ усмотріль въ строеніи черепа и спиннаго хребта общую форму—позвонковъ.... И здісь мы опять встрічаемся съ мыслью объ основномъ типі, объ общей темі, которая безконечно видоизміняется какъ въ отдільныхъ видахъ организмовъ, такъ и въ различныхъ частяхъ того же вида.

Таковъ быль общій характерь и преобладающее направленіе естественнонаучныхъ изследованій Гете. Это стремленіе сводить явленія природы къ общимъ началамъ, находить единство во всемъ разнообразіи бытія, естественно привело Гёте къ гипотезъ о немногихъ коренныхъ типахъ и первообразахъ, отъ которыхъ путемъ медленнаго и непрерывнаго развитія произошли всв сложныя, затвиливыя и прихотливыя формы существующаго, т. е. къ той гипотезъ, въроятность которой въ последнее время была блестящимъ образомъ подтверждена сочиненіемъ великаго англійскаго естествоиспытателя. «Внутреннее первобытное родство», говоритъ Гёте, «лежитъ въ основъ всъхъ организмовъ; различіе формъ обусловливается необходимыми отношеніями ихъ въ обстановить. Въ другомъ мъстъ Гёте называетъ ту силу организма, которая поддерживаеть въ немъ первоначальныя свойства основнаго типа — центростремительной, и противополагаеть ей центробъжную, которая видоизмъняетъ организмъ, приспособляя его въ условіямъ обстановки. Новъйшая генетическая теорія называеть эти силы наслюдственностью и приспособлениема: первая охраняеть связь вида съ прародителями и уравновъщиваетъ дъйствіе второй, которал влечеть его къ измененіямъ, соответствующимъ требованіямъ окружающей среды. «Мы имъемъ полное право предположить», пишетъ Гёте въ 1796 году, счто всъ наиболье совершенныя органическія натуры рыбы, земноводныя, птицы, млекопитающія и во главѣ ихъ человъкъ — сложены по одному типу, который колеблется въ своихъ аттрибутахъ и съ размножениемъ досель еще видоизмъняется». Еще шире высказываетъ Гёте въ 1807 году мысль о всеобщности этого принципа развитія: «едва можно отличать растенія отъ животныхъ въ ихъ наименъе совершенномъ видъ, но върно то, что растительныя и животныя существа, развившіяся изъ общихъ родственныхъ началь, совершенствуются въ противоположныхъ направленіяхъ: растеніе достигаетъ высоты своего развитія въ неподвижномъ упорномъ деревъ, животное — въ человъкъ пріобрътаеть величайшую подвижность и свободу».... Вы видите, что въ этомъ изречени Гёте идетъ еще дальше съ своими обобщеніями: онъ подчиняеть уже оба царства — животное и растительное — общимъ началамъ и принципамъ. Онъ все глубже проникается сознаніемъ общаго и единства въ природь и доработы вается до той стройности, до той гармоніи въ міровозврвніи, которая возможна на обоихъ полюсахъ человъческаго развитіл — въ періодъ эпоса, гдъ критика отсутствуетъ и мысль послъдовательно отрицается, и въ періодъ науки, гдъ мысль неограниченно властвуетъ и такъ же носледовательно признается. Такого строя, такой системы не знаетъ въчно колыхающаяся двоявычная метафизика....

Если герои мысли головою выше современных имъ поколъній, то никакъ не следуетъ считать ихъ какими-то особенными чудоденми, которые стоять совершенно особнякомь, свободно направляють теченіе знанія и которые, исключительно опираясь на свои личныя данныя, на свой геній, произвольно распоряжаются судьбами науки, ворочають по собственному усмотрънію научными задачами. Никогда не нужно забывать, что великіе люди не метеоры, внезапно показывающіеся въ пространствъ и на мгновение озаряющие мглу темной ночи. Они стоять на исторической почвъ своего времени, они живуть въ современной имъ исторической атмосферъ. Не одной силъ своего генія, не одной личной умственной иниціативъ, не одному вдохновенію обязаны они своими идеями: эти идеи вынашиваются самой эпохой, онъ подготовлены историческимъ прошедшимъ, онъ уже — въ воздухъ, правда въ тъхъ верхнихъ слояхъ его, которые доступны избранникамъ человъчества. Эпоха отражается и на естественнонаучныхъ трудахъ Гете. Правда, на него съ пренебреженіемъ посматриваетъ цехъ записныхъ ученыхъ того времени, но не они-представители движущагося знанія, «воинствующей» церкви ученыхъ. Тъ идеи, съ которыми мы

встркчаемся въ сочиненіяхъ Гете, его намеки и догадки мы находимъ, въ нѣсколько иныхъ формахъ, въ трудахъ другихъ передовыхъ естествовѣдовъ того времени; разумѣется, каждый сообщаетъ своимъ вовзрѣніямъ окраску своей индивидуальности и своей специфической среды. Здѣсь не можетъ быть и рѣчи о прямомъ заимствованіи выводовъ одного ученаго у другаго, здѣсь нѣтъ плагіата. На подобные однородные результаты въ изслѣдованіяхъ наводятся однородныя натуры уже самой эпохой.

Начало XIX въка въ исторіи естествознанія является эпохой обобщенія и философствованія. Чувствуется необходимость подвести итогъ къ изследованіямъ XVIII века, связать между собою частныя данныя, осмыслить, систематизировать совершенныя открытія, которыми такъ богаты были последніе годы просветительнаго столетія. Знаменитые опыты Гальвани пролили свътъ на теорію электричества. Въ 1774 году быль открыть Пристлеемъ кислородъ, и за этимъ последоваль анализъ воздуха и научная теорія горфнія тель — соединенія ихъ съ кислородомъ. Ученіе о флогистонт, о той мистической субстанцін, выдъленіемъ которой якобы и обусловливается процессъ горънія, было поражено изследованіями Лавуазье. Лавуазье химически разложиль воду. Въ области сравнительной анатоміи дъятельно трудятся Кювье и Блуменбахъ.... И вотъ въ началъ нынъшняго стольтія въ естествовъдъніи обнаруживается стремленіе къ обобщеніямъ научныхъ данныхъ, которымъ и проникнуты труды Гёте, Ламарка, Жоффруа Сентъ-Илера, Окена и другихъ. Это философское направление съ одной стороны привело къ плодотворнымъ научнымъ гипотезамъ, къ смѣлымъ общимъ идеямъ, которыя вносили строй и порядокъ въ накопленный раврозненный матеріаль; съ другой стороны нужно указать и на то, что страсть къ обобщеніямъ ваходила иногда слишкомъ далеко, идеи повидали фактическую почву и бродили въ области фантазіи: таковы напр. натурфилософскія мечтанія Шеллинга. Противъ этихъ натурфилософских ваблужденій наступила съ 30-хъ годовъ реакція со стороны естественнивовъ спеціалистовъ: ученые естествовъды снова устремились въ сторону фактовъ и, отшатнувшись отъ современнаго имъ мистическаго направленія въ философіи, впали въ другую крайность. т. е. перестали думать объ обобщеніяхъ. Наконецъ опять новый поворотъ въ исторіи естественныхъ наукъ замічается около 60-хъ годовъ, когда снова стали появляться попытки объединенія и группировки матеріала...

Такимъ образомъ Гёте примыкаетъ къ тому натурфилософскому движенію въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, которое ознаменовалось съ одной стороны самыми почтенными выводами, съ другой — ударилось въ произвольныя, фантастическія построенія. Къ тъмъ вопросамъ, которые поднималь въ своихъ сочиненіяхъ Гёте, къ тыть взглядамь, которые онъ высказываль-къ нимъ совершенно независимо отъ него приходили и другіе выдающіеся естествоиспытатели того времени. Въ 1809 г. появилось геніальное сочиненіе Ламарка Philosophie Zoologique, въ которомъ впервые последовательно и систематически проводится теорія происхожденія видовъ отъ немногихъ основныхъ формъ, -- тъ самыя возгрънія, которыя такъ часто встръчаются у Гёте. Французскій натурфилософъ Жоффруа Сентъ-Илеръ уже въ концъ прошлаго въка занимается вопросомъ о развитіи органическихъ формъ. Мысли объ единствъ всего существующаго, о взаимной связи всёхъ явленій, къ которымъ такъ часто любилъ возвращаться Гёте, высказываль около того же времени въ своей біологіи нъмецкій ученый Тревиранусъ. Онъ исходияъ изъ принципа, что всё живыя существа — продукты физических факторовъ, которые досель дъйствують и изм'вняются лишь въ степени и направленіи. Но самый извъстный въ свое время нъмецкій натурфилософъ былъ Лоренцъ Окенъ, который оспариваль у Гёте открытіе теоріи позвонковъ черепа. Въ своемъ сочиненіи «Основанія натурфилософіи», которое вышло въ 1809 г., Окенъ пришелъ между прочимъ къ очень замъчательной идеъ. Онъ проводиль мысль, что въ основъ всей органической жизни есть общій химическій субстрать, который онъ называеть первобытною слизью— Urschleim. Эту идею подтверждають новъйшіе изследователи, заменяя «первобытную слизь» протоплазмой, веществомъ изъ котораго состоить простая киточка и которое само по себт представляеть извъстныя сочетанія углерода и азота. Такова, по мивнію Окена, общая основа, изъ которой развиваются всё разнообразныя явленія природы отъ микроскопическихъ пузырей и — инфузорій до самыхъ высшихъ организмовъ, и въ связи съ этимъ возэръніемъ Окенъ дерзнулъ сказать смые слово: «Der Mensch ist entwickelt, nicht erschaffen»..... Все это, мм. гг., разумъется гипотезы, но такія, которыя благотворно дъйствуютъ на научныя изследованія. Я сообщаю вамъ ихъ въ примъръ тъхъ философскихъ обобщеній естественнонаучныхъ данныхъ, въ которыхъ мы находимъ столько аналогій возарёніямъ самого Гёте. Этимъ

самымъ я хочу указать на мъсто Гете въ исторіи естественнонаучныхъ воззръній и на его отношеніе къ теоріямъ того времени.

Теперь вамъ будетъ понятно, почему одновременно съ Гёте другіе выдающіеся ученые сталкивались съ нимъ даже на открытіяхъ, и своимъ путемъ, совершенно самостоятельно, обращались къ вопросамъ, которыми онъ занимался. Такъ, напримеръ, известно, что французскій физіологь и врачь Людовика XVI—Викъ д'Азиръ въ 80-хъ годахъ одновременно съ Гёте — высказалъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій мысль о существованіи междучелюстной кости у человіка. Точно также Гёте сошелся витстт съ Океновъ на высли объ аналогіи строенія черепа съ строеніемъ позвоночнаго столба. Оба они самостоятельно, независимо другъ отъ друга пришли въ сходнымъ результатамъ. Въ объяснение подобныхъ совпадений, которыя, разумъется, не могутъ умалить заслуги ни того, ни другаго ученаго, всего лучше привести слова самого Гёте: «извъстныя мысли и воззрънія носятся уже въ самомъ воздухъ и могутъ быть схвачены нъсколькими заразъ.... извъстныя представленія какъ бы созрпвают по истеченіи опредаленнаго времени». На подобныя назръвшія представленія какъ бы невольно нападаютъ передовые люди эпохи....

Въ 1830 г. во французской академіи происходило ученое состяваніе между Кювье и Жоффруа Сентъ-Илеромъ, за которымъ Гёте следилъ съ самымъ живымъ участіемъ. Жоффруа стояль за теорію развитія, за изміняемость видовь, за происхожденіе отдільных видовь отъ общихъ основныхъ формъ, и — такимъ образомъ за единство, за цельность, всей природы. Кювье ратоваль за неизменяемость вида и говориль, что натурфилософы не имъютъ права на основаніи того научнаго матеріала, который въ то время находился въ ихъ распоряжении, делать такіе общіе выводы. Въ глазахъ большинства Кювье побъдилъ своего противника. 2 августа 1830 года въ Веймаръ получены были извъстія объ іюльской революціи. «Ну, что скажете вы о великомъ событіи,» обратился Гёте въ знакомому, который пришель его навъстить. «Вудканическая кора прорвалась, все залито пламенемъ; это ужъ не разсужденіе при закрытыхъ дверяхъ». — «Страшная исторія», отвётиль ему пріятель. «Но другаго нельзя было и ожидать въ такихъ обстоятельствахъ и при такомъ министерствъ: дъло должно было кончиться изгнаніемъ королевской фамиліи». --- «Мы не понимаемъ другь друга, любезнъйшій,» возразиль Гёте; «я вовсе не говорю о томъ народъ (von jenen Leuten); меня занимаетъ совсъмъ другое. Я говорю о публичномъ споръ въ акалеміи между Кювье и Жоффруа Сентъ-Илеромъ, о споръ, который имъетъ такое великое значеніе для науки. Это дъло необыкновенной важности, и вы не можете себъ представить, какъ на меня подъйствовало извъстіе о засъданіи 19 іюля. Въ Жоффруа у насъ теперь надолго очень сильный союзникъ.... Самое лучшее то, что введенный во Францію синтетическій методъ въ естествознаніи уже не будетъ оставленъ. Это свободное обсужденіе въ академіи, притомъ — въ присутствіи многочисленной публики — придало дълу характеръ публичности: оно уже не будетъ болъе разсматриваться и тормозиться въ тайныхъ коммиссіяхъ при закрытыхъ дверяхъ»... Здъсь является Гёте съ объими своими характеристическими особенностями — съ своимъ политическимъ индифферентизмомъ и съ своей глубокой страстью къ естествознанію, которая отразилась на всемъ его міровоззрѣніи.

Это стремленіе къ наблюденіямъ, къ обобщеніямъ, къ философскимъ концепціямъ природы соединялось у Гёте, какъ я уже говорилъ вамъ прежде, съ отвращениемъ къ научной техникъ, къ инструментамъ, испытаніямъ и особенно къ вычисленіямъ. Онъ не хотълъ слышать объ математикъ. Потому, въ той области естествовъдънія, основательное изучение которой немыслимо безъ математики, - т. е. въ физикъ, Гёте пришелъ къ самымъ страннымъ заблужденіямъ, за ко торыя онъ всегда упрямо стоялъ, несмотря на всв доводы противниковъ. И въ физикъ онъ хотъль ограничиваться простымъ наблюденіемъ, — созерцаніемъ.... Плодомъ многолътнихъ и совершенно несостоятельныхъ въ научномъ отношеніи занятій Гёте оптикой онъ оставилъ обширныя сочиненія по теоріи цвѣтовъ, отмѣченныя преимущественно полемическимъ характеромъ и находящіяся въ полномъ противорвчій съ данными строгой науки. Этими сочиненіями могли восхищаться метафизики, какъ Шеллингь и Гегель, но со стороны спеціалистовъ физиковъ они подвергались внолит заслуженному порицанію. Гёте отрицаль Ньютонову теорію цвътовь. По митнію Гёте, цепта не суть существенные составные элементы бълаго свъта, а получаются отъ измъненія свътовыхъ дучей подъ внъшними вліяніями; краски образуются изъ смъщенія темноты со свътомъ и обусловливаются средой, тъмъ медіумомъ, на который падаетъ лучъ. Самъ по себъ свътъ не разложимъ и совершенно простъ. Упрямо поддерживая свою теорію, Гёте однако никогда не пытается опровергнуть ученіе Ньютона.

и просто обзываеть его нельпостью. Это была область, чуждая его дарованіямъ. Здысь нельзя было ограничиться спокойнымъ созерцаніемъ, остроумными догадками, творческими комбинаціями; въ этомъ случать сила воображенія увлекала его на ложный путь.

Эти частныя заблужденія были отчасти причиной того, что спеціалисты естествовізды долгое время относились съ пренебреженіемъ ко всей естественнонаучной дъятельности Гёте вообще. Я говорю отчасти, потому что на такое высокомърное отношение была и другая причина. Я уже замътилъ вамъ, что съ 20-хъ и 30-хъ годовъ естествоиспытатели зарылись въ факты и скептически относились во всякимъ обобщеніямъ. За эти 30 — 40 лъть они накопили массу матеріала, и вотъ въ последнее время снова обнаруживаются стремленія осмыслить и объединить собранный матеріаль. Толчокь этому новъйшему направленію данъ былъ знаменитымъ сочиненіемъ Дарвина. Разумвется въ связи съ этой тенденціей возросло въ глазахъ ученыхъ значеніе Гете; они совершенно правильно увидели въ немъ предшественника великаго англійскаго зоолога и поставили его и Ламарка въ ряду самыхъ крупныхъ естествоиспытателей новаго времени. Съ особенной любовью отнесся въ дъятельности Гёте замъчательный современный мыслитель, профессоръ зоологіи іспскаго университета Эристъ Гэкель. Эпиграфомъ къ своему прекрасному сочинению «Естественная исторія мірозданія» (Natürliche Schöpfungsgeschichte) онъ выписаль статью Гёте о природѣ, написанную имъ въ 1780 г. подъ вліяніемъ Спинозы.

Міровоззрѣніе Гёте, до котораго опъ доработался, главнымъ образомъ благодаря естественнонаучнымъ трудамъ своимъ, и есть, по моему мнѣнію, отвѣтъ на первую часть Фауста..... Къ этому простому, непредубѣжденному отношенію къ дѣйствительности, къ этому сознанію ограниченности человѣческихъ способностей, къ этому выбору посильныхъ, т. е. строгонаучныхъ задачъ приходитъ человѣческій умъ, выбравшись изъ путъ метафизическаго знанія. Вопросъ о сущностяхъ, объ абсолютномъ смѣняется вопросомъ объ явленіяхъ, объ ихъ относительномъ значеніи, объ ихъ взаимныхъ соотношеніяхъ и преемственной послѣдовательности. Въ бесѣдѣ съ Эккерманомъ Гёте замѣтилъ однажды, что гордый вопросъ Warum? Зачѣмъ, для чего? совершенно ненаученъ. Человѣчество уйдетъ гораздо дальше, спрашивая какъ? Wie?—Скрытый смыслъ, безусловное значеніе вещей не достунно нашему пониманію. Мы можемъ изучать ихъ отношенія, ихъ формы, ихъ развитіе. Этимъ принципомъ развитія— Entwickelung, évolution (тому же соотвётствуетъ Das Werden)—проникнута современная наука.—Положительное знаніе направить людей отъ тщетныхъ поисковъ абсолютнаго къ задачамъ для нихъ возможнымъ, доступнымъ ихъ личнымъ средствамъ. Бросивъ праздныя умствованія и несбыточныя надежды, человёкъ тёмъ внимательнёе будетъ ози раться кругомъ, тёмъ тверже будетъ стоять на ногахъ и, покинувъ грезы объ абсолютномъ блаженстве, объ абсолютномъ успокоеніи, тёмъ съ большимъ рвеніемъ будетъ работать надъ устроеніемъ своего, относительнаго, ограниченнаго—земнаго счастья.....

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	Ш
А. А. Шаховъ (некрологъ)	V
лекція І. Введеніе. О задачахъ и методъ исторіи литературы	1
Предварительныя замёчанія о влассическомъ и романтическомъ направленіи. Опредёленіе и объемъ понятій «литература» и «исторія литературы». Роль поэзіи въ литературь. Литературные типы, какъ носители общественнаго міросозерцанія. Различіе между литературою съ одной стороны и словесностью и письменностью съ другой. Моя личная задача. — Необходимость объективнаго отношенія къ изучаемымъ произведеніямъ. Разница художественной техники въ эпическомъ, метафизическомъ и реальномъ періодахъ.	
ЛЕКЦІЯ ІІ. Обзоръ литературнаго періода, предше- ствовавшаго времени Гёте О Германіи въ XVII и XVIII въкъ.—Буржуваная литература.— Сентиментализмъ. — Лессингъ. Клонштокъ. Виландъ.	11
ЛЕКЦІЯ ІІІ. Основныя черты типа Гёте и Гердеръ Источники о дѣтствѣ и юности Гёте. — Основныя черты его характера: многосторонность, конкретизмъ, одимпійство. Достатокъ Гёте. — Гердеръ и его отношеніе къ литературнымъ вопросамъ.	20
ЛЕКЦІЯ IV. О періодъ бурныхъ стремленій	30
ЛЕКЦІЯ V. Гёцъ фонъ-Берлихингенъ	40
ЛЕКЦІЯ VI. Вертеръ	49
ЛЕКЦІЯ VII. Вертеръ. (Продолженіе)	60

TRIANIC MAIN CONTRACT WAS A SECOND	Стр
лекція VIII. Якоби и Лафатеръ	. 72
Мистиви XVIII въка. — Аналогіи въ эпохъ разложенія дрег	
няго міра. — Якоби. — Его отношеніе въ Спиновъ. Лессингъ «Алльвилль» Лафатеръ. — Отношеніе въ нимъ Гёте.	-
лекція IX. Гёте въ половинъ семидесятыхъ годовъ	00
«Прометей». — Дикіе годы вь Веймарй. — Значеніе Веймара какъ литературнаго центра.	'3
ЛЕКЦІЯ Х. Эммануилъ Кантъ	93
Жизнь Канта. — Критицизмъ. — Вліяніе Юма и принцип	5
причинности. — Формы соверцанія. — Категоріи.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 106
Феномены и нумены. — Діалектика Канта. — Научное значе ніе его системы. — Культурно-историческое положеніе его ученія	
ЛЕКЦІЯ XII. Натанъ Мудрый	
Теологическія занятія Лессинга.— Идея «Натана». Притча	
Типы жидовъ въ средніе въка, въ XVI въкъ. Натанъ-жид	
XVIII въка. — Художественное и образовательное значеніе пьесы	
(сравненіе съ «Гёцемъ»).	
	131
Фаусть — тема новой исторіи. — Историческая личност	
Фауста. — Повъсть Шписа. — Драма Марло. — Саги о Донъ Жуан	
и Твардовскомъ. — Фаустъ въ XVIII въкъ. — Фаустъ Лессинга	"
Мюдлера и Клингера. — Исторія Гётева Фауста.	4=9
ЛЕКЦІЯ XIV. Фаустъ	
выхъ монологовъ. — «Du bist am Ende—was du bist».	_
НЕКЦІЯ XV. Фаустъ. (Продолженіе)	164
Архитектонизмъ Фауста и отрицаніе Мефистофеля. — Реа	
ливиъ Мефистофеля. — Его остроуміе. — Какъ создавался этот	
образъ? — Гретхенъ — представительница эпоса. — Вагнеръ.	
лекція XVI. Гёте и Байронъ	. 178
Договоръ съ Мефистофелемъ. — Символизмъ поэмы. — Основ	-
ныя идеи. — Пессимизмъ Байрона. — Натура поэта, его время, ег)
\ родина. — Фанфаронство.	
	. 191
Байроновскій герой. Исключительная натура. — Аристокра- тизмъ. — Міровая скорбь въ понятіяхъ среды. — Загадочності	
героя. — Теоретическій скептициямъ и разрывъ съ обществомъ.	
Идея индивидуализма въ новой исторіи. — Байронъ и Гёте.	
ЛЕКЦІЯ XVIII. Шиллеръ и «свобода» въ Германіи.	202
Иввецъ «свободы». — Его юность. — Первые драматическі	
опыты.—Переходъотъ свободы «физической» въ «идеальной» (Донъ	
Карлосъ). — Отношеніе німцевъ къ французской революціи	:
Клопштокъ, Виландъ, Гёте и его политическія произведеція.	

	_			Стр	
некц	•Воги	Греціи. —	и идеализмъ Художинки . — Отнош	еніе Шиллера къ	
	альная св Литератур тельности	обода. — «Иде ное направлен	— Занатія исторісй и ф аль и живнь».— Эстет іе классиковъ: 1) отвра кусства и «формаливмъ ианія.	ическія письма.— щеніе отъ дъйстви-	
JEKU	ця хх.	_	рующее направл ра	еніе <mark>Гёте и</mark> 227	
	имная дѣя боръ сюя «Вильгель	тельность Гёт кетовъ. — «Ор	ллинизму: «Ифигенія» е и Шиллера.—«Горы». леанская Дъва», «Мес Эллинизирующія пров	—«Ксеніи». — Вы- синская Невъста»,	
ЛЕКЦ	ихх ви	Вильгель	мъ Мейстеръ.	241	
		jahre». Ихъ дв кое вначеніе.	а отдъла. — «Wanderjahr	е» и ихъ культурно-	
леки	-		vandtschaften · ив	торой Фаустъ. 253	,
			Сродство. — Принципъ		
•			ъ общихъ вовзрѣній. —		
			н ли <i>вторые</i> Фаусты		
		-	я. — Универсальность	Гёте и національ-	
TE TATE VI	ность Ши	-	; ; .		
11 C D* II	fru vvii		оль Рихтеръ и періодъ		,
	Обав		веденій Жанъ Поля. – Ю		
			. — «Титанъ».— Идиллі		
			'ётева періода и 30-хъ-		
•	Россіи.				
лекі			ннонаучные тру intermaxillare. — Метав		
			нивмъ. — Отношеніе к	ь эпохѣ. — Теорія	
	цвѣтовъ	— Реализмъ мі	ровозврѣнія.		
		0	ПЕЧАТКИ.		
	Comm		·	Can decome	
	Cmp. 8	<i>Строка.</i> 11 сниву	Напечатано. историко-питературы.	Candyems.	
	39	2 сверху	Ganée	Genée	
	86	4	1872—73	1772—73	

Но это страна

Форсотеръ донъ-жуана

Würdig

Но эта страна

Форстерь Донъ Жуана

würdig

14 снизу

2 >

11' >

10 »

108

131

142

176